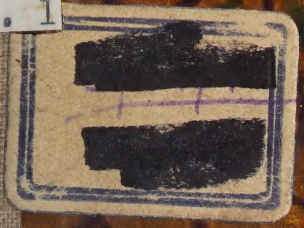
DK32
.P64
1921
ch. 1



THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

DK32
.P64
1921
ch. 1

29734/80

a 00002 758340

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Form No. 513, Rev. 1/84

9/47/.7
П-48

Россійская Соціалистическая Федеративная Совѣтская Республика

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!

DK32
.P64
1921
ch.1

М. Н. Покровскій

907/47
П-48

ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Часть I

ИЗДАНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ, СТЕРЕОТИПНОЕ.

OCHERK
ISTORII
RUSSKOI
KUL'TURY

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1921

Гиз. № 209 (Р. В. Ц. Москва.) Напеч. 10.000 экз.

1-я Образцовая типография М. С. Н. Х. Пятницкая, 71.

Экономическій и государственный строй.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Долгія десятилѣтія въ русской исторической литературѣ господствовала гегелевская схема историческаго развитія. Какъ извѣстно, согласно этой схемѣ, вѣнцомъ историческаго творенія, зрѣлымъ плодомъ исторіи являлось государство. А такъ какъ растеніемъ интересуются ради плода, то вся исторія превращалась въ исторію государства. Все, что было на Руси до образованія централизованной монархіи Романовыхъ, разсматривалось, какъ подготовительная ступень—какъ завязь и цвѣтъ древа государственности. Все, что происходило послѣ этого, шло отъ государства и случалось благодаря ему. Все русское общество, со всѣми его классами, было создано государствомъ. Государство „закрѣпостило“ это общество, когда ему, государству, было это нужно—оно „раскрѣпостило“ его, когда съ государственной точки зрѣнія это стало необходимостью.

Схема принесла огромную пользу—этого нельзя отрицать. Если русскіе историки конца XIX вѣка могли разобраться въ русскомъ историческомъ процессѣ и сдѣлать его понятнымъ широкой публикѣ—то благодаря ей, гегелевской схемѣ. Такъ важны въ исторіи даже односторонніе обобщенія! Но все на свѣтѣ имѣетъ свой конецъ. Мало-по-малу въ кругъ интересовъ публики—и за нею и науки—стало входить все болѣе и болѣе фактовъ, не охватывающихся понятіемъ „государственности“—а затѣмъ и само это понятіе попало въ ковычки... Вспомнили, что, кромѣ „государственности“, у насъ есть и была „общественность“. Но попытки написать ея исторію, сохраняя въ общемъ вѣрность гегелевской точкѣ зрѣнія, естественно, не могли удаться.

Новые интересы вытащили на свѣтъ божій новые факты—новые факты потребовали новыхъ точекъ зрѣнія. Гегелевской схемѣ, уже успѣвшей отождествить себя съ наукой, но могли понравиться молодые конкуренты. На нихъ обрушились всею тяжестью академическаго презрѣнія. Но—прошелъ десятокъ лѣтъ, и съ ихъ существованіемъ приходилось помириться.

Настоящій „Очеркъ“ представляетъ собою попытку провести одну изъ этихъ схемъ, явившихся на смѣну гегелевской. Предыдущія попытки этого рода, по разнымъ обстоятельствамъ, не доводились до конца. Будетъ ли доведенъ до конца нашъ „Очеркъ“, это, разумѣется, зависитъ отъ очень многихъ условій—современная русская дѣйствительность такъ сложна. Но уже и выпускаемая теперь первая часть книги стремится дать, насколько возможно, цѣльное изображеніе экономическаго и политическаго развитія Россіи на всемъ протяженіи ея исторіи. Сдѣлать это въ одной книгѣ, и притомъ небольшой, можно было, конечно, только при бережливомъ, до скупости, отношеніи къ фактическимъ иллюстраціямъ. Нѣкоторыя страницы могутъ показаться, благодаря этому, сухими: автору приходилось выбирать между доступностью книги со стороны ея объема—и доступностью въ смыслѣ легкости и занимательности чтенія. Онъ выбралъ первое.

Для тѣхъ, кто желалъ бы имѣть больше фактическихъ подробностей, въ концѣ каждой главы даны краткія библіографическія указанія. Единственная цѣль, какую преслѣдуютъ эти указанія—назвать читателю книги, гдѣ подробно говорится о фактахъ, лишь затронутыхъ на страницахъ „Очерка“. „Библіографія“ вовсе не замѣняетъ собою подстрочныхъ ссылокъ: эти послѣднія устранены по совершенной ихъ ненужности въ книгѣ, предназначающейся для неспеціалистовъ; использованная авторомъ литература далеко не ограничивается сочиненіями, названными въ библіографическихъ примѣчаніяхъ. Авторъ не пытался дать также исчерпывающаго перечня литературы предмета: безъ оцѣнки называемыхъ книгъ такой перечень не имѣлъ бы никакого значенія для читателя-неспеціалиста; съ этою оцѣнкой библіографическій отдѣлъ разросся бы до размѣровъ

самостоятельной небольшой книжки. Кое-какія критическія замѣчанія пришлось все же дать и теперь: нельзя безъ оговорокъ называть книги, о содержаніи которыхъ невозможно судить по одному заглавію. Авторъ предвидитъ, что эти замѣчанія навлекутъ на него укоры въ „субъективности“,—пожалуй, и въ „пристрастіи“. Что касается перваго, то человѣческая мысль вообще относится къ области субъективнаго, и всякій, кто рѣшается высказывать свои мысли, неизбѣжно впадаетъ въ грѣхъ „субъективности“. Что же касается „пристрастія“, то, думается, достаточно бѣгло просмотрѣть имена называемыхъ въ „библіографіи“ авторовъ, чтобы устранить этотъ упрекъ: названо то, что нужно, въ интересахъ читателей. Если есть пробѣлы, то ихъ приходится отнести на счетъ тѣхъ условій, въ которыхъ писалась книга,—вдали отъ большихъ русскихъ библіотекъ.

Остается сказать нѣсколько словъ объ отношеніи выпускаемой теперь въ свѣтъ маленькой книжки къ большому изданію, составленному, въ значительной части, тѣмъ же лицомъ,—къ „Русской исторіи съ древнѣйшихъ временъ“. Сопоставленіе ихъ размѣровъ можетъ навести на мысль, что „Очеркъ“—нѣчто въ родѣ конспекта „Исторіи“. Такое представленіе было бы совершенно ошибочно. „Очеркъ исторіи русской культуры“—вполнѣ самостоятельная работа, написанная по совсѣмъ иному плану, чѣмъ „Русская исторія“, затрагивающая серіи фактовъ, въ послѣдней отсутствующія, и наоборотъ—не говорящая о многомъ, что тамъ имѣется. Двѣ книги объединяетъ только одинаковое пониманіе русскаго историческаго процесса.

Sceaux.
Мартъ, 1914.

М. Покровскій.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ 3-му ИЗДАНІЮ.

Авторъ не имѣлъ случая просмотрѣть второе изданіе I-ой части „Очерка исторіи русской культуры“, вышедшее въ его отсутствіе, и не имѣетъ возможности пересмотрѣть третье, какъ ни желательно это, особенно со стороны библіографіи. Будемъ дожидаться временъ, если не „лучшихъ“, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, то хотя бы болѣе удобныхъ для спокойной кабинетной работы.

Предварительныя замѣчанія.

Латинское слово „культура“ въ буквальномъ смыслѣ значитъ „обработка“. Во французскомъ и англійскомъ языкахъ это значеніе и до сихъ поръ остается господствующимъ. И у насъ говорятъ о „физической культурѣ“ или о „культурѣ хлѣбныхъ растеній“, въ смыслѣ ухода за человѣческимъ тѣломъ, такъ сказать „обработки“ его, или въ смыслѣ обработки земли для посѣва на ней хлѣба. Все, что является результатомъ человѣческой работы, въ широкомъ смыслѣ, можетъ быть причислено къ культурѣ: эту послѣднюю можно, стало быть, опредѣлить, какъ совокупность всего, созданнаго усиліями человѣка, въ противоположность тому, что даромъ, безъ усилій съ нашей стороны, даетъ намъ природа. И въ исторіи культуры приходится говорить о „явленіяхъ природы“,—такихъ, какъ климатъ, почва, устройство поверхности и т. д.,—но не какъ о фактахъ культуры, а какъ о ея необходимыхъ условіяхъ. Потребность въ пищѣ или половой инстинктъ, какъ явленія природы, къ исторіи культуры не относятся: но тѣ способы, какими люди стремятся удовлетворить эту потребность и урегулировать этотъ инстинктъ, исторія хозяйства, исторія семьи и связанной съ семьею половой нравственности, могутъ быть предметомъ культурной исторіи; при чемъ наличность самой потребности историкомъ будетъ приниматься, какъ данное, на такихъ же точно основаніяхъ, какъ такими данными являются опредѣленный климатъ, извѣстное отношеніе воды и суши и т. под.

Собираніе фактическаго матеріала для культурной исторіи началось чрезвычайно давно: собственно, уже „отецъ исто-

ріи", Геродотъ, поскольку онъ въ своихъ „Музахъ" описывалъ нравы, обычаи, учрежденія различныхъ народовъ, стоялъ на культурно-исторической точкѣ зрѣнія. Но какъ „Музамъ" Геродота задолго предшествовали, въ качествѣ образчика исторіи, надписи египетскихъ фараоновъ и вавилонскихъ царей, восхвалявшія ихъ подвиги, такъ и до сего дня многимъ кажется, что именно описаніе подвиговъ всякаго рода и должно составлять настоящій предметъ исторіи. Подъ „исторіей" многіе и до сихъ поръ понимаютъ „политическую" или „прагматическую" исторію—какъ еще ее иначе называютъ, „исторію событій" (названіе совершенно неправильное, ибо изобрѣтеніе паровой машины, напримѣръ, или открытіе бактерій, или появленіе „Фауста" суть событія не хуже всякихъ другихъ—но въ „прагматической" исторіи о нихъ не говорится). Исторію же „быта" (названіе опять совершенно неправильное, ибо подъ „бытомъ" въ обыкновенномъ словоупотребленіи мы понимаемъ нѣчто постоянное, неподвижное, предметомъ же исторіи является именно движеніе, развитіе) многіе склонны отодвигать на второй планъ и разсматривать ее какъ какой-то придатокъ къ „настоящей" исторіи. Въ плохихъ учебникахъ вы и до сихъ поръ найдете главы, посвященныя этому „быту", сзади главъ, посвященныхъ изложенію „событій"—при чемъ дорожащій временемъ преподаватель безъ сожалѣнія вычеркиваетъ „бытовыя" главы, ибо казенныя программы на нихъ не настаиваютъ: лишь бы знали ученики всѣ имена да всю хронологію. Не приходится скрывать, что къ точкѣ зрѣнія казенныхъ программъ весьма склонно присоединяться и „общество". Сплошь и рядомъ вы можете встрѣтить интеллигентнаго родителя, который жалуется, что его сына „плохо учатъ исторіи". „Почему же плохо?" „Да вотъ, онъ не знаетъ, въ какомъ году умерла Екатерина II"... Объяснять дѣло однимъ произволомъ начальства, стало-быть, нельзя: приходится припомнить одинъ изъ историческихъ законовъ, раньше всего подмѣченный историками, „законъ косности". Люди чрезвычайно упорно держатся разъ пробитой колеи и весьма неохотно покидаютъ ее для новыхъ путей.

Но собираніе культурно-историческаго матеріала, дѣло само по себѣ весьма простое, въ свою очередь, далеко опе-

редило обработку этого матеріала. Для того, чтобы написать исторію культуры, мало знать факты, — нужно еще знать зависимость фактовъ однихъ отъ другихъ, знать, какіе факты главные, какіе второстепенные. И вотъ, если въ дѣлѣ выбора фактовъ мы видѣли сейчасъ вліяніе исторической косности, въ образѣ начальства и „образованной публики“, то въ дѣлѣ толкованія фактовъ та же косность принимаетъ гораздо болѣе опасную форму, дѣйствуя въ образѣ самого историка. Не нужно представлять себѣ этого послѣдняго какимъ-то безплотнымъ существомъ, воодушевляемымъ нѣкіимъ отвлеченнымъ „научнымъ интересомъ“. Историкъ живой человѣкъ,—т. е. человѣкъ опредѣленной эпохи, опредѣленной страны, опредѣленнаго общественнаго класса: а прежде всего другого—опредѣленной профессіи. Профессіональныя, повседневныя занятія накладываютъ опредѣленный отпечатокъ на всю психику человѣка; всякому, конечно, приходилось подмѣчать, что у доктора, у военнаго, у купца, у учителя есть у каждаго своя особая складка, своя особая манера подходить къ фактамъ и объяснять ихъ. Историкъ, по своему личному положенію, человѣкъ умственнаго труда, интеллигентъ—это во-первыхъ; а затѣмъ, если переходить къ признакамъ болѣе частнымъ, онъ человѣкъ труда письменнаго, литераторъ. Что могло быть естественнѣе для него, какъ принять умственный трудъ за главное въ исторіи, а произведенія письменности, отъ стиховъ и романовъ до философскихъ трактатовъ и научныхъ изслѣдованій, за основные культурные факты? Совершенно естественно, что исторія литературы оказалась самымъ разработаннымъ отдѣломъ культурной исторіи. Въ литературѣ усмотрѣли ни болѣе, ни менѣе, какъ отраженіе самого „народнаго духа“, нимало не стѣсняясь тѣмъ обстоятельствомъ, что 90% народа не умѣли ни читать, ни писать, а 90% грамотныхъ читали не Пушкина или Бѣлинскаго, но „Аглицкаго милорда Георга“. Но этого мало: людьми умственнаго труда—и это тоже было довольно естественно—овладѣла та же гордыня, которая диктовала фараонамъ ихъ хвалебныя надписи. Имъ стало казаться, что это они дѣлаютъ исторію. Что она движется исключительно работой человѣческаго ума въ „высшихъ“—т. е. наиболѣе далекихъ отъ

житейской прозы—формахъ его дѣятельности. Что какой-нибудь поэтъ или философъ „дѣлаютъ эпоху въ исторіи". Словомъ, исторія культуры стала исторіей „просвѣщенія". При этомъ „просвѣтители" наивно не замѣчали, какъ много мѣста занимаютъ „низменные", матеріальные интересы даже въ ихъ собственной жизни,—какъ часто творчество поэта подстрекалось просто нуждой въ деньгахъ, а та или иная философская доктрина того или другого мыслителя объяснялась необходимостью добыть каѳедру или удержать за собой уже добытую [1]). Не говоря уже о томъ, что десятки милліоновъ трудового люда живутъ исключительно матеріальными интересами, имѣя для удовлетворенія своихъ „высшихъ" стремленій слишкомъ мало времени. Мы такъ срослись съ этою, „идеалистической", точкой зрѣнія, что намъ не безъ труда удается представить себѣ поэзію и философію какъ отдаленное отраженіе будничныхъ, матеріальныхъ интересовъ и столкновеній. И когда впервые было провозглашено ученіе „историческаго матеріализма" — „законъ косности" обрушился на него съ еще большею силой, чѣмъ на исторію культуры вообще. Кто началъ свою сознательную жизнь въ 90-хъ годахъ прошлаго столѣтія, можетъ, впрочемъ, легко представить себѣ все это по личнымъ воспоминаніямъ.

Теперь эта борьба отбушевала давно. Современнымъ противникамъ историческаго матеріализма приходится штурмовать прочно занятыя позиціи—и болѣе искренніе изъ нихъ не стѣсняются въ этомъ признаваться. „Одной изъ отличительныхъ чертъ историческаго самочувствія нашей эпохи является, безспорно, „э к о н о м и з м ъ",—пишетъ одинъ изъ такихъ противниковъ. „Безъ преувеличенія можно утверждать, что ни одна еще историческая эпоха не сознавала

---

[1]) Классическимъ образчикомъ является извѣстный германскій философъ Ибервегъ, исторія философіи котораго переведена и на русскій языкъ. По словамъ одного очень близкаго къ нему лица, „онъ былъ во всѣхъ направленіяхъ рѣшительнымъ атеистомъ и матеріалистомъ, хотя, какъ официальный профессоръ, онъ (преимущественно) считалъ своей задачей сообщать студентамъ только познанія въ исторіи философіи и ловкость въ логикѣ". Онъ не рѣшился открыто объявить себя „свободнымъ мыслителемъ" потому, что не считалъ себя „способнымъ къ другому призванію, кромѣ профессуры"

съ большей ясностью хозяйственной природы жизни и не склонна была въ большей степени ощущать міръ, какъ хозяйство... Экономическій матеріализмъ поэтому не можетъ быть просто отвергнутъ, онъ долженъ быть положительно превзойденъ, онъ не позволяетъ себя отбросить, но повелѣваетъ преодолѣть. Онъ запечатлѣнъ особой исторической подлинностью и искренностью. Число фактическихъ послѣдователей экономическаго матеріализма гораздо больше, чѣмъ открытыхъ и сознательныхъ его приверженцевъ..." [1]). Кому приходилось слѣдить за спеціальной литературой, тотъ особенно оцѣнитъ мѣткость послѣдняго замѣчанія. Куда только ни забирается матеріалистическая ересь! Вы раскрываете книгу ученаго лингвиста, проф. Гирта, объ индо-германцахъ: филологи, казалось бы, такъ должны быть далеки отъ экономическаго объясненія исторіи. И вы читаете: „Развитіе человѣческаго общества въ первой линіи зависитъ отъ его хозяйственной формы. Настойчивыя изслѣдованія послѣднихъ лѣтъ показали, что ея вліяніе отражается не только на плотности населенія какой-нибудь страны, но и на такихъ, казалось бы столь далеко отъ нея стоящихъ вещахъ, какъ искусство, религія, формы семьи". Вы берете работу не менѣе компетентнаго въ своей области французскаго ученаго Дешелетта—автора лучшаго въ европейской литературѣ руководства по доисторической археологіи—и находите чисто матеріалистическое объясненіе происхожденія культа солнца у первобытныхъ европейцевъ: культъ солнца явился въ Европѣ, по мнѣнію Дешелетта, вмѣстѣ съ земледѣліемъ; перемѣна въ религіозномъ сознаніи точно соотвѣтствовала извѣстной перемѣнѣ въ хозяйствѣ. И Гиртъ и Дешелетъ, вѣроятно, очень удивились бы, если бы имъ сказали, что подобнаго рода утвержденіями они проповѣдуютъ историческій матеріализмъ. Большинству „безсознательныхъ" историческихъ матеріалистовъ ихъ точка зрѣнія подсказана не какими-либо теоретическимм разсужденіями, а просто знаніемъ фактовъ и научной добросовѣстностью.

Ибо историческій матеріализмъ является не чѣмъ другимъ, какъ попыткой приложить обще-

---

[1]) *С. Булгаковъ.* „Философія хозяйства" („Русская Мысль", 1913, мартъ)

научные методы къ изученію историческихъ явленій. Всѣ науки начинали съ того, что для объясненія соотвѣтствующихъ явленій подставляли извѣстные психическіе факторы. Такъ, физики учили, что «природа не терпитъ пустоты»: природа рисовалась извѣстнымъ живымъ существомъ, съ тѣми или другими вкусами и привычками; физіологи объясняли явленія органической жизни особаго рода «жизненной силой», и т. д. Мало-по-малу, по мѣрѣ созрѣванія науки, всѣ эти объясненія смѣнились механическимъ—признаніемъ того, что всѣ явленія природы связаны желѣзной цѣпью необходимости и ни отъ чьей сознательной воли не зависятъ. Объясненіе исторіи культурнаго развитія работой человѣческаго сознанія было послѣднимъ отзвукомъ старо-научной теоріи, послѣднимъ ея прибѣжищемъ: всюду необходимость—а вотъ въ исторіи-то свободная воля и даетъ себя чувствовать! Но уже восемнадцатый вѣкъ призналъ, что человѣкъ есть часть природы. Физіологія и психологія на каждомъ шагу насъ учатъ, что жизнь нашего организма и работа нашего сознанія подчинены такимъ же желѣзнымъ законамъ, какъ и вся природа. Откуда возьмется свобода въ исторіи, разъ въ человѣкѣ ея нѣтъ? А какъ скоро вы признаете, что человѣческія дѣйствія, всѣ тѣ культурные факты, которые являются результатомъ человѣческой работы, съ механической необходимостью вытекаютъ одни изъ другихъ, что человѣкъ со всѣми своими «идеями» ничего въ процессѣ культурнаго развитія измѣнить не можетъ,—а можетъ повліять на этотъ процессъ, какъ и на всякій другой природный процессъ, лишь изучивъ его законы: какъ скоро вы это признаете, всякій смыслъ бороться противъ матеріалистическаго пониманія исторіи для васъ исчезнетъ. Не все ли равно, что́ отъ чего зависитъ, литература отъ хозяйства или хозяйство отъ литературы, разъ и литература и хозяйство не зависятъ отъ нашей воли, а развиваются по какимъ-то законамъ, столь же непреложнымъ, какъ законы, опредѣляющіе вращеніе земли вокругъ солнца? Новѣйшіе нѣмецкіе философы, Риккертъ и его школа, правильно поняли задачу, взявъ весь споръ исторического идеализма съ историческимъ матеріализмомъ, какъ споръ свободной воли противъ необходимости: бѣда

для нихъ только въ томъ, что въ наукѣ споръ этотъ давно рѣшенъ. Свободная воля осталась только въ богословіи и тѣсно съ нимъ связанной метафизикѣ (не даромъ мѣтко прозванной въ средніе вѣка «служанкой богословія»). Но сослаться на богословіе передъ современной публикой значитъ погубить всякое къ себѣ довѣріе. Смутно чувствуя это, нѣкоторые изъ послѣдователей названной нами сейчасъ школы устраняютъ изъ объясненія и свободную волю, сводя все — къ случаю. Но свести всю исторію къ игрѣ случайностей значитъ попросту сказать: «я въ историческомъ процессѣ ничего не могу понять».

Разъ ставъ на точку зрѣнія историческаго детерминизма [1]), можно спорить только объ одномъ: является ли экономическое объясненіе теоріи наилучшимъ съ научной точки зрѣнія, т.-е. позволяющимъ съ наименьшими натяжками охватить наибольшее число явленій? Отвѣтъ на это могутъ дать, само собою разумѣется, только спеціальныя изслѣдованія. A priori, раньше всякаго изслѣдованія, можно только догадываться, что такъ какъ человѣкъ, физіологически, подчиненъ тѣмъ же законамъ, какъ и всѣ органическія существа, стало-быть главной его потребностью является потребность питанія («все, что живетъ, питается, и все, что питается, живетъ»), а съ другой стороны, его сознательная жизнь предполагаетъ, какъ необходимое условіе, его жизнь органическую (организмъ умершій лишенъ

[1]) «Детерминизмомъ» называется такое міросозерцаніе, которое всѣ явленія природы разсматриваетъ, какъ связанныя другъ съ другомъ и обусловливающія одно другое. Историческій детерминизмъ хорошо формулированъ уже однимъ изъ философовъ-матеріалистовъ XVIII вѣка, Гольбахомъ, въ его «Системѣ природы». «Въ ужасныхъ потрясеніяхъ, которыя охватываютъ иногда политическія общества и нерѣдко причиняютъ ниспроверженіе государства, не существуетъ ни одного дѣйствія, ни одного слова, ни одной мысли, ни одного движенія воли, ни одной страсти въ дѣйствующихъ лицахъ, участвующихъ въ революціи какъ въ роли разрушителей, такъ и въ роли жертвы, — которыя не были бы необходимы, которыя не дѣйствовали бы, какъ они должны дѣйствовать, которыя не производили бы неминуемо слѣдствій, которыя они должны произвести согласно положенію, занимаемому дѣйствующими лицами въ этой нравственной бурѣ», говоритъ Гольбахъ. «Это было бы ясно такому уму, который былъ бы въ состояніи оценить каждое дѣйствіе и противодѣйствіе, происходящія въ духѣ и тѣлѣ участниковъ». Цитируемъ по Ланге «Исторія матеріализма» русск. перев. стр. 340—341 I тома.

сознанія): то потребность въ поддержаніи организма, потребность питанія, есть основная потребность человѣка, какъ и всякаго другого живого существа; только послѣ удовлетворенія этой потребности онъ можетъ думать о другихъ— и его дѣятельность, направленная къ удовлетворенію этой потребности, есть основная дѣятельность человѣка. Значитъ, „главными“ культурными фактами являются факты экономической культуры, исторія хозяйства—ибо основной задачей хозяйства является добываніе пищи. Повторяемъ, это апріорное положеніе можетъ стать научной истиной только послѣ провѣрки на цѣломъ рядѣ отдѣльныхъ вопросовъ. До сихъ поръ такая провѣрка говорила въ пользу этого положенія: доказано, напримѣръ, что такой видный элементъ музыки, какъ ритмъ, зародился въ связи съ работой— имѣетъ, стало-быть, „экономическое“ происхожденіе; что формы семьи тѣсно связаны съ формами хозяйства—у охотниковъ своя семья, у скотоводовъ своя, а наиболѣе близкій и понятный намъ семейный строй связанъ съ земледѣліемъ новѣйшаго типа—пашней съ помощью рабочаго скота, вола или лошади. Наиболѣе ясна зависимость отъ хозяйственныхъ отношеній политической организаціи—каждому опредѣленному экономическому строю соотвѣтствуетъ опредѣленный политическій строй: доказательства этому читатели найдутъ на послѣдующихъ страницахъ настоящей книги. Все это дѣлаетъ историческій матеріализмъ наиболѣе надежной, наиболѣе плодотворной „рабочей гипотезой“, какую только когда-либо имѣла въ своемъ распоряженіи историческая наука: изъ всѣхъ возможныхъ объясненій той или другой исторической перемѣны ученый обязанъ испробовать, прежде всего, „экономическое“ объясненіе—и только, если оно откажетъ, онъ вправѣ будетъ перейти къ другимъ. До сихъ поръ случаевъ такого отказа, при добросовѣстномъ изслѣдованіи, не было: но общепринятымъ „экономизмъ“ сталъ такъ еще недавно, что достигнуть такой степени убѣдительности, какую пріобрѣлъ, напримѣръ, дарвинизмъ въ біологіи, матеріалистическому объясненію исторіи пока не удалось. Это не удивительно: лежащій въ основѣ дарвинизма „трансформизмъ“, ученіе объ измѣнчивости видовъ, уже отпраздновалъ столѣтній юбилей, а историческій ма-

теріализмъ завоевалъ себѣ довѣріе только на нашихъ глазахъ. Если прибавить къ этому, что дарвинизму приходилось бороться только съ предразсудками религіозными, не столь могущественными въ наши дни, а поперекъ дороги историческаго матеріализма стоятъ всѣ современные общественные предразсудки, гораздо болѣе прочные, то остается скорѣе удивляться быстротѣ, съ которою распространяется наше ученіе, нежели отчаиваться по поводу медленности его успѣховъ

Что научное пониманіе исторіи есть ея матеріалистическое пониманіе, что историческій матеріализмъ и историческій детерминизмъ суть одно и то же, это—открыто или молчаливо—признается болѣе или менѣе всѣми [1]). Только въ Россіи и нѣкоторыхъ отсталыхъ странахъ—напр., въ Румыніи—можно еще встрѣтить людей, которые возможность исторіи, какъ науки, признаютъ, но считаютъ, въ то же время, своимъ долгомъ ратовать противъ историческаго матеріализма. Тамъ, гдѣ философская мысль всего острѣе, въ Германіи, давно поняли, что нужно или отказаться отъ исторической науки вообще, или примириться съ матеріалистическимъ ея пониманіемъ. А такъ какъ по цѣлому ряду причинъ, не имѣющихъ къ наукѣ никакого отношенія, примириться съ этимъ для господствующихъ общественныхъ круговъ очень трудно, то вполнѣ естественно, что въ Германіи возникло цѣлое, весьма вліятельное, философское теченіе, представители котораго взяли, что называется, быка за рога и заявили, что вообще исторія никогда наукой стать не можетъ. На эту тему писались толстыя книги—и развивалась эта тема съ огромной эрудиціей и не безъ большого литературнаго таланта. Но если освободить основную мысль сторонниковъ этого направленія отъ пышной философской терминологіи и свести ее къ наиболѣе простому и ясному выраженію, получится нѣчто чрезвычайно скудное и, съ позволенія сказать, дѣтски-наивное. Исторія никогда не можетъ стать наукой, гласитъ эта основная мысль, потому, что предметомъ науки могутъ быть только явленія повторяющіяся, въ

[1]) См., между прочимъ, цитированную статью г. Булгакова

исторіи же мы имѣемъ дѣло съ фактами индивидуальными, которые одинъ разъ случились, и ни раньше, ни послѣ такихъ именно фактовъ не было. Только повторенія явленій даютъ намъ возможность установить ихъ законъ: для того, что не повторяется, никакого закона установить нельзя. Одинъ авторъ, признающій исторію наукой и отчаянно борющійся, въ то же время, съ ересью историческаго матеріализма, отвѣтилъ на это такъ убѣдительно, что историческому матеріализму нечего прибавить къ его доводамъ: до такой степени несостоятельность основной мысли германскихъ анти-матеріалистовъ ясна для самаго простого ума. Да въ какой же наукѣ нѣтъ индивидуальнаго? спрашиваетъ этотъ авторъ: развѣ въ математикѣ? Но уже въ астрономіи, напримѣръ, индивидуальнаго сколько угодно; у каждой планеты есть свои индивидуальные признаки: такихъ колецъ, какъ у Сатурна, нѣтъ ни у одной другой планеты; у Юпитера 5 спутниковъ, а у земли одинъ; земля обращается вокругъ солнца въ 365 дней, а Марсъ въ 687, и т. д. и т. д. Значитъ, астрономія не можетъ быть наукой? Геологія, біологія точно такъ же имѣютъ дѣло съ явленіями, въ сущности, однократными — та или иная геологическая формація, тотъ или иной видъ растеній или животныхъ существуютъ только однажды. Стремясь оградить публику отъ «вреднаго» историческаго матеріализма, германскіе анти-матеріалисты, не замѣчая этого, упразднили всѣ науки, кромѣ математики. Съ другой стороны, безсловная индивидуальность историческихъ явленій только кажущаяся — и объясняется этотъ историческій миражъ, главнымъ образомъ, нашимъ фактическимъ невѣжествомъ. Европейскіе «средніе вѣка», средневѣковая культура, сложившаяся на развалинахъ античной цивилизаціи, еще недавно казалась чѣмъ-то «совершенно индивидуальнымъ». Потомъ замѣтили черты сходства съ ней въ гомеровской Греціи, — а съ открытіемъ такъ называемой эгейской культуры стало ясно, что античная Греція начала съ самаго форменнаго «средневѣковья»: культура гомеровской Греціи возникла на развалинахъ другой, гораздо болѣе высокаго порядка, существовавшей на островахъ Эгейскаго моря за 3000 — 2000 лѣтъ до Р. Х. Греки начали, подобно герман-

цамъ, съ разгрома старыхъ цивилизовавшихъ государствъ, а потомъ устроились на ихъ обломкахъ. Значитъ, по крайней мѣрѣ южная Европа имѣла д в а средневѣковья, а не одно: два періода подъема, два слѣдовавшихъ за ними вторженія варваровъ и два вызванныхъ этими вторженіями періода упадка. Когда будутъ расшифрованы памятники эгейской письменности, весьма легко можетъ оказаться, что многое, поражавшее насъ своею оригинальностью и свѣжестью въ греческой литературѣ, на самомъ дѣлѣ результатъ такого же «возрожденія», какое пережила Европа въ XIV—XV вѣкахъ послѣ Р. Х. Когда будутъ вовлечены въ научный оборотъ исторіи Китая, Японіи, Индо-Китая и т. д., нынѣ извѣстныя лишь очень поверхностно, число такихъ историческихъ повтореній увеличится во много разъ: о «японскомъ феодализмѣ», напримѣръ, уже теперь можно говорить. На долю «индивидуальнаго» останутся тогда только индивидуальности въ самомъ тѣсномъ смыслѣ этого слова—личности отдѣльныхъ «героевъ» съ ихъ подвигами. Другими словами, «исторія фараоновъ» никогда не станетъ наукой: историкъ-матеріалистъ констатируетъ это съ особеннымъ удовольствіемъ. Значитъ, исторія культурныхъ фактовъ не только по содержанію важнѣе исторіи «подвиговъ», но и методологически она выше ея, ближе къ типу настоящей науки. И установлено это превосходство культурной исторіи ея врагами: стало-быть, сомнѣваться въ этомъ никакъ ужъ не приходится. Германскіе анти-матеріалисты убрали съ нашей дороги много лишнихъ бревенъ.

Есть, говорятъ, однако, у исторіи особенность, которая сулитъ ей непріятную, для науки, перспективу: остаться вѣчно юной. Два главные способа научнаго познанія: н е п о с р е д с т в е н н о е н а б л ю д е н і е и о п ы т ъ навсегда будто бы останутся для нея закрытыми. Исторія можетъ знакомиться со своимъ объектомъ только косвенно—она не можетъ наблюдать прошлое такъ именно, какъ оно происходило, во всей его полнотѣ; въ то же время историкъ всегда будетъ рабомъ своего матеріала—онъ не сможетъ никогда переставить съ мѣста на мѣсто ни одной самомалѣйшей детали, чтобы провѣрить тотъ или другой свой выводъ. Замѣчаніе это, конечно, гораздо болѣе серьезное и

дѣловое, чѣмъ разговоры о „неповторяемости" историческихъ явленій. Нѣтъ спора—наблюдать живьемъ и воочію древне-египетскую культуру мы не можемъ; не можемъ мы произвести, ради опыта, хотя бы маленькаго крестоваго похода. Но все же возраженіе не такъ убійственно, какъ кажется на первый взглядъ. Во-первыхъ, опять-таки подавляющее большинство наукъ сплошь и рядомъ довольствуется наблюденіемъ косвеннымъ. Въ зоологіи признаки родовъ и видовъ часто устанавливаются по скелету, т.-е. на основаніи такой вещи, которой у живого экземпляра не увидишь: но матеріальные обломки погибшей цивилизаціи такой же скелетъ; для вымершихъ видовъ, кромѣ костей, по большей части и нѣтъ ничего—да не всегда есть и цѣлые костяки: въ палеонтологіи сходство съ археологіей почти полное. То же самое въ геологіи—никто никогда не изслѣдовалъ „непосредственно" всей земной коры: молчаливо предполагаютъ, что изученные нами образчики могутъ служить для сужденія обо всемъ остальномъ, хотя извѣстное относится къ неизвѣстному, какъ единица къ милліону. Въ астрономіи совершенно невозможенъ опытъ, а въ психологіи приложеніе его очень ограничено. А затѣмъ, исторія въ обоихъ этихъ отношеніяхъ вовсе не такъ обездолена, какъ кажется съ перваго взгляда. Совершенно ошибочно, будто непосредственное наблюденіе культурно-историческихъ фактовъ дѣло абсолютно невозможное: на земномъ шарѣ есть цѣлый рядъ народовъ, еще теперь стоящихъ на тѣхъ ступеняхъ развитія, которыя для европейцевъ представляются болѣе или менѣе отдаленнымъ прошлымъ. За примѣрами ходить недалеко—въ половинѣ прошлаго XIX вѣка сельская поземельная община въ Западной Европѣ существовала только въ видѣ ничтожныхъ остатковъ, тогда какъ въ Россіи или въ Индіи ее можно было наблюдать въ полномъ цвѣту. Въ негритянскихъ государствахъ Судана передъ нами живьемъ Европа поздняго средневѣковья, съ сильнымъ развитіемъ ремесла, цехами, первобытной бюрократіей и примитивнымъ денежнымъ хозяйствомъ; а Полинезія даетъ намъ столь же яркую картину непосредственно предшествующей ступени культурнаго развитія—т. наз. „помѣстнаго хозяйства" [1]). Весь этотъ бо-

[1]) Термины будутъ объяснены въ дальнѣйшемъ.

гатѣйшій родникъ культурнаго матеріала сталъ разрабатываться не больше одного поколѣнія назадъ, и уже теперь для такихъ капитальныхъ вопросовъ, какъ исторія земледѣлія, ремесла или денегъ, какъ исторія религіозныхъ вѣрованій или семейной организаціи, мы имѣемъ матеріалъ, несравнимый, по своей полнотѣ, съ тѣмъ, что знали ученые 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Трудно представить себѣ, что дастъ тутъ „непосредственное наблюденіе“ къ концу XX вѣка. Не такъ наглухо замкнута исторія и для опыта, какъ можетъ показаться. Во-первыхъ, непрерывнымъ опытомъ является исторія текущаго момента. Историкъ, не чуждый интереса къ окружающему, на каждомъ шагу долженъ прибѣгать къ „прогнозу“, дѣлать предсказанія, которыя сейчасъ же подтверждаются или опровергаются фактами: чѣмъ это не опытъ, хотя бы и въ самой грубой его формѣ? Въ тѣхъ случаяхъ, когда мы имѣемъ дѣло съ явленіями, поддающимися количественному анализу, доступными статистической обработкѣ, въ этомъ „опытѣ“ возможна довольно большая степень точности: всѣмъ извѣстно, напримѣръ, что промышленные кризисы предсказываются, съ рискомъ ошибки, пожалуй, меньшимъ, чѣмъ какой существуетъ въ такихъ неоспоримо „естественныхъ“ наукахъ, какъ метеорологія. Но это, вѣдь, не прошлое, а настоящее: это не исторія, а соціологія, возразитъ намъ читатель. Мы не видимъ никакой разницы между культурной исторіей и соціологіей: и та и другая отыскиваютъ законы развитія человѣчества, какъ создателя культуры (можно, вѣдь, изучать развитіе вида homo sapiens и съ чисто зоологической точки зрѣнія,—но это не будетъ ни соціологія, ни исторія культуры). Соціологія была бы отлична отъ исторіи культуры для того ученаго, который видѣлъ бы въ „обществѣ“ особаго рода организмъ (школа Спенсера): но эта точка зрѣнія имѣетъ нынѣ такъ мало сторонниковъ, что едва ли стоитъ ее опровергать. Какъ мы увидимъ изъ дальнѣйшаго, культурный прогрессъ возможенъ только въ обществѣ: изолированный индивидуумъ (Робинзонъ на своемъ островѣ, напримѣръ) навѣки застрялъ бы на первыхъ ступеняхъ культурнаго развитія. Отсюда, исторія общества—наука объ обществѣ, и исторія культуры суть одно и то же. А по поводу есте-

ственно-научныхъ методовъ въ этой наукѣ прибавимъ только одно: „опыты“ возможны не только для настоящаго, но и для далекаго прошлаго, какъ это ни странно звучитъ. Очень часто, по недостатку матеріала, историку приходится пополнять пробѣлы при помощи предположеній и догадокъ, на основаніи аналогіи съ другими случаями подобнаго рода. И, сплошь и рядомъ, послѣдующія открытія вполнѣ подтверждали такія догадки. Въ древнемъ Египтѣ, напримѣръ, долгое время отрицали наличность самой ранней культуры, такъ называемой „древне-каменной“, палеолитической: египетская культура, такимъ образомъ, казалась явившейся сразу въ законченномъ видѣ, безъ прошлаго, безъ предварительной долгой подготовки; это давало поводъ ко всевозможнымъ фантастическимъ предположеніямъ о происхожденіи древне-египетской цивилизаціи. Но сторонники однообразнаго всюду развитія культуры не сдавались, утверждали, что и у Египта должна была быть своя древнѣйшая стадія—и раскопки постепенно дали имъ полное оправданіе: въ Египтѣ найдены были памятники древне-каменнаго вѣка. „Опытъ“ подтвердилъ гипотезу

Итакъ, въ исторіи культуры примѣнимы и непосредственное наблюденіе, въ размѣрахъ ничуть не меньшихъ, чѣмъ въ другихъ естественныхъ наукахъ, и даже опытъ—послѣдній, правда, въ размѣрахъ несравненно болѣе скромныхъ пока, нежели въ настоящихъ „опытныхъ“ наукахъ: но давно ли опытъ завоевалъ себѣ право гражданства въ біологіи, напримѣръ? Что окажется возможно черезъ пятьдесятъ лѣтъ, мы и тутъ представить себѣ не можемъ. Словомъ, нѣтъ никакого разумнаго основанія отрицать, что исторія культуры есть одна изъ естественныхъ наукъ, притомъ вовсе не столь отсталая, какъ иногда думаютъ. По мѣрѣ того, какъ матеріалистическое пониманіе исторіи дѣлаетъ все большія и большія завоеванія въ кругу спеціалистовъ, наша наука все больше и больше догоняетъ свою ближайшую сосѣдку и предшественницу—біологію. И жгучій въ дни нашей юности вопросъ—существуютъ ли „законы исторіи?“—понемногу сходитъ со сцены: лучшее доказательство зрѣлости науки. Ибо ни для физика, ни для химика, ни для біолога такого вопроса, по отношенію къ интересую-

щимъ ихъ явленіямъ, не существуетъ: они ищутъ эти законы и открываютъ ихъ, а не спорятъ между собою, есть ли что искать. Исторія культуры идетъ тѣмъ же путемъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о планѣ и задачахъ настоящаго „Очерка". Читатель уже знаетъ, что авторъ его стоитъ на матеріалистической точкѣ зрѣнія—развитіе русскаго народнаго хозяйства естественно должно поэтому составить первую и основную часть „Очерка". Къ сожалѣнію, никому въ этомъ случаѣ не приходится строить на болѣе зыбкомъ фундаментѣ, чѣмъ русскому историку. Въ то время, какъ съ исторіей права и учрежденій Россіи мы знакомы весьма недурно—насколько, конечно, право и учрежденія можно понять, не зная исторіи хозяйства,—въ то время, какъ исторія русской литературы, а въ послѣднее время даже исторія русскаго искусства даютъ все болѣе и болѣе возможности для широкихъ культурныхъ обобщеній, исторіи русскаго народнаго хозяйства просто еще нѣтъ—она не написана. То-есть, есть довольно много книжекъ подъ соотвѣтствующими заглавіями: но горе тому, кто вообразилъ бы, что вопросы, поставленные авторами въ заголовкахъ этихъ книжекъ, дѣйствительно въ нихъ разрѣшены. Для очень важныхъ эпохъ — какъ, напримѣръ, XVIII вѣка—даже факты плохо извѣстны. Вотъ почему автору „Очерка", къ большому его огорченію, придется быть въ этомъ основномъ отдѣлѣ болѣе „субъективнымъ", чѣмъ онъ самъ желалъ бы, и отвести фактическимъ иллюстраціямъ въ этой области нѣсколько больше мѣста, чѣмъ требовала бы архитектура книги: нигдѣ, какъ здѣсь, не приходится менѣе предполагать знаній у читателя, даже сравнительно подготовленнаго, прошедшаго курсъ средней школы, напримѣръ.

Экономическое развитіе, тѣ или другія смѣняющія въ исторіи другъ друга системы производства, даютъ основаніе для тѣхъ или другихъ общественныхъ группировокъ: другими словами, исторія хозяйства неразрывно связана съ исторіей общества, исторіей возникновенія и развитія общественныхъ классовъ. Соціальные результаты той или иной организаціи производ-

ства удобнѣе всего разсматривать въ тѣсной связи съ этой организаціей: исторія общественныхъ классовъ войдетъ, поэтому, въ тотъ же первый отдѣлъ „Очерка“. Но командующіе въ народномъ хозяйствѣ общественные элементы никогда не довольствуются своимъ фактическимъ преобладаніемъ; они стремятся закрѣпить его навсегда путемъ юридическихъ нормъ, путемъ обычаевъ, права и государственныхъ учрежденій. Право и учрежденія образуютъ какъ бы твердую оболочку надъ жидкимъ, текучимъ процессомъ хозяйственнаго развитія. Время отъ времени хозяйству становится тѣсно въ этой оболочкѣ; она трескается и спадаетъ—обыкновенно къ тому моменту, когда подъ ней успѣла уже образоваться достаточно прочная „молодая кожица“. Въ то время, какъ соціальныя отношенія, являющіяся прямымъ воплощеніемъ отношеній производства, разсматривать отдѣльно отъ послѣднихъ въ общемъ обзорѣ невозможно, твердую оболочку экономическаго процесса, право и учрежденія можно изолировать и изучать отдѣльно: обзоръ развитія права и учрежденій составитъ самостоятельный второй отдѣлъ „Очерка“.

Но и формальнаго права бываетъ, обыкновенно, недостаточно командующимъ классамъ для обезпеченія ихъ преобладанія. Право, въ концѣ концовъ, всегда опирается на матеріальную силу: но ни одинъ режимъ въ мірѣ не устоялъ бы сколько-нибудь продолжительное время, если бы ему на каждомъ шагу приходилось обращаться къ матеріальной силѣ. Эта печальная необходимость достается только на долю режимовъ открыто реакціонныхъ, стоящихъ въ явномъ противорѣчіи съ потребностями хозяйственнаго развитія. Въ большинствѣ случаевъ бываетъ не такъ: въ большинствѣ случаевъ стараются выработать въ подвластныхъ „охоту къ повиновенію“, командующіе классы стараются добиться своего „добромъ, а не жесточью“. При этомъ воспитаніи подвластныхъ „въ духѣ кротости и смиренія“ главную роль играетъ религія,—необходимое дополненіе права и государственной организаціи. По своему происхожденію религіозныя эмоціи не связаны ни съ хозяйствомъ, ни съ правомъ: въ основѣ религіи лежитъ фактъ, почти столь же физіологическій, какъ потребность питанія—страхъ смерти.

Это чувство историку культуры приходится принять, какъ данное, и въ этомъ, широчайшемъ, смыслѣ религія, конечно, есть „частное дѣло каждаго“; ей мѣсто не въ исторіи культуры, а въ психологіи. Но на практикѣ такой изолированной религіи, религіи Робинзона на его островѣ, мы нигдѣ не встрѣчаемъ, на практикѣ мы всегда имѣемъ религію „обобществленную“, обросшую прочными общественными учрежденіями—неизбѣжными признаками всякой исторической религіи является культъ и церковь. Если право вынуждаетъ повиновеніе себѣ страхомъ матеріальныхъ каръ, религіозныя учрежденія добиваются той же цѣли страхомъ каръ „нездѣшняго міра“, тѣмъ болѣе страшныхъ, чѣмъ онѣ таинственнѣе и непонятнѣе. Лежащій въ основѣ религіи мистическій страхъ культивируется здѣсь съ общественными цѣлями—религіозная организація является особой системой господства, дополняющей свѣтскую систему господства—государство. Оттого въ древнѣйшемъ государствѣ право и религія тѣсно переплетены другъ съ другомъ, и правовыя предписанія часто являются прямо въ видѣ заповѣдей свыше. Но, въ то же время, повторяемъ, по своему происхожденію религіозная организація представляетъ собою нѣчто самостоятельное: при чемъ, разъ переплетясь съ политикой, религія можетъ быть использована и противъ данпаго государственнаго строя—въ угоду строю будущему. Религія можетъ быть, при случаѣ, и революціоннымъ факторомъ. Эта относительная самостоятельность религіи и заставляетъ выдѣлить ее въ особую, и очень важную, главу исторіи культуры: обзоръ религіознаго развитія русскаго народа составитъ, поэтому, самостоятельный, третій отдѣлъ „Очерка“.

Хозяйство, право и религія на раннихъ ступеняхъ развитія исчерпываютъ собою все содержаніе культуры—въ исторіи первобытной культуры, поэтому, ни о чемъ болѣе говорить и не пришлось бы. „Очеркъ“ ставитъ себѣ задачей довести обзоръ культурнаго развитія Россіи до нашихъ дней—ему придется, поэтому, коснуться періодовъ, болѣе сложныхъ въ культурномъ отношеніи. По мѣрѣ развитія сознательности, у людей является стремленіе осмыслить и понять существующее, при чемъ эта работа осмысленія

Инв. № 65510

существующаго, начавъ съ природы, распространяется и на общественныя явленія. Командующіе классы хотятъ не просто господствовать помощію страха человѣческаго и страха Божія,—они хотятъ доказать себѣ и другимъ, что такъ и должно быть, что ихъ господство разумно и необходимо. Классы, борющіеся за господство съ тѣми, что въ данную минуту стоятъ у власти, также стремятся разумно оправдать свои требованія. Каждый классъ вырабатываетъ свою идеологію: у экономическаго процесса, рядомъ съ твердой оболочкой права, и туманной, мистической оболочкой религіи, появляется третья, идейная оболочка. Путемъ воспитанія, въ школѣ, мы чаще всего усваиваемъ именно эту послѣднюю, подъ видомъ знакомства съ подлинной дѣйствительностью, которую изъ подъ идеологической оболочки часто трудно и разглядѣть. Анализъ различныхъ идеологій составляетъ, поэтому, даже практически, чрезвычайно важный отдѣлъ культурной исторіи—особенно, если принять во вниманіе, что и различныя книги по исторіи культуры написаны подъ тѣми или иными идеологическими вліяніями. Этому анализу, въ рамкахъ русской культуры, будетъ посвященъ четвертый отдѣлъ „Очерка“.

И, наконецъ, очеркъ исторіи русской культуры не можетъ обойтись безъ тѣхъ отдѣловъ, съ которыхъ исторія культуры, какъ наука, начала—безъ исторіи литературы и искусства. И то и другое такъ же стары, какъ сама культура—и хозяйство, и право, и религія имѣютъ свое эстетическое отраженіе на самыхъ раннихъ ступеняхъ культурнаго развитія. Уже въ концѣ палеолитическаго періода европейской культуры, въ такъ называемую „мадленскую“ эпоху, мы имѣемъ искусство, очень высоко стоящее въ техническомъ отношеніи и, несомнѣнно, тѣсно связанное съ первобытной религіей: а памятникамъ „мадленской“ культуры, по опредѣленіямъ разныхъ археологовъ, отъ десяти до тридцати тысячъ лѣтъ! Камни молчатъ, а то бы мы, безъ сомнѣнія, знали и мадленскую поэзію, которая, вѣроятно, оказалась бы не ниже поэзіи современныхъ „дикихъ“ и „полу-дикихъ“ народовъ, давшей столько мотивовъ поэзіи цивилизованныхъ европейцевъ. Для историка-матеріалиста важна, конечно, прежде всего общественная сторона

поэзіи и искусства—отраженіе въ нихъ тѣхъ или другихъ общественныхъ отношеній: этому и будетъ, главнымъ образомъ, посвященъ п я т ы й отдѣлъ нашего „Очерка“, при чемъ, въ виду богатства фактическаго матеріала и сравнительно очень широкой его извѣстности, здѣсь характеръ о б щ а г о о б з о р а, намѣчающаго лишь основныя линіи процесса, его главныя тенденціи, и не претендующаго сообщить какія-либо новыя фактическія свѣдѣнія, будетъ по необходимости выступать наиболѣе отчетливо.

Для каждой ступени культурнаго развитія хозяйство, право, религія, литература и искусство являются, какъ одно цѣлое—характерныя черты данной культурной ф а з ы выступаютъ всюду. Является вопросъ: почему мы находимъ нужнымъ разрѣзать культурно-историческій процессъ на пять вертикальныхъ полосъ, а не разсматривать его въ порядкѣ горизонтальныхъ напластованій, фазу за фазой? Матеріальная основа культуры, въ послѣднемъ случаѣ, была бы вѣдь яснѣе? Совершенно вѣрно: но зато, во-первыхъ, читателю пришлось бы, не одинъ разъ, отъ искусства переходить къ хозяйству, которое на протяженіи районовъ правоваго, религіознаго, идеологическаго и т. д. давно успѣло уйти изъ круга его вниманія. А затѣмъ, не нужно забывать, что прошлое для насъ важно, главнымъ образомъ, для пониманія настоящаго: при „фазеологическомъ“ методѣ и раздѣленіи книги на нѣсколько выпусковъ читатель на долгое время вынужденъ былъ бы довольствоваться знакомствомъ съ фазами болѣе или менѣе отдаленными и потому менѣе для него важными. При „вертикальномъ“ же дѣленіи читатель получаетъ цѣльные обзоры наиболѣе важныхъ отдѣловъ—съ матеріалистической точки зрѣнія наиболѣе важныхъ—сразу: онъ видитъ, какъ современное хозяйство Россіи развилось изъ его зачатковъ, и вниманіе его не дробится между различными сторонами культурнаго процесса. Соображенія, которыя, повидимому, заставили отступить отъ своего принципа и самого творца „фазеологіи“, Мюллера—Ліера [1]), остановившагося, въ концѣ-концовъ, тоже на вертикальномъ дѣленіи. Представить же читателю „планъ“ культурнаго развитія

[1]) См. M u l l e r - L y e r, Die Phasen der Kultur, München 1908.

удобнѣе всего въ концѣ книги, въ видѣ сжатаго повторительнаго обзора, или, еще нагляднѣе, въ видѣ таблицы.

Въ заключеніе нѣсколько словъ въ отвѣтъ на послѣдній вопросъ, который, навѣрное, уже давно задаетъ себѣ читатель: что разумѣетъ авторъ подъ русской культурой? Думаемъ, что едва ли найдутся люди, которые предъявили бы къ исторіи русской культуры требованіе, внушенное видомъ учебниковъ русской политической исторіи: говорить о культурѣ всѣхъ народовъ, входящихъ въ составъ „россійской державы“. Слишкомъ уже очевидно, что поляки, финляндцы, армяне, грузины, даже татары и туркестанскіе сарты имѣли ту или другую культуру задолго до соприкосновенія съ русскими, и выработали ее безо всякаго вліянія со стороны этихъ послѣднихъ. Но зато найдется, можетъ быть, не мало читателей, которые не прочь были бы опредѣлять „русскую“ культуру по географическому признаку и видѣть въ нашемъ „Очеркѣ“ обзоръ культурнаго процесса, какъ проходилъ онъ на „классической территоріи русской исторіи“—между четырьмя морями, Балтійскимъ, Бѣлымъ, Каспійскимъ и Чернымъ, къ востоку отъ Нѣмана и Днѣстра, къ западу отъ Волги, Камы и Уральскихъ горъ. Намъ пришлось бы начать со слѣдовъ „ледниковаго человѣка“ на этой „классической территоріи“ и переходить отъ кіевской стоянки охотниковъ на мамонта къ таинственнымъ создателямъ „трипольской“ культуры, а отъ нихъ—къ скиѳамъ, сарматамъ и т. д. Мы должны отказать въ этомъ удовольствіи и себѣ и имъ. Единственнымъ научно-цѣннымъ принципомъ при выдѣленіи изъ общекультурной массы отдѣльныхъ группъ и районовъ культурнаго развитія является принципъ лингвистическій: культуру опредѣляетъ языкъ, главнѣйшее и необходимѣйшее орудіе культурной передачи,—орудіе, безъ котораго культура просто немыслима. Русская культура тамъ, гдѣ говорятъ по-русски,—говорятъ не въ канцеляріяхъ и участкахъ, разумѣется, а у себя дома, въ народной массѣ. На какомъ языкѣ говорили „трипольцы“, мы не знаемъ, а о скиѳахъ знаемъ доподлинно, что они, по языку, принадлежали къ иранской группѣ—значитъ, никакого отношенія къ русской культурѣ не имѣютъ. Но такъ какъ зачатки русской культуры отно-

сятся еще къ „пра-славянской“ эпохѣ, когда еще нарѣчія восточныхъ славянъ не успѣли сформироваться, то объ этой „пра-славянской“ культурѣ придется сказать нѣсколько словъ тамъ, гдѣ необходимо будетъ выяснить происхожденіе тѣхъ или другихъ культурныхъ пріобрѣтеній, съ которыми русскій народъ пришелъ въ историческую жизнь.

Библіографія.

Классическимъ изложеніемъ взглядовъ „историческаго матеріализма“ въ русской литературѣ является до сихъ поръ книга Н. Бельтова. „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“ (4-е изданіе. Спб. 1906), къ сожалѣнію, сильно загроможденная совершенно устарѣвшею полемикою съ народниками 90-хъ гг.—Михайловскимъ, В. В. и другими. Устарѣла эта полемика не потому, чтобы народники оказались правы,—а потому, что опровергать „субъективно-соціологическій“ методъ Михайловскаго въ наши дни значитъ ломиться въ открытую дверь: а этому мало плодотворному занятію посвящено $^2/_3$ книги Бельтова. Въ очень элементарной формѣ и съ другихъ точекъ зрѣнія пытался изложить теорію историческаго матеріализма пишущій эти строки (М. Покровскій, „Экономическій матеріализмъ“, М. 1906): тѣ, кому настоящее введеніе покажется слишкомъ сжатымъ, могутъ найти кое-какія дополненія въ этой брошюрѣ. Неутомимымъ противникомъ „экономическаго объясненія исторіи“ въ русской литературѣ является проф. Карѣевъ, выпустившій свои статьи на эту тему отдѣльнымъ томомъ (Н. Карѣевъ „Старые и новые этюды объ экономическомъ матеріализмѣ“—новѣйшее изданіе въ изд. „Прометей“, подъ заглавіемъ „Критика эк. м-ма“). Болѣе глубокая „анти-историческая“ точка зрѣнія блестяще представлена Г. Риккертомъ, двѣ главныя работы котораго („Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft“—„Наука о культурѣ и наука о природѣ“, 2-е изд. Tübingen 1910 г. и „Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“—„Границы естественно-научнаго образованія понятій“, Tübingen 1902) переведены на русскій языкъ. Какъ легко „привести къ нелѣпости“ риккертовскую точку зрѣнія, лишь только изъ заоблачныхъ высей метафизики мы спустимся въ область реальныхъ историческихъ фактовъ, показываетъ небольшая брошюра извѣстнаго историка древняго міра, Эд. Мейера („Zur Theorie und Methodik der Geschichte“, 1902—перепечатано въ его „Kleine Schriften“ 1910, есть русск. переводъ). Ратуя противъ историческаго детерминизма, Мейеръ, въ концѣ концовъ, вынужденъ прибѣгнуть, какъ къ главному принципу объясненія, къ абсолютной случайности: современная Германія обязана своимъ возникновеніемъ „могучей индивидуальности“ Бисмарка,—а Бисмаркъ появился на исторической сценѣ совершенно случайно, благодаря тому, что заболѣлъ одинъ изъ членовъ „соединеннаго ландтага“ 1847 г., и Бисмаркъ занялъ его мѣсто! Къ счастію, въ своихъ спеціальныхъ работахъ Эд. Мейеръ забываетъ о своей

диковинной теоріи и говоритъ, напр., о возможности въ исторіи опыта и тому под. дѣйствительно научныхъ пріемовъ. Очень удачныя возраженія защитникамъ безусловной „индивидуальности“ историческихъ фактовъ можно найти въ брошюрѣ румынскаго профессора Ксенополя (A. D. Xénopol, „L'Histoire est-elle une science?“), что не мѣшаетъ самому Ксенополю держаться теорій, совершенно допотопныхъ: въ его большой книгѣ („La Théorie de l'histoire“, Paris 1908) можно найти и „народный духъ“, и представленіе о древнихъ грекахъ, какъ о людяхъ, занимавшихся исключительно „изящными искусствами“, и т. под. благоглупости, давно брошенныя даже гимназическими учебниками. Само собою разумѣется, что историческій матеріализмъ онъ оказывается не въ состояніи просто понять — и его „критика“ можетъ доставить любителю „непосредственнаго комизма“ истинное наслажденіе.

ОТДѢЛЪ I

Экономическій строй.

1.

Первобытное хозяйство.

Въ недавнее еще, сравнительно, время запасъ фактовъ, извѣстныхъ историку хозяйства, былъ очень не великъ. Непосредственно знали хозяйство современныхъ европейскихъ народовъ. Имѣлись кое-какія отрывочныя свѣдѣнія объ экономическомъ строѣ народовъ прошлаго—и уже совсѣмъ неясныя извѣстія о способахъ, какими добываютъ себѣ пищу „дикари:“ а подъ „дикаремъ“ разумѣли всякаго человѣка, не вполнѣ одѣтаго и съ болѣе темнымъ, нежели у европейца, цвѣтомъ кожи. Собственно, объ этихъ „дикаряхъ“ можно было знать довольно много: путешественники уже XVIII вѣка собрали довольно обильный фактическій матеріалъ относительно полинезійцевъ, американскихъ краснокожихъ и т. д. Но наивное дѣленіе народовъ на „историческіе“ и „неисторическіе“—дѣленіе, еще не вовсе позабытое и теперь, нѣмецкой, напримѣръ, литературой—мѣшало оцѣнить этотъ матеріалъ, какъ слѣдуетъ. Стоитъ ли историку возиться съ тѣми, кто „не имѣетъ исторіи?“ Гораздо проще придумать схему историческаго развитія и всунуть въ надлежащія клѣтки этой таблицы тѣ факты, которые казались хорошо знакомыми. Ясно, что человѣкъ старается заработать себѣ на жизнь возможно легче—прокормиться съ наименьшей затратой труда. А какое занятіе легче и интереснѣе всего? Конечно, охота: для современнаго европейца, съ

ружьемъ и дрессированной собакой, это даже и не трудъ, а просто забава. Еще проще рыбная ловля: сиди себѣ съ удочкою на берегу. Есть ли народы, живущіе исключительно охотой? Говорятъ, есть такіе. Ну вотъ, это и есть древнѣйшая ступень экономической культуры: сначала люди были охотниками. Какое послѣ охоты самое легкое занятіе? Разумѣется, скотоводство: глядите, шести — семилѣтній мальчишка можетъ гусей пасти; одна дѣвушка можетъ ходить за нѣсколькими коровами. Правда, это скучнѣй охоты и требуетъ больше аккуратности и настойчивости: рано нужно вставать, стеречь скотъ и т. под. Поэтому, пока много было даровой дичины въ лѣсу, люди не интересовались разведеніемъ животныхъ. Но вотъ, дичь повывелась — пришлось, извѣдавъ на опытѣ разъ-другой голодовку, устраивать запасы живности: человѣкъ, вмѣсто того, чтобы убивать звѣрей въ лѣсу и тамъ бросать ихъ полусъѣденными, сталъ загонять ихъ къ себѣ домой и утилизировать всесторонне, ѣсть не только ихъ мясо, но и молоко, яйца, нашелъ примѣненіе для ихъ шерсти, кожи, рога, костей. Но для скотоводства нужно очень много земли: по мѣрѣ размноженія, скотоводамъ стало тѣсно — а въ тѣснотѣ опять и голодно. Пришлось перейти къ еще болѣе трудному способу добыванія пищи — къ земледѣлію: это уже третья стадія хозяйственнаго развитія. Но земледѣліе потребовало орудій, вся жизненная обстановка усложнилась — стали прочнѣе дома строить, потребовались плотничные инструменты: появились ремесла, начался новый, четвертый, періодъ — промышленный. Наконецъ, такъ какъ не всюду можно найти одно и то же, люди стали обмѣниваться между собою благами: наступилъ послѣдній періодъ, промышленно-торговый, въ которомъ и мы живемъ.

Въ дни нашей юности все это казалось намъ такъ „просто“ и „естественно“, что какія же могли быть возраженія? Нашлись ученые, которымъ смѣна этихъ пяти періодовъ — охотничьяго, скотоводческаго, земледѣльческаго, промышленнаго и торговаго — показалась ни болѣе, ни менѣе, какъ историческимъ закономъ, первымъ изъ законовъ, которые удалось открыть историкамъ. Одинъ французскій статистикъ, Левассеръ, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ о плотности

населенія въ различныхъ странахъ (едва ли нужно говорить, что по отношенію къ первымъ двумъ періодамъ данныя были довольно сомнительныя,—потому что какая же у охотниковъ и скотоводовъ статистика?) придалъ этому „закону“ почти что математическую форму. Такъ какъ движущимъ началомъ народнаго хозяйства, согласно нашему „закону“, является тѣснота, то, очевидно, переходъ отъ одного „періода“ къ другому долженъ вызываться уплотненіемъ населенія. Левассеръ высчиталъ, что у охотниковъ приходится отъ двухъ до трехъ человѣкъ на сто квадратныхъ километровъ, у скотоводовъ отъ одного до трехъ на одинъ квадр. километръ, у земледѣльцевъ не болѣе 40 на километръ, въ промышленномъ періодѣ—до 160, а въ послѣднемъ, промышленно-торговомъ, густотѣ населенія нѣтъ предѣла. Что уплотненіе населенія играетъ нѣкоторую роль въ экономическомъ развитіи, это несомнѣнный фактъ—съ образчиками этого факта мы встрѣтимся какъ разъ въ исторіи русскаго народнаго хозяйства. Но значеніе его было до чрезвычайности раздуто Левассеромъ и его послѣдователями. Кто знаетъ, какъ стоитъ на западѣ вопросъ о ростѣ народонаселенія, какъ упорно борется западноевропейская буржуазія съ попытками пролетаріата урегулировать рождаемость—перестать изображать изъ себя кроличій садокъ, доставляющій дешевыя рабочія руки предпринимателямъ,—тотъ сейчасъ же догадается, что соблазнило французскаго ученаго. Ростъ населенія у него является естественнымъ факторомъ, не зависящимъ отъ соціальныхъ условій: хочешь, не хочешь,—а размножайся! На этомъ стоитъ все экономическое развитіе: перестанешь размножаться—историческій процессъ остановится. Шутка сказать! Но цѣлый рядъ статистиковъ, французскихъ, англійскихъ, итальянскихъ, менѣе увлекающихся, чѣмъ Левассеръ, доказали внѣ всякаго сомнѣнія, что размноженіе зависитъ именно отъ соціальныхъ условій. Во-первыхъ, какъ это ни странно можетъ показаться съ перваго взгляда, бѣдняки размножаются гораздо быстрѣе, чѣмъ богачи. Во всѣхъ крупныхъ европейскихъ центрахъ максимумъ рождаемости приходится на бѣдные, рабочіе кварталы, минимумъ—на буржуазные. Въ

Парижѣ, въ кварталахъ Пасси и Елисейскихъ полей, застроенныхъ роскошными особняками, число рожденій не превышаетъ 16—17 на тысячу: а въ кварталѣ Обсерваторіи, наполненномъ [1]) домами-казармами, съ массою мелкихъ квартиръ, рождается ежегодно 38—39 дѣтей на тысячу населенія. Въ Лондонѣ рабочіе кварталы даютъ 35 рожденій на тысячу, буржуазные—не болѣе 25. Въ Неаполѣ, въ аристократическомъ кварталѣ Санъ-Фердинандо средняя годовая рождаемость 24—27 на тысячу, а въ пролетарскомъ кварталѣ Санъ-Лоренцо 39—49. Затѣмъ, крестьяне размножаются гораздо медленнѣе, чѣмъ рабочіе. Во Франціи самый низкій процентъ рожденій (16—17 на тысячу) приходится на плодородные департаменты юга, гдѣ преобладаетъ зажиточное мелкое землевладѣніе; напротивъ, департаментъ Нижней Сены, съ большимъ процентомъ пролетаріата, даетъ и высокій процентъ рожденій: это тѣмъ характернѣе, что окружающіе его департаменты, густо населенные зажиточнымъ нормандскимъ крестьянствомъ, отличаются очень медленнымъ ростомъ населенія; значитъ, географическія условія тутъ ни при чемъ. Зато въ Бретани, гдѣ крестьянство очень бѣдно, почти пролетаризовано, населеніе растетъ быстрѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было во Франціи. Итакъ, первое условіе, опредѣляющее ростъ населенія—это распредѣленіе собственности. Но распредѣленіе собственности само только отражаетъ экономическій строй данной страны. Населеніе Франціи растетъ медленно потому, что Франція до сихъ поръ земледѣльческая страна съ относительно (для Западной Европы) слабо развитой промышленностью; нѣмцы размножаются быстрѣе, потому что Германія, напротивъ, промышленная страна, гдѣ большая часть населенія состоитъ изъ рабочихъ. Не ростъ населенія опредѣляетъ развитіе хозяйства, а наоборотъ — отъ развитія хозяйства зависитъ ростъ населенія. Статистическія данныя мы имѣемъ, конечно, только для культурныхъ странъ,—но для некуль-

[1]) Въ тѣ дни, къ которымъ относится наслѣдованіе—въ 80-хъ годахъ XIX столѣтія. Теперь и онъ „аристократизируется"—рабочіе переходятъ въ предмѣстья.

турныхъ мы имѣемъ цѣлый рядъ показаній путешественниковъ, удостовѣряющихъ, что „дикари“ регулируютъ ростъ населенія едва ли не тщательнѣе и, во всякомъ случаѣ, гораздо откровеннѣе, чѣмъ европейцы, не останавливаясь передъ хирургическими операціями, даже убійствами новорожденныхъ и т. д. Совершенно „естественный“, „физіологическій“ процессъ размноженія мы можемъ найти только въ животномъ мірѣ, а не въ исторіи. Повторяемъ, въ извѣстныхъ, отдѣльныхъ случаяхъ и размноженіе можетъ сыграть роль экономическаго фактора, но строить какой-нибудь „всемірно-историческій“ законъ на этихъ отдѣльныхъ случаяхъ значило бы обнаружить большое легкомысліе.

Но если такъ плохо обстоитъ дѣло съ „закономъ Левассера“, если переходъ хозяйствъ изъ одного „періода“ въ другой есть не слѣдствіе, а причина по отношенію къ росту населенія, то гдѣ же причина, что люди были сначала охотниками, потомъ скотоводами и т. д.? Тщетно было бы искать эту причину, потому что такой смѣны періодовъ въ дѣйствительности никогда не было. Наблюденія надъ бытомъ тѣхъ же „дикарей“ показали, что прежнія наши представленія объ охотникахъ, скотоводахъ, земледѣльцахъ объясняются исключительно нашимъ малымъ знакомствомъ со всѣми этими видами хозяйства. На самомъ дѣлѣ, для первобытнаго человѣка, вооруженнаго каменнымъ топоромъ и дубиной, охота на крупнаго звѣря была вовсе не самымъ легкимъ, а очень труднымъ и опаснымъ занятіемъ. Рыбная ловля въ морѣ на первобытномъ челнокѣ тоже весьма далека была отъ знакомаго намъ тихаго и комфортабельнаго спорта. Что касается скотоводства, то когда этимъ вопросомъ, о развитіи скотоводства, занялись спеціалисты-зоологи, они сразу наткнулись на рядъ фактовъ, опрокидывающихъ привычную гипотезу. Во-первыхъ, дикія животныя, какъ правило, въ неволѣ не размножаются: населеніе нашихъ зоологическихъ садовъ постоянно приходится пополнять подвозомъ свѣжаго матеріала; рожденіе львенка или тигренка—событіе, о которомъ пишутъ въ газетахъ, и число смертей среди обитателей звѣринца всегда гораздо выше числа рожденій. Уже изъ этого видно, какое сложное дѣло прирученіе дикихъ животныхъ—какого труда стоило,

напримѣръ, изъ дикаго зубра выработать теперешній крупный рогатый скотъ. Но этого мало: въ дикомъ состояніи корова или коза даютъ лишь ровно столько молока, сколько нужно для прокормленія дѣтенышей; дикая овца не даетъ шерсти, на что-нибудь пригодной. Какъ разъ то, изъ-за чего теперь разводятъ скотъ, свойственно ему только уже въ прирученномъ видѣ! Но изъ-за чего и какъ начали его приручать? Быка, по всей вѣроятности, приручили изъ-за его *силы*,—какъ рабочее животное: съ помощью быка можно было пахать землю глубже и быстрѣе, нежели съ помощью только рукъ человѣческихъ. Но это значитъ, что *скотоводство моложе земледѣлія*, что первое предполагаетъ послѣднее, а не наоборотъ. И дѣйствительно, есть всѣ основанія думать, что *земледѣліе было самымъ раннимъ видомъ правильнаго, систематическаго хозяйства*. Ранѣе люди питались, вѣроятно, просто на даровщинку: ловили мелкихъ животныхъ, собирали раковины, улитокъ, дико-растущіе плоды и хлѣбныя растенія. Но трудъ они впервые приложили именно къ землѣ: ибо это была самая легкая и простая форма приложенія труда, особенно въ тропическомъ климатѣ и на дѣвственной почвѣ. И до сихъ поръ нѣтъ ничего проще, напримѣръ, воздѣлыванія маніока въ Анголѣ (въ южной Африкѣ): разъ въ три-четыре года женщины острой палкой слегка вскапываютъ землю и сажаютъ туда стебли маніока; черезъ годъ они даютъ уже урожай, черезъ два-три года еще болѣе обильный; на четвертый годъ корни засыхаютъ и „посѣвъ“ приходится повторять. Что можетъ быть легче и проще! А маніокъ одно изъ самыхъ питательныхъ хлѣбныхъ растеній. Несомнѣнно, что придумать лукъ и стрѣлы или бумерангъ—охотничье ружье дикарей—требовало куда болѣе умственнаго напряженія, чѣмъ подобное земледѣліе. Если прежнимъ историкамъ-экономистамъ земледѣліе казалось самымъ сложнымъ видомъ хозяйства, то это потому, что они не имѣли понятія ни о какомъ способѣ обработки земли, кромѣ современнаго европейскаго, съ пашней при помощи плуга на лошади или быкѣ, съ бороньбой, удобреніемъ и т. д. Наблюденія надъ жизнью „дикарей“ познакомили съ гораздо болѣе примитивной формой обработки—

ручной, при помощи мотыки (по-нѣмецки Hacke—отсюда терминъ Hackbau, „мотыжное земледѣліе“) или даже просто виловатаго сука. Непосредственнымъ потомкомъ этой первичной формы земледѣлія является наше садоводство, которое и до сихъ поръ ведется вручную, съ очень примитивными инструментами, и до сихъ поръ представляетъ собою нѣчто среднее между забавой и серьезнымъ дѣломъ. Серьезнымъ дѣломъ „ручное земледѣліе“ могло стать только, повторяемъ, при очень благопріятныхъ климатическихъ условіяхъ: прокармливаетъ людей оно только подъ тропиками или очень близко къ нимъ (напримѣръ, въ южномъ Китаѣ). Но что начинали съ него люди вездѣ, любопытнымъ свидѣтельствомъ этого являются славянскіе языки и знакомый намъ всѣмъ инструментъ, соха. Слово это праславянское,—но въ однихъ славянскихъ нарѣчіяхъ оно обозначаетъ то же, что и въ русскомъ—орудіе для обработки земли,—а въ другихъ просто палку или жердь, при чемъ послѣднее значеніе филологами признается за основное. Предкомъ нашего національнаго земледѣльческаго орудія былъ виловатый сукъ, которымъ нѣкогда славянскія женщины вскапывали землю, чтобы сажать въ нее не маніокъ, разумѣется, а, какъ увидимъ дальше, по всей вѣроятности, просо.

Старую схему экономическаго развитія—охота, скотоводство, земледѣліе и т. д.—теперь всѣ оставили, т.-е. всѣ спеціалисты по исторіи хозяйства: въ кругахъ неспеціалистовъ она еще держится съ прочностью предразсудка, почему и пришлось потратить столько времени на ея разборъ. Но явившіяся на ея мѣсто новыя схемы, при всѣхъ своихъ преимуществахъ, все же несвободны отъ предразсудковъ другого рода. Наиболѣе распространенной изъ нихъ является схема Бюхера.

Знаменитый германскій экономистъ занимаетъ въ исторіи хозяйства приблизительно такое же мѣсто, какъ Ключевскій въ русской исторіи; его отдѣльныя наблюденія часто поразительно мѣтки и глубоки—въ новѣйшее время едва ли кто сдѣлалъ столько для превращенія исторіи хозяйства въ науку, какъ Бюхеръ: тѣмъ авторитетнѣе въ глазахъ многихъ его схема, и тѣмъ необходимѣе указать ея недостатки. Основная идея этой схемы—то разстояніе, которое

проходитъ продуктъ отъ производителя до потребителя. Человѣкъ началъ съ того, что хозяйничалъ индивидуально, единолично стремился удовлетворить всѣ свои потребности. Это—періодъ „индивидуальнаго разыскиванія пищи“ (individuellen Nahrungssuche). По мѣрѣ усложненія потребностей, силъ одного человѣка для ихъ удовлетворенія оказалось мало—люди стали сплачиваться въ группы, появилась семья; но хозяйство не выходило еще изъ предѣловъ семьи—то, что въ ней производилось, ею же и потреблялось. Отъ греческаго слова „ойкосъ“ (домъ, семья) Бюхеръ назвалъ эту вторую стадію ойкоснымъ хозяйствомъ. По его мнѣнію, древній міръ въ общемъ и цѣломъ не вышелъ за предѣлы ойкоснаго хозяйства: благодаря рабству, ойкосъ получилъ возможность развиваться до громадныхъ размѣровъ; у римскаго богача временъ имперіи были не только всевозможные домашніе ремесленники, но домашніе артисты и даже домашніе философы; тѣмъ не менѣе это была лишь огромная семья, одно хозяйство, которое само же потребляло все, что производило. Средневѣковая вотчина принадлежитъ еще къ тому же типу, но ко второй половинѣ среднихъ вѣковъ произошло уже отдѣленіе обрабатывающей промышленности отъ земледѣлія: часть населенія посвятила себя исключительно ремеслу, вымѣнивая хлѣбъ и т. д. на свои ремесленныя издѣлія, а крестьянинъ все больше и больше привыкалъ покупать нужныя ему орудія, отчасти даже платье и т. под. на рынкѣ, а не изготовлять домашними средствами, какъ это онъ раньше дѣлалъ. Появляется обмѣнъ. Но обмѣнъ ограничивается сначала очень тѣснымъ райономъ—маленькіе мѣстные рынки распредѣлены такимъ образомъ, что изъ самой далекой деревни можно пріѣхать на рынокъ и домой вернуться въ теченіе одного дня. Городъ съ его уѣздомъ, говоря по-нашему,—вотъ каковъ былъ районъ обмѣна по Бюхеру въ средніе вѣка: отсюда для третьяго періода онъ употребляетъ терминъ городское хозяйство. Мало-по-малу, однако же, города растутъ, и городскіе округа спеціализируются на изготовленіи, главнымъ образомъ, одного какого-нибудь продукта: обмѣнъ охватываетъ цѣлую страну, цѣлый народъ—наступаетъ четвертая эра,

хозяйства народнаго. Противники Бюхера раньше всего указали на неисторичность этой схемы—на то, что историческіе факты не укладываются въ ея рамки; что, напримѣръ, античный міръ, древнюю Грецію и древній Римъ, съ ихъ развитыми путями сообщенія, огромной торговлей, мануфактурами и банками, никакъ нельзя уложить въ тѣсныя рамки ойкоснаго, семейнаго хозяйства. Возраженія на это Бюхера были очень неубѣдительны,—но и ошибки талантливаго человѣка иногда бываютъ полезны: благодаря этому спору выяснилась роль рабства въ древнемъ мірѣ, и обнаружилось, что, по крайней мѣрѣ въ Греціи, рабскій трудъ вовсе не имѣлъ такого значенія, какое иногда ему приписываютъ—греческая промышленность была, главнымъ образомъ, въ рукахъ свободныхъ ремесленниковъ. Но схема Бюхера не только противорѣчитъ отдѣльнымъ историческимъ фактамъ—нетрудно замѣтить, что она вся, въ цѣломъ, чрезвычайно искусственна. Ея основная идея навѣяна старой, „классической“ школой политической экономіи, отправлявшейся, въ своихъ построеніяхъ, отъ „хозяйствующаго индивидуума“. Почвой, на которой эта идея возникла, было мелкое ремесленное производство: оно, дѣйствительно, „индивидуально“—ремесленники работаютъ поодиночкѣ или почти поодиночкѣ, съ однимъ-двумя помощниками. Это мелкое ремесленное производство завѣщало намъ безчисленное множество понятій, которыми, по закону исторической косности, мы еще и сейчасъ живемъ, хотя экономически міръ давно уже перешелъ къ производству крупному: отъ ремесла ведетъ свое начало всякій индивидуализмъ, начиная отъ правового (индивидуальная собственность), и кончая эстетическимъ, индивидуализмомъ въ искусствѣ (импрессіонизмъ, „декадентство“ и т. под.). Первобытный человѣкъ Бюхера, „индивидуально разыскивающій пищу“, не что иное, какъ „хозяйствующій индивидуумъ“ экономистовъ XVIII вѣка, перенесенный въ туманъ сѣдой старины, гдѣ онъ кажется правдоподобнѣе, за дальностью разстоянія. На самомъ дѣлѣ первобытные люди хозяйствовали, навѣрное, группами, какъ теперешніе дикари. Взять хотя бы ту же культуру маніока. Мы сказали, что дѣло это простое въ томъ смыслѣ, что оно не-

хитрое—не требуетъ никакого напряженія умственныхъ способностей, но рукъ оно требуетъ очень много. Чтобы приготовить мѣсто для посадки маніока, нужно вырубить деревья, выкорчевать кустарники, выжечь траву—словомъ, продѣлать много такой работы, которая одному человѣку не подъ силу: оттого разсказы путешественниковъ о воздѣлкѣ маніока всегда употребляютъ множественное число, когда рѣчь идетъ о „субъектѣ хозяйствованія“. То же самое и относительно охоты: большая охота, или охота на крупнаго, опаснаго звѣря всегда ведется сообща; точно такъ же бразильскіе индѣйцы устраиваютъ общія охоты, „когда нужно собрать запасы“, т.-е. какъ разъ охота въ качествѣ серьезнаго хозяйственнаго предпріятія всегда дѣло цѣлой группы—иногда цѣлаго племени. Но даже когда отдѣльный охотникъ убьетъ дичь, онъ обращается къ услугамъ другихъ, чтобы перенести ее домой и дѣлится съ ними: у тѣхъ же бразильскихъ индѣйцевъ эта помощь другихъ настолько предполагается сама собой, что въ большинствѣ случаевъ охотникъ и не даетъ себѣ труда тащить добычу—онъ спокойно возвращается домой и только сообщаетъ домашнимъ, гдѣ онъ убилъ звѣря. Не-охотники, женщины, дѣти, ужъ позаботятся доставить его на стоянку. Рыбная ловля въ Полинезіи также ведется сообща—морскія лодки и огромныя сѣти, которыя для этого употребляются, требуютъ десятковъ рукъ.

Можно возразить что, вѣдь, это все далеко не „первобытные“ люди, вѣдь полинезійцы или ангольскіе негры—„дикари“ только съ прежней, наивной, точки зрѣнія, на самомъ дѣлѣ это, можетъ быть, люди довольно старой культуры. Но бразильскіе индѣйцы, во всякомъ случаѣ, принадлежатъ къ наиболѣе низко-стоящимъ племенамъ, какія только существуютъ теперь. А затѣмъ, мы знаемъ, что и настоящіе первобытные люди, люди древне-каменнаго вѣка, охотились, напримѣръ, на мамонта: нельзя же себѣ представить, чтобы человѣкъ убивалъ мамонта, который былъ крупнѣе теперешняго слона, въ одиночку, не имѣя къ своимъ услугамъ ничего, кромѣ камня и дубины. Мало того, индивидуализмъ первобытныхъ людей чрезвычайно мало вѣроятенъ даже зоологически: гиббоны, та порода обезьянъ, ко-

торая является наиболѣе вѣроятнымъ предкомъ какъ человѣкообразныхъ обезьянъ, такъ и самого человѣка, живутъ стадами; пришлось бы предположить, что, на пути къ человѣку, обезьяна утратила свои соціальные инстинкты, которые потомъ человѣку пришлось вырабатывать сызнова. Такой зигзагъ нужно доказать, во всякомъ случаѣ, лучше, нежели ссылками на то, что дикари не охотно даютъ другому въ руки свое оружіе или что они хоронятъ вмѣстѣ съ покойникомъ всѣ лично ему служившія вещи. На этихъ примѣрахъ мы можемъ только видѣть, въ какой области зарождается экономическій индивидуализмъ: оружіе охотника-дикаря приготовляетъ себѣ, обыкновенно, самъ, единолично: съ началомъ ремесленнаго производства является и индивидуализмъ—и онъ держится именно въ ремесленной сферѣ. Въ области же добыванія себѣ пищи первобытный человѣкъ былъ коммунистомъ,—какъ ни непріятенъ этотъ фактъ буржуазнымъ историкамъ хозяйства.

Но натяжки схемы Бюхера не ограничиваются этимъ. Въ ней не одинъ этотъ отзвукъ устарѣвшихъ экономическихъ взглядовъ. Бюхеръ начинаетъ съ предположенія, что обмѣнъ является только на высшихъ ступеняхъ хозяйственнаго развитія: въ „индивидуальномъ“ періодѣ и въ „ойкосномъ“ обмѣна еще нѣтъ. Онъ ссылается при этомъ на изслѣдованіе одного очень виднаго ученаго о началѣ обмѣна у полинезійцевъ. Тотъ приводитъ нѣсколько фактовъ, свидѣтельствующихъ, будто бы, что до появленія европейцевъ многіе изъ обитателей острововъ Тихаго океана совершенно не имѣли понятія о торговлѣ. Какъ европейцы ни соблазняли ихъ разными, съ точки зрѣнія европейцевъ, интересными и привлекательными вещами—они ничего не могли получить въ обмѣнъ, а когда эти вещи дарили туземцамъ, тѣ ихъ бросали на берегу. Но для того, чтобы этотъ примѣръ имѣлъ какую-нибудь убѣдительность, нужно, чтобы эти вещи были интересны и привлекательны для самихъ „дикарей“, а этого-то какъ разъ мы и не знаемъ. Представьте себѣ, что въ глухую русскую деревню какой-нибудь остроумный человѣкъ привезетъ большую партію парижскихъ дамскихъ шляпъ послѣдняго образца, и начнетъ на нихъ вымѣнивать хлѣбъ, холстъ и т. под. Весьма вѣроятно, что

ему также ничего не удается вымѣнять,—а подаренныя шляпки будутъ употреблены на огородахъ въ качествѣ пугалъ: но это вовсе не будетъ служить свидѣтельствомъ, что русской деревнѣ не знакомы обмѣнъ и торговля. У тѣхъ же самыхъ полинезійцевъ другіе путешественники легко вымѣнивали нужные имъ съѣстные припасы въ обмѣнъ на водку или разныя лакомства—и, постепенно, спаиваніе туземцевъ стало своего рода „торговой политикой“. Притомъ какіе же, еще разъ скажемъ, полинезійцы „дикари“? Они, правда, не знали металловъ, но ихъ хозяйство и общественный строй, по своей сложности, были, при первой встрѣчѣ ихъ съ европейцами, не ниже того, что знали сами европейцы въ началѣ среднихъ вѣковъ. Предки Карла Великаго, Карлъ Мартелъ какой-нибудь, не были, конечно, очень цивилизованными людьми, но къ дикарямъ ихъ никто еще не относилъ. Между тѣмъ, самъ Бюхеръ приводитъ рядъ случаевъ систематическаго обмѣна, правильной торговли у настоящихъ дикарей, у австралійскихъ негровъ, которые, наравнѣ съ бразильскими индѣйцами и африканскими бушменами, принадлежатъ къ наиболѣе низко стоящимъ народамъ земного шара. Эти австралійскіе негры устраиваютъ цѣлыми племенами отдаленныя, за триста-четыреста верстъ, экспедиціи за такими товарами, какъ краска, которою они окрашиваютъ себѣ тѣло, наркотическія вещества, даже камень для ручныхъ мельницъ. Пріобрѣтя большой запасъ подобныхъ вещей, они торгуютъ ими со своими сосѣдями, вымѣнивая у послѣднихъ оружіе, звѣриныя шкуры и т. под.,—изготовляемыя и добываемыя тѣми, очевидно, тоже для продажи. Въ самыхъ глухихъ углахъ экваторіальной Африки, сообщаетъ намъ другой, очень авторитетный, изслѣдователь, широко распространена торговля съѣстными припасами: этотъ изслѣдователь готовъ ее считать чуть ли не самымъ раннимъ видомъ торговли вообще. Негритянскія женщины съ ранняго утра сидятъ на рынкѣ съ овощами, мясомъ, сырымъ или варенымъ, кашей и т. под.—и вымѣниваютъ все это либо на ремесленныя издѣлія либо на пищевые же продукты, но которыхъ у нихъ въ деревнѣ нѣтъ (напр., на рыбу). У каннибаловъ, по словамъ нѣкоторыхъ путешественниковъ, на такомъ рынкѣ можно найти

и человѣческое мясо: какъ видимъ, мы здѣсь уже среди дикарей самыхъ настоящихъ, безъ всякихъ ковычекъ. И эти дикари ведутъ торгъ предметами первой необходимости, тогда какъ, по схемѣ Бюхера, вплоть до „городского хозяйства“ разрѣшается торговать только „предметами роскоши“: слоновой костью, напримѣръ, золотымъ пескомъ, страусовыми перьями и т. под. Бюхеръ тутъ опять поддался очень старому взгляду, согласно которому люди начали съ натуральнаго хозяйства и лишь потомъ перешли къ мѣновому и денежному. Въ дѣйствительности, и деньги африканскимъ неграмъ очень хорошо знакомы, хотя и въ очень непривычной для насъ формѣ: наиболѣе распространенной формой является одна раковина, Каури, — нѣкогда, повидимому, самая распространенная форма денегъ на земномъ шарѣ. Періоды „натуральнаго“ и „мѣнового“ хозяйства нужно также сдать въ архивъ, какъ періоды охотничій, скотоводческій и т. д.

Приглядываясь къ этой первобытной торговлѣ, можно, однако же, подмѣтить двѣ ея особенности. Во-первыхъ, торгуютъ тѣ, кто непосредственно добылъ или сдѣлалъ тѣ или другія вещи: досталъ охру, сварилъ кашу, изготовилъ копье, щитъ или бумерангъ. Между производителемъ и потребителемъ нѣтъ посредника, какимъ является современный купецъ. Эту особенность подчеркиваетъ и Бюхеръ. На другую онъ меньше обращаетъ вниманія, а она не менѣе характерна: торгъ, какъ и добываніе товара, ведется не отдѣльными лицами, а цѣлыми группами, племенами. Это особенно относится къ торгу вещами, болѣе или менѣе рѣдкими, какъ наркотики или произведенія ремесленнаго труда: въ Новой Гвинеѣ, напримѣръ, есть племена, спеціализировавшіяся на изготовленіи глиняной посуды, за которой изъ другихъ пунктовъ острова являются „цѣлые флоты“ туземныхъ лодокъ. Въ Африкѣ такой мѣновой характеръ носитъ производство матерій, иногда металлическихъ издѣлій. Древнѣйшій рынокъ и является мѣстомъ такого междуплеменного обмѣна. Рынокъ—мѣсто священное; люди даже враждующихъ между собою племенъ приходятъ туда безпрепятственно и безопасно: „нарушеніе торговаго мира“—одно изъ первыхъ пре-

ступленій, которое знаютъ дикари и которое они наказываютъ особенно строго. Мало-по-малу привыкаютъ между собою обмѣниваться и отдѣльные люди: этотъ индивидуальный, уже не племенной, обмѣнъ начинается раньше всего въ области ремесленнаго труда. Мы сейчасъ упомянули о существованіи въ Африкѣ цѣлыхъ племенъ кузнецовъ: но это рѣдкое исключеніе; гораздо чаще кузнечествомъ занимаются отдѣльныя семьи, притомъ по происхожденію часто чужія тому племени, среди котораго мы ихъ находимъ. Туземцы относятся съ суевѣрнымъ страхомъ къ этимъ пришлецамъ, владѣющимъ таинственнымъ, незнакомымъ для туземцевъ искусствомъ. Иногда это существа полубожественныя, иногда же это паріи, потому что чужіе, не той крови, какъ тѣ, на кого они работаютъ. Но выдѣленіе ремесленника начинается раньше кузнечества: въ Полинезіи мы имѣемъ рѣдкій и любопытный образчикъ „перваго ремесленника“, въ лицѣ одного мѣстнаго царька, прославившагося на далекое разстояніе своимъ искусствомъ обтесывать каменные топоры. Съ выдѣленіемъ ремесленника субъектомъ обмѣна является уже отдѣльное лицо: но обмѣнъ попрежнему идетъ непосредственно между производителемъ и потребителемъ. Только постепенно торговля захватываетъ все большіе и большіе районы и пріобрѣтаетъ характеръ особаго ремесла: появляется ремесленникъ торговли, купецъ, скитающійся со своимъ караваномъ изъ конца въ конецъ страны. Понемногу онъ и становится настоящимъ хозяиномъ товара: ремесленникъ работаетъ на скупщика, а не непосредственно на потребителя. Послѣдній идетъ за товаромъ къ купцу, а не прямо къ ремесленнику. Появляется торговый капитализмъ—наравнѣ съ ростовщичествомъ отецъ всякаго капитализма вообще.

Какъ видитъ читатель, передъ нами отчетливо выступаютъ черты трехъ періодовъ хозяйственнаго развитія: первобытнаго племенного хозяйства, ремесленнаго индивидуальнаго и новѣйшаго, капиталистическаго. Второй періодъ довольно точно соотвѣтствуетъ „городскому“ хозяйству Бюхера. Да и въ первомъ одномъ существенный признакъ совпадаетъ съ бюхеровскимъ „ойкоснымъ“ хозяйствомъ: суть дѣла и тамъ и тутъ въ томъ,

что производство ведется группой, но эта группа вовсе не непремѣнно племя. Племя, это, главнымъ образомъ, охотничья организація: у бразильскихъ индѣйцевъ-охотниковъ территорія подѣлена между племенами, и границы племенъ извѣстны не хуже, чѣмъ государственныя границы въ Европѣ. Но для земледѣлія, напримѣръ, нѣтъ надобности ни въ большой территоріи, ни въ такомъ количествѣ рабочихъ рукъ, какъ для массовой охоты—земледѣльческая группа можетъ быть и въ 30—40 человѣкъ: „большая семья", классическая форма первичной общественной организаціи у земледѣльческихъ народовъ, какъ разъ и имѣетъ такіе именно размѣры. Такимъ образомъ, бюхеровская схема, въ общемъ, соотвѣтствуетъ фактамъ—только изъ нея нужно устранить то, что дано не фактами, а является остаткомъ старыхъ экономическихъ предразсудковъ. Хозяйство начинается не индивидуальными попытками, а коллективной работой и заканчивается на нашихъ глазахъ такими же коллективными формами: но первобытная коллективность была, такъ сказать, стихійной, естественной, пережиткомъ первичной стадности; а характеризующее капиталистическій періодъ объединеніе многихъ рукъ въ одномъ хозяйствѣ явилось результатомъ искусственнаго техническаго приспособленія. Чтобы это цѣлесообразное приспособленіе оказалось возможно, необходимъ былъ промежуточный ремесленный періодъ, когда люди работали, дѣйствительно, въ одиночку, создавая технику, постепенно переросшую силы одного человѣка и повелительно потребовавшую новой коллективности. Но этотъ ремесленный періодъ кончился такъ недавно, что мы еще живемъ его идеями, его правомъ и его моралью. Созданіе новой идеологической оболочки происходитъ на нашихъ глазахъ: созданіе новой оболочки правовой—очередной вопросъ грядущаго дня.

Всѣ три стадіи экономическаго развитія—первобытное коллективное хозяйство, племенное или семейное, ремесленное хозяйство и хозяйство капиталистическое—мы находимъ и въ русской исторіи. Хронологически эти стадіи смѣняютъ другъ друга довольно правильно: семейно-племенное хозяйство характеризуетъ до-московскую Русь X—XV столѣтій;

XVI—XVII вѣка являются въ Россіи періодомъ до-капиталистическаго ремесленнаго индивидуализма (пусть читатель не смущается, что на эти вѣка падаетъ пресловутое „закрѣпощеніе общества на службу государству“: нѣтъ ничего болѣе индивидуалистическаго, чѣмъ новѣйшее русское крѣпостное право); съ XVII столѣтія мы имѣемъ уже торговый капитализмъ, а съ XIX и промышленный. Но не слѣдуетъ, конечно, представлять себѣ эти періоды отрубленными, какъ топоромъ: такое представленіе было бы какъ нельзя болѣе неисторично. Развитіе хозяйства, во-первыхъ, быстрѣе происходило въ центрахъ, медленнѣе на окраинахъ: на крайнемъ сѣверѣ, напримѣръ, если не самое первобытное коллективное хозяйство, то его юридическіе остатки дожили чуть не до нашихъ дней. Зато въ Кіевѣ и Новгородѣ мы встрѣчаемъ зачатки ремесленнаго хозяйства задолго до московской Руси,—и очень крупные зачатки, притомъ. А во-вторыхъ, русское народное хозяйство, подобно всякому другому, не развивалось, какъ что-то совершенно обособленное: у него была своя „среда“, данное положеніе международнаго хозяйства,—вліяніемъ этой среды объясняются нашъ прогрессъ и нашъ застой. Хозяйство Кіевской Руси, напримѣръ, нельзя себѣ представить, не считаясь съ вліяніемъ Византіи, арабовъ, а отчасти и Западной Европы. Хозяйство Новгорода было тѣсно связано съ ганзейской торговлей. Экономическіе запросы Западной Европы—преимущественно, сѣверо-западной, Голландіи, Даніи и Швеціи—дали сильный толчокъ развитію русскаго торговаго капитализма съ конца XVII вѣка. А проникновеніе капитализма въ русское сельское хозяйство невозможно мыслить, не учитывая образованія международнаго хлѣбнаго рынка около половины XIX столѣтія. Съ другой стороны, экономическій, а съ нимъ и всякій другой культурный упадокъ сѣверо-восточной Руси въ такъ называемый „удѣльный“ періодъ (XIII—XV вѣка) гораздо больше объясняется полною экономической изолированностью, нежели татарскимъ, напримѣръ, нашествіемъ. Эти два явленія, свойственныя, конечно, не одной Россіи—географическую неравномѣрность распредѣленія культуры и зависимость мѣстнаго культурнаго развитія отъ общаго хода развитія

культуры на землѣ—необходимо имѣть въ виду, чтобы правильно примѣнять „фазеологическую“ точку зрѣнія: она отнюдь не совпадаетъ съ „хронологической“. Въ XVIII вѣкѣ мы можемъ найти, тамъ или тутъ, признакъ, характерный и для XVI-го, а въ XII-мъ нѣчто очень похожее на то, что окончательно сложилось только къ XVII-му. Всякая классификація условна, а классификація тѣхъ сложныхъ явленій, которыя составляютъ предметъ исторіи культуры, тѣмъ болѣе.

Со всякаго рода условностями мы встрѣчаемся въ исторіи русской культуры на первыхъ же шагахъ. Чрезвычайно важно, конечно, опредѣлить, съ чего началось экономическое развитіе русскаго народа, какъ особаго историческаго цѣлаго. Мы уже знаемъ, что опредѣляющимъ признакомъ для народа является языкъ. Первые письменные памятники на русскомъ языкѣ—лѣтописи и сборники обычаевъ, потомъ объединившіеся подъ именемъ „Русской Правды“—относятся, если брать не время ихъ написанія (наши рукописи, обыкновенно, очень поздняго происхожденія), а время ихъ составленія, къ X-му вѣку по Р. Х. Но ни въ лѣтописяхъ, ни въ памятникахъ права мы не находимъ полной картины русскаго хозяйства этой эпохи. Достаточно привести одинъ примѣръ: древнѣйшая редакція „Русской Правды“ изъ всего домашняго скота знаетъ только лошадь. Но мы поступили бы очень неосторожно, если бы на основаніи этого заключили, что русскіе X вѣка были, преимущественно, коневодами. Напротивъ, отъ одного арабскаго писателя начала этого столѣтія мы имѣемъ извѣстіе, будто лошадей-то какъ разъ у славянъ того времени было мало, и конскіе табуны были только у князя, тогда какъ простонародье разводило овецъ и свиней. И это очень правдоподобно, такъ какъ овца, во всякомъ случаѣ, одно изъ древнѣйшихъ домашнихъ животныхъ вообще: на всѣхъ индоевропейскихъ языкахъ имя ея звучитъ одинаково, и это позволяетъ думать, что овцу индо-европейцы приручили раньше, чѣмъ появились различные индо-европейскіе языки. Сейчасъ мы увидимъ, въ какихъ предѣлахъ убѣдительными являются подобныя „лингвистическія“ соображенія: пока ясно одно—ограничься мы одними литературными памят-

никами древней Руси, мы немного узнаемъ о древнѣйшей стадіи русскаго хозяйства. Только съ XII-го, примѣрно, столѣтія мы имѣемъ настолько богатую литературу, что можемъ въ основу характеристики положить литературныя указанія, лишь для большей наглядности прибѣгая къ археологическимъ, напримѣръ, даннымъ. Чѣмъ дальше „въ глубь временъ“, тѣмъ чаще приходится намъ прибѣгать къ разнымъ „вспомогательнымъ наукамъ“, въ родѣ археологіи, къ показаніямъ иностранцевъ и т. д. Показанія иностранцевъ—мы имѣемъ разсказы о древнихъ славянахъ византійцевъ уже отъ VI-го вѣка по Р. Х., арабовъ отъ VIII—IX-го—когда-то служили главнымъ источникомъ для знакомства съ до-письменнымъ періодомъ русской исторіи. По мѣрѣ того, какъ начались раскопки, дававшія все болѣе и болѣе богатый матеріалъ для непосредственнаго знакомства съ бытомъ нашихъ предковъ, разсказы иностранцевъ отступили на второй планъ. Но „археологическій“ методъ имѣетъ свою невыгодную сторону: камни молчатъ; отнесеніе той или другой находки къ славянскому, и именно русскому, прошлому, очень часто основывается на рядѣ весьма произвольныхъ допущеній. Во вступительной главѣ мы упоминали, напримѣръ, о трипольской культурѣ, найденной въ Кіевской губерніи, отличительнымъ признакомъ которой является цвѣтная керамика, посуда съ яркими, разноцвѣтными узорами. Культура эта не моложе второго тысячелѣтія до Р. Хр.: и тѣмъ не менѣе, нашлись изслѣдователи, утверждающіе, что „трипольцы“ были славяне. Ихъ противники утверждаютъ, что это „невѣроятно“: но, кромѣ произнесеннаго съ большимъ удареніемъ слова „невѣроятно“, имъ нечего возразить, пока мы остаемся въ области археологическихъ данныхъ; лишь принявъ въ соображеніе разсказы византійцевъ отъ VI-го вѣка по Р. Хр., разсказы, изображающіе славянъ настоящими дикарями, мы должны согласиться, что, дѣйствительно, невѣроятно, чтобы эти дикари за полторы тысячи лѣтъ до этого создали такую богатую и прочную культуру, какъ „трипольская“. Пришлось бы допустить громадный и продолжительный регрессъ въ славянскомъ развитіи, для чего все, что мы знаемъ о древнихъ славянахъ, не даетъ никакого основанія.

Какъ видимъ, казалось бы такой прочный и простой методъ, какъ археологическій, въ концѣ концовъ, опирается на рядъ условныхъ допущеній и даетъ выводы, надежность которыхъ приходится опредѣлять при помощи столь утлаго пособія, какъ „разсказы путешественниковъ“, сплошь и рядомъ не видавшихъ славянъ въ глаза и передававшихъ, нерѣдко изъ третьихъ рукъ, чужіе разсказы. Но кое-что мы можемъ узнать отъ самихъ древнихъ славянъ, хотя они писать и не умѣли: они называли разные предметы своего обихода, и по названіямъ предметовъ мы можемъ судить, до нѣкоторой степени, о содержаніи славянской культуры. Славянскіе языки, какъ извѣстно, распадаются на три группы: западную (чешскій и польскій), южную (сербскій и болгарскій) и восточную (русскій въ трехъ его подраздѣленіяхъ—великорусскомъ, бѣлорусскомъ и украинскомъ). Если какой-нибудь культурный терминъ встрѣчается во всѣхъ этихъ трехъ группахъ, мы въ правѣ считать его очень древнимъ и относить его возникновеніе къ тому времени, когда эти подраздѣленія одного славянскаго языка на группы, а группъ—на отдѣльные языки еще не успѣли образоваться. Какъ выражаются иногда, этотъ терминъ относится къ славянскому „пра-языку“. Иногда мы можемъ прослѣдить то или другое названіе за предѣлы даже славянскихъ языковъ, къ „праязыку“ всѣхъ индо-европейцевъ [1]), если не далѣе: таково, напримѣръ, слово медъ, встрѣчающееся не только во всѣхъ индо-европейскихъ, но во всѣхъ финскихъ нарѣчіяхъ. Въ послѣднее время дѣлаются попытки объединить индо-европейскіе и финскіе языки въ одну, еще болѣе общую, группу: если эта догадка справедлива, то придется предположить, что пчеловодствомъ, бортничествомъ, занимались еще общіе предки индо-европейцевъ и финновъ, т.-е. общіе предки бѣлой расы. Но могло быть, что финны заимствовали и это слово, и это занятіе у своихъ индо-европейскихъ сосѣдей—могло быть

---

[1]) Индо-европейскими, какъ извѣстно, называются языки, на которыхъ говоритъ и говорило большинство населенія Европы, съ одной стороны, передней Азіи и Индіи, съ другой: латинскій, греческій, кельтскій, древне-германскій и новѣйшіе романскіе и германскіе, славянскіе яз., литовскій, армянскій, древне-персидскій, санскритъ и нѣкоторые, вновь открытые, діалекты центральной Азіи.

и наоборотъ, что тѣ заимствовали то и другое у финновъ: какъ видимъ, утверждать что бы то ни было, кромѣ глубокой древности термина, было бы рискованно. Возможна и другая опасность: слово могло, за тысячи лѣтъ своего существованія, измѣнить свое значеніе. Приведемъ, для ясности, опять примѣръ. „Романскіе“ языки, французскій, итальянскій, испанскій, румынскій и т. д., произошли отъ латинскаго. По-французски городъ—ville; есть болѣе старое названіе—cité, итальянское citta. Въ латинскомъ языкѣ есть и villa, и civitas, отъ которой, посредствомъ сокращенія, произошло cité; но villa по-латыни значитъ „дача“, а civitas „гражданство“ и лишь въ позднѣйшемъ латинскомъ языкѣ „городская община“. А „городъ“ по-латыни—или urbs (если рѣчь шла о Римѣ), или oppidum. Во французскій не перешло ни то ни другое, а перешедшія слова утратили прежній смыслъ. Вотъ почему, прибѣгая къ лингвистическому методу, нужно обращать вниманіе не только на звуки, какъ это дѣлали прежніе ученые, но и на значеніе словъ: а если значеніе неясно, никакихъ выводовъ не дѣлать. Если мы, со всѣми этими предосторожностями, начнемъ допрашивать славянскій „праязыкъ“ насчетъ древнѣйшей славянской культуры, мы все же получимъ данныя, достаточно богатыя и болѣе надежныя, чѣмъ какія бы то ни было другія. Во-первыхъ, на всѣхъ славянскихъ языкахъ совпадаетъ корень жить и названіе хлѣба, жито; слово „брашно“ означаетъ, болѣе частнымъ образомъ, муку, затѣмъ пищу вообще, затѣмъ имѣніе; „обилье“ означаетъ и „урожай“ и „богатство“; всѣмъ славянскимъ языкамъ знакомы обще-индоевропейскіе термины главнѣйшихъ земледѣльческихъ операцій—„пахать“ (въ формѣ „орати“—лат. arare, греч. aroo и т. д.) и „сѣять“ (лат. serere, литовское seti и т. под.), обще-индоевропейское названіе плуга [1]) „орало“ (греч. arotron, армянск. arair) и серпа (греч. harpe, лат. sarpere); жатва—общеславянское слово, точно такъ же, какъ и нива. Совершенно ясно, что славяне въ незапамятныя времена, до образованія

[1]) Точнѣе: земледѣльческаго орудія вообще—это вовсе не было непремѣнно то, что теперь мы называемъ „плугомъ“.

отдѣльныхъ славянскихъ нарѣчій, не только занимались земледѣліемъ—этого мало сказать, но главнымъ образомъ при помощи земледѣлія добывали себѣ пищу, при чемъ, однако, не сами выдумали земледѣліе, а унаслѣдовали его отъ еще болѣе ранняго періода, когда и отдѣльные индоевропейскіе языки не успѣли еще образоваться. Если мы теперь отъ лингвистики перейдемъ къ археологіи, то увидимъ, во-первыхъ, что уже въ древнѣйшихъ славянскихъ погребеніяхъ встрѣчаются серпы; но серпы эти *желѣзные*, т.-е. погребенія, сравнительно, очень поздніе: археологія, въ смыслѣ древности, къ нашимъ знаніямъ о славянскомъ земледѣліи ничего не прибавляетъ. Зато западно-европейскія раскопки доказываютъ, внѣ всякаго сомнѣнія, существованіе культуры хлѣбныхъ растеній до всякаго знакомства съ металлами, въ *неолитическій*, „новокаменный“ періодъ [1]). Знали ли славяне металлы въ тотъ древнѣйшій періодъ, о которомъ идетъ рѣчь? *Названія* металловъ у нихъ были—но, какъ мы уже отмѣтили выше, звуки сами по себѣ еще ничего не доказываютъ. Наблюденія же надъ *значеніемъ* словъ даютъ одну мелкую, но характерную подробность: наше слово „ножъ“, несомнѣнно, происходитъ отъ древне-прусскаго (древне-прусскій языкъ—одинъ изъ вымершихъ діалектовъ литовскаго) nagis, что значитъ кремень. Вполнѣ можно допустить, что древнѣйшіе славяне получили ножи съ запада, отъ пруссаковъ или *пруссовъ*: на южныхъ берегахъ Балтійскаго моря неолитическая культура стояла особенно высоко, тамъ больше всего найдено ея остатковъ и самые лучшіе образчики. Это былъ культурный центръ,—весьма возможно, что это былъ и центръ промышленный. Что въ неолитическій періодъ торговля ремесленными произведеніями была уже сильно развита, показываетъ то обстоятельство, что мѣстами находятъ неолитическія орудія изъ породъ камня, незнакомыхъ не только въ данной мѣстности, но и по близости: очевидно,

[1]) Характернымъ признакомъ неолитической культуры считались прежде орудія изъ *полированнаго* камня, а не только *оббитаго*, какъ въ древне-каменный („палеолитическій“) періодъ. Теперь придаютъ большее значеніе *умѣнью дѣлать посуду*—гончарное искусство не было знакомо палеолитическому человѣку.

такія орудія могли быть занесены только путемъ торговли. Путемъ торговли древніе славяне могли получать свои орудія отъ пруссовъ—и орудія эти были каменныя. Слово „ножъ“ даетъ намъ нитку, столь же надежную, какъ разобранное нами выше (стр. 29) слово „соха“.

Лингвистика даетъ намъ довольно точный отвѣтъ не только на вопросы: занимались ли славяне земледѣліемъ?,— но и на вопросы: что именно они воздѣлывали, и гдѣ они этимъ занимались? Названія хлѣбныхъ растеній—овса, ячменя и т. д.—общи, болѣе или менѣе, всѣмъ славянскимъ языкамъ: но, еще разъ, названія сами по себѣ ничего не доказываютъ; вполнѣ можно допустить, напримѣръ, что славяне знали эти растенія въ дикомъ видѣ. Относительно двухъ, однако же, хлѣбныхъ растеній это предположеніе мало вѣроятно. Мы имѣемъ два слова, происходящія, несомнѣнно, отъ одного и того же корня: „пшеница“ и „пшено“ отъ „пѣхати“—молотить. Но пшено и пшеница ботанически не имѣютъ между собою ничего общаго: пшено—это молоченое просо, хорошо всѣмъ знакомое въ образѣ пшенной каши—съ пшеничнымъ хлѣбомъ оно не имѣетъ никакой связи, кромѣ лингвистической. А эта послѣдняя связь возникла благодаря тому, что для полученія зерна и просо и пшеницу подвергали одинаковой (или сходной) технической операціи. Итакъ, пшеницу и просо славяне не только знали въ дикорастущемъ видѣ, но и воздѣлывали; это опять-таки подтверждается (если нужно еще подтвержденіе) и общей аналогіей—просо едва ли не древнѣйшее изъ культурныхъ хлѣбныхъ растеній Европы, пшеницу же, и притомъ нѣсколькихъ сортовъ, отлично знаетъ неолитическая культура. Просо—единственное изъ европейскихъ хлѣбныхъ растеній, культура котораго очень близка къ садовой—его приходится, напримѣръ, полоть и т. под. Изъ-за хлопотъ, съ которыми связано его разведеніе, просо и не воздѣлываютъ теперь нигдѣ въ крупныхъ размѣрахъ, но для мелкаго земледѣлія вручную, съ помощью типоваго сука, „пра-славянской“ сохи, оно весьма подходило, давая хорошіе урожаи на девственной почвѣ, притомъ урожаи очень надежные: просо не боится засухи. Но оно требуетъ, въ то же время, какъ и пшеница

много свѣта и тепла и очень боится весеннихъ заморозковъ. Просо и пшеница не сѣверныя, а южныя растенія, не лѣсныя, а степныя. Очага земледѣльческой славянской культуры мы должны искать на югѣ,—скорѣе всего на Украинѣ, близко къ степи, далеко отъ холодящихъ воздухъ лѣсовъ и болотъ сѣвера.

Уже это обстоятельство должно поколебать очень сильно распространенное мнѣніе, что исконнымъ занятіемъ славянъ былъ лѣсной промыселъ—охота. Досаднымъ для сторонниковъ такого взгляда образомъ, и лингвистика, и археологія упорно отмалчиваются на этотъ счетъ. „Языкъ даетъ очень скудныя указанія (на охоту)... Археологія также почти ничего не даетъ", говоритъ, напр., проф. Грушевскій. Два-три термина—„ловъ", „ловить", „сѣть" и „тенеты"—несомнѣнно, древне-славянскіе: звѣроловствомъ славяне, конечно, занимались, но серьезнаго экономическаго значенія въ древнѣйшую эпоху охота не имѣла. Не то было нѣсколько позже. Для X вѣка мы имѣемъ уже два-три указанія на крупное значеніе, какое имѣла охота въ жизни русскихъ славянъ. Мы знаемъ, что лѣтопись дѣлитъ послѣднихъ на нѣсколько племенъ,—Полянъ, Древлянъ, Радимичей, Вятичей и т. д. Что лежало въ основѣ этого племенного дѣленія? Одно мѣсто начальной лѣтописи бросаетъ на это яркій свѣтъ. Въ 975 году, говоритъ начальная лѣтопись, древлянскій князь Олегъ, встрѣтилъ въ лѣсу Лота Свѣнельдича—сына перваго кіевскаго вельможи того времени—выѣхавшаго на охоту изъ Кіева; древлянскій князь убилъ его. Это было поводомъ къ враждѣ между Олегомъ и Ярополкомъ, кіевскимъ княземъ, которая кончилась гибелью Олега. Почему Олегъ убилъ Лота? Потому что тотъ изъ Кіева, т.-е. изъ земли полянъ, пріѣхалъ охотиться въ древлянскую землю: очевидно, что территоріи племенъ именно въ охотничьемъ отношеніи были отдѣлены другъ отъ друга въ древней Руси не менѣе рѣзко, чѣмъ отдѣлены другъ отъ друга территоріи современныхъ намъ бразильскихъ индѣйцевъ. Охотиться на чужой землѣ все равно, что вступить съ войсками на чужую территорію въ современномъ государствѣ; это casus belli, отвѣтъ на это даютъ вооруженной рукой. Съ другой стороны, политическое под-

чиненіе племени выражалось въ томъ, что побѣдитель получалъ неограниченное право охоты въ землѣ побѣжденныхъ: когда Ольга завоевала древлянскую землю, она первымъ долгомъ устроила тамъ „становища и ловища“—это былъ самый прочный и выразительный символъ господства полянъ надъ древлянами. Какъ видимъ, въ X-мъ вѣкѣ охота имѣла въ жизни русскихъ славянъ не только экономическое, но и политическое значеніе: но это было одно изъ новообразованій, привнесенныхъ въ славянскую жизнь международными отношеніями. Охотой славяне систематически и усиленно стали заниматься подъ вліяніемъ т о р г о в л и — объ этомъ мы будемъ еще имѣть случай поговорить ниже.

Пристепное положеніе очага древне-славянской культуры должно было бы, казалось, иначе поставить вопросъ о скотоводствѣ: гдѣ же разводить скотъ, какъ не въ степи? Но мы видѣли, что славяне въ этотъ древнѣйшій періодъ своей исторіи стояли на очень невысокой ступени культурнаго развитія, а скотоводство одинъ изъ самыхъ сложныхъ и трудныхъ видовъ хозяйства. Иностранные писатели сообщали на этотъ счетъ такія вещи, что имъ долго не вѣрили, видя въ ихъ разсказахъ какое-то недоразумѣніе: недоразумѣнія же были со стороны новѣйшихъ историковъ, упорно державшихся не-исторической градаціи охота — скотоводство — земледѣліе. Если земледѣліе у славянъ было, разсуждали они, то какъ же скотоводства не было, или оно было развито слабо? А между тѣмъ арабъ Ибнъ-Даста, какъ мы упоминали выше, сообщаетъ, что „рабочаго скота у нихъ (славянъ) мало“, а лошадей имѣетъ даже, будто бы, только одинъ князь. Византійскій же писатель Константинъ Багрянородный утверждаетъ даже, что русскіе славяне пріобрѣтаютъ себѣ скотъ исключительно покупкою у степняковъ южной Россіи—печенѣговъ. Изученіе терминовъ и здѣсь поясняетъ дѣло, если, конечно, мы отрѣшимся, притомъ, и отъ стараго взгляда на скотоводство, какъ на нѣчто предшествующее земледѣлію. Въ древнѣйшей редакціи „Русской Правды“ слово „скотъ“ явно имѣетъ значеніе д е н е г ъ, с е р е б р а. Вотъ, говорятъ, явное доказательство огромнаго значенія, которое имѣло скотоводство въ древней Руси. Во-

все нѣтъ, это доказываетъ лишь, что скота было мало, что скотъ былъ рѣдкостью. Деньгами для каждаго народа становится тотъ товаръ, говоритъ Бюхеръ, „котораго онъ самъ не производитъ, но который онъ постоянно вымѣниваетъ у иностранцевъ“. Та же „Русская Правда“ даетъ чрезвычайно рѣзкое доказательство того, какъ мало было распространено въ тогдашней Руси молочное хозяйство: при опредѣленіи штрафовъ за кражу коровье молоко сравнено съ цѣлымъ жеребенкомъ—и то, и другое оцѣнено въ 6 ногатъ, тогда какъ поросенокъ, напримѣръ, оцѣненъ въ 1 ногату. И такія расцѣнки мы имѣемъ еще въ редакціи XII-го вѣка, когда скотоводство вообще, какъ показываетъ именно этотъ тарифъ штрафовъ, было уже значительно развито. Въ древнѣйшую же эпоху славяне, вѣроятно, вовсе не знали молочнаго хозяйства: древнѣйшее значеніе слова молоко („млеко“)—просто „жидкость“, а масло—это то, чѣмъ „мажутъ“. Откуда заимствовали молочное хозяйство древніе славяне, показываетъ третій, относящійся сюда, терминъ: творогъ, несомнѣнно, происходитъ отъ тюркскаго turak, что значитъ „сыръ“. Образцомъ скотоводства для славянъ были тѣ, кто доставлялъ имъ и самый скотъ—степные кочевники южной Руси. Это заключеніе подверждается, опять-таки, и общей аналогіей: по наблюденіямъ новѣйшихъ изслѣдователей, индо-европейцы въ древнѣйшую эпоху не знали молочнаго хозяйства—если у нихъ и былъ скотъ, то только мясной, напримѣръ, овцы. Что овца была наиболѣе распространеннымъ видомъ скота даже еще у русскихъ славянъ X—XII вѣковъ, т.-е. очень, сравнительно, поздно, показываетъ „Русская Правда: „скотъ въ полѣ“, по Русской Правдѣ, это всегда прежде всего овцы; въ то же время это самый дешевый видъ скота: баранъ стоитъ въ 50 разъ дешевле вола. Но даже и баранина стала обиходной пищей сравнительно въ новое время. Какъ извѣстно, наибольшимъ консерватизмомъ отличаются религіозные обычаи: по составу жертвы мы можемъ, поэтому, сдѣлать заключеніе о древнѣйшихъ способахъ питанія даннаго народа—потому что своихъ боговъ онъ, конечно, кормилъ лучшимъ, что зналъ самъ. Но „кумірская жертва“, по словамъ боровшихся съ остатками язы-

чества христіанскихъ проповѣдниковъ XII—XIV вѣковъ—это хлѣбъ, сыръ, медъ и рыба,—а кромѣ того, к у р ы. При чемъ подъ „сыромъ“ древне-русскій языкъ разумѣлъ не то, что приготовляется изъ молока непремѣнно,—а все не вареное и не мясное. Ни говядиной, ни даже бараниной древній славянинъ своихъ боговъ не кормилъ, потому что не ѣлъ ихъ еще самъ.

Итакъ, основой древне-славянскаго хозяйства было з е м л е д ѣ л і е,—сначала, вѣроятно, ручное—позже съ помощью рабочаго скота, вола или лошади, при чемъ и перваго и второю славяне заимствовали у сосѣдей. О х о т а и р ы б о л о в с т в о,—а еще раньше п ч е л о в о д с т в о играли роль подсобныхъ промысловъ. С к о т о в о д с т в о было развито слабо. Хозяйственная техника должна была опредѣлить и д р е в н ѣ й ш і й о б щ е с т в е н ы й с т р о й. У всѣхъ индо-европейскихъ народовъ мы встрѣчаемъ одну основную общественную форму—такъ называемую „большую семью“—„Большой“ она названа въ отличіе отъ того, что мы связываемъ съ понятіемъ „семьи“. Наша семья—это совокупность отца, матери и дѣтей. Женившіеся братья, вышедшія замужъ сестры живутъ, обыкновенно, врозь. По русской деревнѣ еще недавно была знакома—отчасти знакома и теперь—другая форма, гдѣ подъ властью „большака“, отца или дѣда, живутъ вмѣстѣ нѣсколько поколѣній—женатые сыновья, выданныя замужъ дочери съ принятыми въ домъ зятьями, племянники, племянницы и т. д., всѣ составляютъ о д н о хозяйство. Въ новѣйшее время въ великорусской деревнѣ такой строй поддерживался, главнымъ образомъ, сверху, попеченіемъ помѣщиковъ, которые видѣли въ суровой дисциплинѣ „большой семьи“ наилучшую опору крѣпостной дисциплины вообще. Но когда-то „большая семья“ была экономической необходимостью — наша, «маленькая“, семья съ первобытнымъ земледѣльческимъ хозяйствомъ не справилась бы. Чрезвычайно наглядную картинку этого первобытнаго земледѣлія мы можемъ найти, не уходя съ территоріи современной Россіи и не спускаясь слишкомъ далеко въ глубь временъ—у восточно-русскихъ инородцевъ XVIII столѣтія. Приводимъ эту картинку цѣликомъ, какъ зарисовалъ ее современный наблюдатель, ѣздившій по сѣверо-востоку Рос-

сіи въ 1760-хъ годахъ академикъ Лепехинъ. Вотъ что онъ говоритъ о зырянахъ: „Озими ихъ стояли среди огромныхъ лѣсовъ, въ которыхъ они пространныя вырубаютъ мѣста и, сжегши лѣсъ, на пеплѣ сѣютъ хлѣбъ. Сихъ мѣстъ они не пашутъ, но, выжегши лѣсъ, прямо сѣютъ и, заборонивъ, совершаютъ посѣвъ. Какъ для облегченія работы, такъ и для защиты посѣянному хлѣбу, оставляютъ на пашнѣ своей нѣсколько деревъ, не вырубивъ, которыя чтобы не вытягивали питательнаго изъ земли сока, разстояніемъ отъ корня аршина на два сдираютъ съ нихъ кору вокругъ. Такая новина служитъ имъ только на одинъ годъ или, какъ крестьяне говорятъ, со всякой новины снимаютъ они только одинъ хлѣбъ, а на другой годъ надобно дѣлать новую новину. Такіе труды употребленные для посѣва озими изъявляютъ Божіе слово: въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой.“ До какой степени стереотипна эта форма первобытнаго земледѣлія, показываетъ одинъ удивительный фактъ: обычая — оставлять на пашнѣ нѣсколько деревьевъ, содравъ съ нихъ кору — придерживаются и упоминавшіеся выше англійскіе негры. Причина и тамъ и тутъ одинаковая: срубить большое свѣжее не засохшее дерево слишкомъ большой трудъ для первобытнаго человѣка.

Итакъ, первобытное земледѣліе — дѣло чрезвычайно громоздкое, требующее усилій многихъ рукъ. Какъ ни кажется намъ, горожанамъ, трудна современная пахота, но для крестьянина, имѣющаго желѣзный плугъ и борону, знающаго удобреніе и работающаго на истари культурной почвѣ, это — дѣтская игра сравнительно съ тѣмъ, чѣмъ было земледѣліе для его предковъ. Маленькая семья, съ двумя-тремя работниками, совершенно не въ состояніи была бы справиться съ этимъ дѣломъ. Оттого у славянъ всюду, у всѣхъ славянскихъ племенъ, мы встрѣчаемъ одну и ту же основную общественную форму — „печище“ въ сѣверной Россіи, „дворище“ въ юго-западной, „велику кучу“ у сербовъ, — характеризующуюся соединеніемъ въ одномъ хозяйствѣ большого числа рабочихъ рукъ, подъ властью одного „большака“ или „домачина“ (у южныхъ славянъ). Какъ общее правило, работники такого семейнаго

хозяйства—родственники, внуки одного дѣда: но что суть дѣла тутъ не въ кровной связи, показываютъ такіе факты, какъ то, напримѣръ, что южно-славянская „велика куча“ принимаетъ къ себѣ и чужихъ людей, на равныхъ правахъ со своими, а въ сѣверной Руси мы встрѣчаемъ и совсѣмъ искусственныя большія семьи, образованныя соединеніемъ двухъ или болѣе маленькихъ по договору складства. Сѣверно-русское „печище“ мы можемъ наблюдать только по его остаткамъ, юридическимъ, а отчасти архитектурнымъ: кто видалъ большія, двухъ этажныя избы Олонецкой или Архангельской губерніи, тотъ легко можетъ себѣ представить жилье древне-славянской „большой семьи“, объединявшей подъ одною кровлей нѣсколько десятковъ человѣкъ. Южно-славянскій образчикъ этого типа сохранилъ до сихъ поръ и экономическое значеніе—въ Босніи или Герцеговинѣ хозяйство до сихъ поръ ведется такими семьями. Наша начальная лѣтопись называетъ эту „большую семью“ родомъ и явно приписываетъ ей политическое значеніе: „родъ“,—это маленькое государство, находившееся съ другими родами въ „международныхъ“ отношеніяхъ, воевавшее съ ними и т. п. Въ эпоху, знакомую лѣтописи, эта древнѣйшая форма государства уже закрылась болѣе новой—„племенемъ“: но выразительный остатокъ междуродоваго быта сохранился въ кровной мести—учрежденіи, которое намъ придется изучать въ слѣдующемъ отдѣлѣ.

Была ли эта форма экономической и соціальной организаціи самой древней? Во главѣ „большой семьи“ знакомаго намъ типа мы находимъ всегда мужчину—это семья „отцовская“, патріархальная. При той формѣ земледѣлія, которую Лепехинъ видѣлъ у зырянъ, а новѣйшіе путешественники у ангольскихъ негровъ, массовое приложеніе физической силы играетъ такую роль, мужчины съ ихъ топорами являются такимъ необходимымъ элементомъ въ хозяйствѣ, что командующее положеніе мужчины въ семьѣ не требуетъ объясненій. Но наблюденія надъ жизнью теперь существующихъ первобытныхъ народовъ показываютъ, что сначала земледѣліе всюду было въ рукахъ женщинъ. По своему происхожденію это было женское занятіе, какъ охота была занятіемъ мужскимъ—при чемъ

и плоды охоты, мясо убитыхъ звѣрей, доставалось, конечно, главнымъ образомъ, мужчинамъ. Мы видѣли, что лингвистика даетъ возможность спуститься въ очень глубокіе слои славянской экономической древности: „соха“ насъ вплотную подводитъ къ самой первобытной формѣ земледѣлія. Кто орудовалъ этимъ виловатымъ сукомъ въ ту далекую пору, когда славяне начали разводить свое просо на границѣ лѣса и степи? Наблюденія надъ юридической терминологіей бросаютъ на это нѣкоторый свѣтъ. Очень характерно, во-первыхъ, что славяне не знаютъ обще-индоевропейскаго имени „отца“ (санскритское pitar, греч. pater, лат. pater, откуда père, vater и т. д.): славянское слово происходитъ отъ, тоже очень древней, но параллельной формы atta. Для брата отца, дяди, тоже нѣтъ общей индо-европейской формы. Зато не только славянамъ знакома общая индо-европейская форма слова „мать“, но есть особое слово для обозначенія „сына сестры“, нетій. Еще болѣе замѣчательна смѣна терминовъ въ „Русской Правдѣ“: въ числѣ возможныхъ мстителей здѣсь въ древнѣйшей редакціи стоитъ „сынъ сестры“, а въ позднѣйшей онъ замѣняется „сыномъ брата“. Все это, какъ будто, указываетъ на два факта: во-первыхъ, патріархальная большая семья сложилась у славянъ довольно поздно, славяне не унаслѣдовали этой формы отъ индоевропейцевъ; а во-вторыхъ, въ древнѣйшую эпоху у славянъ счетъ родства велся не по мужской, а по женской линіи, центромъ семьи и главой хозяйства была мать, а не отецъ.

Патріархальный строй древне-славянской семьи связанъ, такимъ образомъ, съ опредѣленнымъ типомъ земледѣльческаго хозяйства—съ хозяйствомъ подсѣчнымъ, „лѣснымъ земледѣліемъ“, если такъ можно выразиться. По мѣрѣ того, какъ славяне подавались все далѣе и далѣе на сѣверъ, въ лѣсную полосу, отцовское начало въ ихъ семьѣ торжествовало надъ материнскимъ. Къ „исторической“ эпохѣ, т.-е. той, отъ которой дошли до насъ письменные памятники, изъ „материнскаго права“ имѣлись уже только слабыя „переживанія“, выразившіяся, главнымъ образомъ, въ болѣе самостоятельномъ положеніи женщины древне-русской семьи, чѣмъ въ индо-европейской семьѣ вообще. Съ этими

переживаніями намъ опять-таки придется еще имѣть дѣло въ дальнѣйшемъ,—изучая первобытный юридическій строй. Оставаясь пока въ области исторіи хозяйства, намъ нужно отвѣтить на другой вопросъ: что заставляло восточныхъ славянъ двигаться въ этомъ направленіи, отъ лучшихъ климатическихъ условій къ худшимъ? Не непониманіе выгодъ своего пристепного положенія, во всякомъ случаѣ: ибо мы застаемъ русскихъ славянъ въ процессѣ отчаянной борьбы съ сосѣдями за южно-русскія степи, и борьба эта провожаетъ насъ черезъ весь древнѣйшій періодъ русской исторіи, съ IX по XIII вѣкъ. При чемъ въ началѣ этого періода борьба шла успѣшнѣе, чѣмъ въ концѣ его: славянскія поселенія IX—X вѣка заходили на югъ до Азовскаго и Чернаго морей, къ XIII же вѣку граница не шла далѣе нынѣшнихъ Кіевской, Черниговской и Курской губерній. Въ чемъ же дѣло? Присматриваясь ближе, мы видимъ, что у понятнаго движенія русскихъ славянъ, съ юга на сѣверъ, была не одна, а много причинъ. Въ основѣ лежало несомнѣнное измѣненіе климата. Въ началѣ русской исторіи климатъ южной Россіи былъ гораздо болѣе влажнымъ, чѣмъ теперь. Еще документы XVII вѣка свидѣтельствуютъ, что лѣсная растительность тянулась тогда несравненно далѣе на югъ, чѣмъ въ XX вѣкѣ. Губерніи Полтавская, Харьковская, Воронежская, теперь типично степныя, тогда были во многихъ мѣстахъ покрыты густымъ высокоствольнымъ лѣсомъ. Тамъ, гдѣ триста лѣтъ назадъ встрѣчались дубы въ сажень діаметромъ, теперь изрѣдка можно встрѣтить мелкую поросль, годную лишь на дрова. За много вѣковъ раньше климатъ, конечно, былъ еще влажнѣе: Геродотъ, въ V вѣкѣ до Р. Х., зналъ большое озеро на мѣстѣ теперешнихъ Пинскихъ болотъ. Въ Полтавскомъ уѣздѣ, на правомъ берегу Ворсклы, гдѣ теперь открытая степь, въ до-историческое время былъ сплошной лѣсъ, тянувшійся на 40 слишкомъ верстъ въ длину и болѣе 15 въ ширину. Но земледѣліе возможно только при извѣстной, минимальной, степени влажности. Просо сравнительно хорошо выдерживаетъ засуху, но въ совсѣмъ безводной мѣстности, безъ искусственнаго орошенія, и оно расти не станетъ. Начавъ свое земледѣльческое хозяйство на границѣ лѣса и степи,

русскіе славяне естественнымъ путемъ должны были подаваться все далѣе и далѣе на сѣверъ, по мѣрѣ того, какъ граница степей подвигалась все сѣвернѣе. Но этотъ естественный процессъ проходилъ бы довольно медленно, если бы ему не помогали „искусственныя", историческія условія: не говоря уже о томъ, что въ теченіе ряда вѣковъ могло имѣть мѣсто и постепенное приспособленіе русскихъ славянъ къ степному земледѣлію, которое оказалось же возможно въ наши дни. На это приспособленіе у нихъ не нашлось времени. По мѣрѣ того, какъ степь завоевывала все болѣе и болѣе территоріи у лѣса, степная, скотоводческая культура на югѣ Россіи оказывалась все сильнѣе и сильнѣе — и все труднѣе было земледѣльцамъ-славянамъ держаться противъ тюрковъ-скотоводовъ, наполнявшихъ при-черноморскія степи и носившихъ разныя имена — сначала печенѣговъ, потомъ половцевъ, потомъ татаръ. Ихъ степному хозяйству шло на прибыль то, что тѣснило земледѣльческое хозяйство славянъ: а они и безъ того въ культурномъ отношеніи были сильнѣе этихъ послѣднихъ. Прежній взглядъ, видѣвшій въ степнякахъ только хищниковъ, основывался на старой схемѣ экономическаго развитія — охота, скотоводство, земледѣліе: разъ земледѣліе есть высшая форма, а скотоводство низшая, то побѣда степи должна была выражать собою разгромъ культуры дикарями—и ничего болѣе. Археологическія раскопки послѣднихъ десятилѣтій какъ нельзя быть болѣе убѣдительно показали, какое огромное культурное вліяніе имѣли „дикари" на древнюю Русь. Степной востокъ былъ для русскихъ IX—XI вѣковъ тѣмъ, чѣмъ впослѣдствіи для Московскаго государства и петровской Россіи стала Западная Европа. Все, что украшало жизнь, отъ серегъ и бусъ до матерій, посуды и домашней утвари, даже въ такихъ удаленныхъ отъ степи мѣстахъ, какъ нынѣшняя Смоленская губернія, носитъ ярко выраженный восточный колоритъ. Скотоводческая культура, болѣе сложная и болѣе крѣпкая, чѣмъ первобытное земледѣліе, была такимъ же непреодолимымъ барьеромъ для славянства, какимъ для славянскаго хозяйства была степная засуха.

Какъ видимъ, роковая для русскаго историческаго развитія передвижка восточныхъ славянъ съ юга на сѣверъ была

предопредѣлена и природными и культурными условіями. Удивляться приходится не ей, а тому, что при столь неблагопріятной обстановкѣ русское славянство все-таки имѣло блестящій моментъ своей исторіи, извѣстной подъ именемъ *кіевскаго періода*. Тѣ же археологическія раскопки съ каждымъ годомъ приносятъ все новыя и новыя доказательства, какъ высоко стояла въ области матеріальной культуры Кіевская Русь даже сравнительно съ современной ей Западной Европой. Музеи все болѣе и болѣе наполняются образчиками кіевской художественной промышленности, мало уступающими ихъ византійскимъ образцамъ. Въ такихъ второстепенныхъ пунктахъ, какъ кіевскій Бѣлгородъ, открываютъ остатки каменныхъ зданій такого масштаба, какой былъ бы не по плечу даже московской Руси. Грандіозность матеріальныхъ остатковъ подтверждаетъ то, что мы знаемъ о „кіевской имперіи“ изъ другихъ источниковъ. Но откуда она взялась? Славянское первобытное земледѣліе было слишкомъ слабо, чтобы стать основой крупной политической организаціи. Если эта послѣдняя возникла на восточно-европейской равнинѣ въ X вѣкѣ, въ образѣ „великой державы“ Владиміра Св. и Ярослава, то это былъ не результатъ внутренняго мѣстнаго развитія, а послѣдствіе внѣшняго толчка, даннаго *движеніемъ на югъ норманновъ*. Эта скандинавская волна была міровымъ событіемъ первостепенной важности. Ея прямыми или косвенными результатами объясняются такіе факты, какъ образованіе средневѣкового англійскаго королевства съ его своеобразными формами, какъ такъ называемые „крестовые походы“. Образованіе русской державы было однимъ изъ многихъ аналогичныхъ явленій, восходящихъ къ той же причинѣ: это былъ первый знакомый намъ случай вліянія на русскій историческій процессъ общихъ условій. Норманны были типичными представителями „разбойничьей торговли“, родоначальницы всякой торговли вообще; они грабили во всѣхъ концахъ свѣта и награбленнымъ торговали, создавая такимъ путемъ связи между мѣстностями, до норманскаго нашествія не имѣвшими понятія другъ о другѣ. На восточно-европейскую равнину ихъ привела, повидимому, погоня за цѣнными мѣхами — однимъ изъ главныхъ предметовъ роскоши того времени. Раньше всего они появляются на Двинѣ и

Бѣломъ морѣ: наши Холмогоры до сихъ поръ напоминаютъ своимъ именемъ объ этихъ далекихъ временахъ. Слово, несомнѣнно, происходитъ отъ скандинавскаго Holmgaard (городъ на островѣ) и пришло къ намъ въ его финской формѣ, почему старинные документы и пишутъ „Колмогоры“. Это была, вѣроятно, первая норманская стоянка на территоріи теперешней Россіи. Но балтійскіе норманны очень ненадолго отстали отъ своихъ товарищей, оперировавшихъ на Бѣломъ морѣ. Уже около 800 года по Р. Х. ихъ городъ Бирка, на островѣ озера Мелара, въ восточной Швеціи, былъ однимъ изъ крупнѣйшихъ торговыхъ центровъ міра, куда во множествѣ стекались, въ числѣ прочихъ, и „славяне и другіе скиѳскіе народы“, и гдѣ было „изобиліе всякихъ благъ и великое скопленіе денегъ“, какъ записали современные историки. А новѣйшій историкъ отмѣчаетъ, что это былъ, вѣроятно, первый средневѣковый городъ, населеніе котораго жило исключительно торговлей такъ какъ островъ слишкомъ былъ малъ, чтобы прокормить свое населеніе земледѣліемъ. Шведовъ изъ Бирки арабы встрѣчали въ Астрахани (тогдашнемъ Итилѣ), и по разсказамъ этихъ арабовъ извѣстный уже намъ Ибнъ-Даста составилъ древнѣйшее описаніе р у с с о в ъ, какое мы имѣемъ. Ибо восточные славяне называли этихъ шведовъ „Русью“, взявъ имя, опять-таки, изъ финскаго источника: названіе „Руоцы“ или „Рузеръ“, данное финнами норманнскимъ мореходамъ, происходитъ отъ древне-шведскаго rother, означавшаго „гребло“, „морскую поѣздку“. Около 1000 года Бирка уже не существовала, но Швеція продолжала играть выдающуюся роль въ восточной торговлѣ: ея центромъ сталъ теперь Готландъ, островъ Балтійскаго моря, на которомъ до сихъ поръ найдено 223 клада съ восточными монетами (23 тысячи штукъ)—тогда какъ въ самой Швеціи такихъ кладовъ извѣстно лишь 137. Выше Готланда въ этомъ отношеніи стоитъ только сама Россія, съ 329 кладами, при чемъ только въ одномъ, найденномъ въ Муромѣ, было болѣе 11.000 монетъ. Норманновъ, или, какъ называли ихъ русскіе славяне, в а р я г о в ъ [1]), привлекли и къ рус-

[1]) Слово, чрезвычайно широко распространенное — оно встрѣчается и въ греческомъ, и въ арабскомъ, и въ грузинскомъ языкахъ. Оно сохранилось до

скимъ славянамъ прежде всего мѣха: древнѣйшее упоминаніе о варяжской дани говоритъ о „бѣлкахъ и вѣверицахъ“ (куницахъ). Но уже очень скоро—вѣроятно, какъ только имъ удалось проникнуть до ближайшихъ южныхъ и восточныхъ рынковъ, Константинополя, Булгара на Волгѣ и Итиля — они открыли здѣсь товаръ, гораздо болѣе цѣнный и прибыльный: рабовъ. Древнѣйшее арабское описаніе руссовъ рисуетъ ихъ прежде всего, какъ работорговцевъ: они „нападаютъ на славянъ, захватываютъ ихъ въ плѣнъ, отвозятъ въ Хазеранъ и Булгаръ и продаютъ тамъ“. Древнѣйшій договоръ русскихъ съ греками, 911 года, говоритъ о челяди, рабахъ, какъ о главномъ русскомъ товарѣ. Древнѣйшая редакція „Русской Правды“, еще четко отличающая „русина“, т.-е. норманна, отъ „славянина“, разсматриваетъ „челядина“, какъ главный видъ движимаго имущества, — при чемъ варяжскій челядинъ оказывается имуществомъ, охраняемымъ особенно тщательно. Какъ и на Западѣ — въ Нормандіи и въ Англіи—норманны въ Россіи быстро утратили свои національныя особенности, усвоили „русскій“, т.-е. славянскій, языкъ и стали называться славянскими именами. Но это нисколько не измѣнило ихъ экономическаго значенія: обрусѣвшій норманнъ оставался работорговцемъ. Интересы невольничьяго торга опредѣляли политику создателей „кіевской державы“: Святославъ собирался перенести свою столицу на Дунай потому, что туда сходились „вся блага“ изъ русской земли—и въ числѣ всѣхъ этихъ благъ онъ не позабылъ и „челяди“; Владиміръ Св. самъ былъ крупнымъ работорговцемъ. Первичной формой добыванія челяди былъ просто захватъ; именно примѣненіе кіевскимъ княземъ Игоремъ этого древнѣйшаго способа заставило древлянъ вспомнить поговорку: „повадится волкъ къ овцамъ, такъ по одной выноситъ все стадо, если не убить его“. Этотъ способъ сохранилъ все свое значеніе и впослѣдствіи: княжескія усобицы, которыми полна исторія Кіевской Руси, и которыя на первый взглядъ не имѣютъ никакого смысла, на самомъ дѣлѣ имѣли глубокое экономическое основаніе; „ополониться

сихъ поръ въ русскихъ мѣстныхъ говорахъ со значеніемъ „мелкаго торговца, торгующаго въ разносъ“: очень характерное воспоминаніе о томъ качествѣ, въ какомъ являлись на Руси отдѣльные норманны.

челядью" было завѣтною мыслью всякаго князя и его дружины—споръ изъ-за „столовъ" только прикрывалъ экспедиціи за живымъ товаромъ, какъ теперь разбойничьи колоніальныя войны прикрываются „національными потребностями" и „интересами цивилизаціи". Но рядомъ съ прямымъ захватомъ постепенно выработались болѣе мирные способы порабощенія. Изъ „Русской Правды" мы узнаемъ о систематическихъ попыткахъ обращать въ рабство наемныхъ слугъ, „вдачей". Еще большее значеніе имѣло долговое холопство, „закупничество" — при чемъ интересно, что самъ юридическій институтъ въ этомъ случаѣ пришелъ къ намъ изъ Скандинавіи. „Закупъ" „Русской Правды"—точная копія долгового раба скандинавскихъ правдъ. Княжескія усобицы и тутъ подготовляли почву: разоряя земледѣльческое населеніе, онѣ все чаще и чаще заставляли послѣднее прибѣгать къ займамъ у крупныхъ собственниковъ, которыми были тѣ же обрусѣвшіе варяги. Такъ норманское нашествіе съ чрезвычайной быстротой создавало на Руси рабовладѣльческую культуру, яркую и грандіозную, ибо торговля рабами приносила на Русь огромныя суммы денегъ [1]) и, въ то же время, систематически подрывавшую основы всякой культуры, уничтожая ея создателя, славянскаго крестьянина. Но попутно та же рабовладѣльческая культура разрушала и старыя общественныя формы, создавая новыя, болѣе прогрессивныя: въ Кіевской Руси мы встрѣчаемъ первые, и очень крупные зачатки городского хозяйства, которые удобнѣе разсмотрѣть въ общей связи — въ слѣдующей главѣ.

Библіографія.

Новѣйшая работа по экономической исторіи Россіи принадлежитъ проф. М. В. Довнаръ-Запольскому („Исторія русскаго народнаго хозяйства", томъ I—пока единственный—Кіевъ, 1911). Книга г. Довнаръ-Запольскаго должна была бы быть крупнымъ шагомъ впередъ въ данной области, такъ какъ авторомъ впервые привлеченъ къ дѣлу богатый археологическій матеріалъ, до сихъ поръ не использовавшійся

[1]) Какія суммы—покажетъ одинъ примѣръ: изъ Смоленской земли въ одинъ только походъ было уведено 10.000 плѣнниковъ. Цѣна раба, по „Русской Правдѣ", 5 гривенъ=120 р. на наши деньги. Общая стоимость добытаго, стало быть, составляла 1.200.000 рублей.

историками русскаго народнаго хозяйства. Къ сожалѣнію, авторъ, очень начитанный въ археологической литературѣ, гораздо менѣе освѣдомленъ въ литературѣ своего ближайшаго предмета—исторіи хозяйства: его точки зрѣнія на развитіе земледѣлія, торговли и т. д. совершенно устарѣли. Если прибавить къ этому, что книга написана очень небрежно, что въ ней въ изобиліи встрѣчаются необоснованные, поспѣшные выводы и даже прямыя фактическія ошибки, то станетъ понятно, почему не только не приходится ее рекомендовать начинающему читателю, но и спеціалистъ до сихъ поръ не обойдется безъ старой работы Аристова („Промышленность древней Руси“, Спб. 1866), гдѣ добросовѣстно сгруппированъ извѣстный въ тѣ годы фактическій матеріалъ. Очень хорошая, сжатая характеристика древне-славянскаго хозяйства имѣется въ I томѣ извѣстной книги проф. М. В. Грушевскаго („Исторія Украіни-Русі“—на украинскомъ; есть нѣмецкій и русскій переводы). „Законъ Левассера“ см. въ „Очеркахъ по исторіи русской культуры“ П. Н. Милюкова (вып. I, очеркъ первый: „Населеніе“; „поправки“ къ этому закону,—не замѣчая того, что эти поправки уничтожаютъ безъ остатка самый „законъ“,—авторъ приводитъ тутъ же). Основной работой Бюхера является „Происхожденіе народнаго хозяйства“ (Die Entstehung der Volkswirtschaft“, нѣсколько изданій). Дополненіемъ къ ней являются „Хозяйство первобытныхъ народовъ“ (Die Wirtschaft der Naturvölker“) и „Работа и ритмъ“. Всѣ эти сочиненія имѣются на русскомъ языкѣ. Изъ болѣе новой литературы по-русски переведена только „Исторія первобытной культуры“, Шурца („Urgeschichte der Kultur“), гдѣ есть отдѣлъ и по исторіи хозяйства. Спеціальныхъ монографій, на которыхъ, отчасти, основанъ предыдущій очеркъ, не указываемъ, въ виду безполезности такихъ указаній для читателя не-спеціалиста. Для знакомства съ древнѣйшими формами русскаго землевладѣнія очень важна статья А. Я. Ефименко, „Крестьянское землевладѣніе на крайнемъ сѣверѣ“ (Въ „Изслѣдованіяхъ народной жизни“, М. 1884). О роли норманновъ въ развитіи міровой торговли см. статью Bugge въ „Vierteljahrschrift für Social-und-Wirtschaftsgeschichte“ за 1906 г.

2.

„Городское“ хозяйство.

Къ тому времени, отъ котораго дошли до насъ древнѣйшіе письменные памятники русской исторіи, первобытный семейный строй находился уже въ состояніи полнаго разложенія. По крайней мѣрѣ, въ этихъ памятникахъ онъ отразился очень мало: нужно, однако, имѣть въ виду, что сами памятники отражаютъ собою жизнь наиболѣе культурныхъ мѣстностей тогдашней Россіи, главнымъ образомъ

жизнь крупныхъ городскихъ центровъ, въ родѣ Кіева или Новгорода. Гдѣ-нибудь въ безграмотной глуши, у Радимичей или Вятичей, можно было найти во всей неприкосновенности „большую семью“ и весь укладъ первобытнаго земледѣльческаго хозяйства, какъ, по крайней мѣрѣ, юридическіе остатки этого строя можно было найти на сѣверѣ Россіи еще лѣтъ пятьсотъ спустя. Но Радимичи или Вятичи и въ XII вѣкѣ для насъ, отдаленныхъ потомковъ, продолжаютъ оставаться „народами доисторическими“—они по себѣ никакихъ памятниковъ не оставили, кромѣ могильныхъ кургановъ. „Древняя Русь“, которую мы можемъ изучать по документамъ и лѣтописямъ, это—*городская и пригородная*, кіевско-новгородская Русь; о ней и будетъ идти рѣчь на ближайшихъ страницахъ.

Кіевская Русь XI—XII вѣковъ была страною „современнаго земледѣлія“, т.-е. обитатели ея обрабатывали землю плугомъ и бороной, съ помощью лошади или быка. Именно *плугомъ и бороною* работалъ тотъ „закупъ“, о которомъ говорилось въ концѣ предыдущей главы: *соха*, очевидно, отодвинулась въ болѣе глухія мѣста. Возрожденіе сохи въ русскомъ крестьянскомъ хозяйствѣ новѣйшаго времени объясняется, главнымъ образомъ, свойствами почвы центральной, около-московской Россіи. Верхній растительный слой здѣсь очень тонокъ, скоро начинается песокъ: глубокая вспашка плугомъ выбрасывала бы наружу именно этотъ песокъ и, безъ удобренія, только портила бы почву. Удобреніе же появилось лишь очень поздно—даже во второй половинѣ XVIII вѣка удобрялись только помѣщичьи земли, да и то не всѣ: крестьянская же земля почти не знала удобренія. Вспашка сохой, углубляющейся въ землю не дальше полутора—двухъ вершковъ, была, при такихъ условіяхъ, наиболѣе цѣлесообразнымъ пріемомъ земледѣльческой техники. Кіевляне XII вѣка пахали на черноземѣ и потому могли пахать глубже, плугомъ. Животная сила являлась, главнымъ образомъ, въ видѣ лошади: волы были, но они, повидимому, примѣнялись рѣже и, кажется, въ болѣе крупныхъ хозяйствахъ. Въ извѣстномъ разговорѣ Владиміра Мономаха съ дружиною насчетъ того, что выгоднѣе „смерду“ (крестьянину)—идти ли въ походъ съ лошадью

въ рабочую пору или дожидаться, пока половцы придутъ къ нему и уведутъ у него лошадь, а съ нею и его самого въ плѣнъ, непремѣнной принадлежностью крестьянскаго хозяйства является именно лошадь. Зато въ числѣ вещей, которыя могъ украсть „закупъ", Русская Правда называетъ и вола: очевидно, легальнымъ путемъ получить это цѣнное животное крестьянину приходилось рѣдко, но онъ прибѣгалъ къ средствамъ внѣ-легальнымъ. Надо имѣть въ виду, что сборники судебныхъ обычаевъ, извѣстные подъ именемъ Русской Правды, составились путемъ накопленія отдѣльныхъ конкретныхъ случаевъ судебнаго разбирательства, такъ что въ основѣ каждаго правила лежитъ то, что дѣйствительно случалось. Вотъ почему мы и можемъ утверждать, что если Русская Правда говоритъ о кражѣ вола, значитъ воловъ дѣйствительно крали.

Уже этотъ маленькій примѣръ показываетъ намъ, что Кіевская Русь знала два типа земледѣльческаго хозяйства: болѣе богатое, примѣнявшее болѣе цѣнную и дѣйствительную животную силу—вола, и болѣе бѣдное, довольствовавшееся лошадью. Что послѣднее было крестьянскимъ, „смердьимъ", объ этомъ лѣтопись говоритъ прямо. Владѣлецъ перваго, болѣе богатаго, въ древне-русскихъ памятникахъ носитъ названіе боярина,—слово, такъ хорошо знакомое намъ въ его сокращенной формѣ, „баринъ". Была барская пашня и была крестьянская, мужицкая пашня—въ XII вѣкѣ, какъ и теперь. Съ происхожденіемъ крупнаго, боярскаго землевладѣнія въ нашей исторической литературѣ связано множество предразсудковъ. Въ качествѣ крупныхъ землевладѣльцевъ бояре древней Руси были „правящимъ классомъ", точно такъ же, какъ и теперешніе дворяне-помѣщики. Что послѣдніе „правятъ" именно потому, что они владѣютъ землею, а не наоборотъ—потому имѣютъ землю, что управляютъ—объ этомъ едва ли кто станетъ спорить даже и изъ людей, къ экономическому матеріализму вовсе не причастныхъ. Ибо всякій слишкомъ хорошо знаетъ изъ газетъ и даже изъ личныхъ наблюденій, что министры, губернаторы и т. д.—до земскихъ начальниковъ,- берутся у насъ изъ того сословія, которое владѣетъ землей. Кажется, всего проще было бы заключить, что такъ и всегда было. Но тутъ

замѣшалась теорія, согласно которой русское общество создано русскимъ государствомъ—въ этомъ, будто бы, главное отличіе Россіи отъ Западной Европы. Эту теорію мы въ своемъ мѣстѣ разсмотримъ подробно. Мы увидимъ, что своимъ возникновеніемъ она обязана бюрократическо-полицейскому государству, образовавшемуся на русской почвѣ въ XVIII и началѣ XIX вѣка. Бюрократъ, чиновникъ, которому государство дало власть и средства существованія, естественно разсматривалъ это государство, какъ силу всемогущую, которой все живетъ, движется и существуетъ. На самомъ дѣлѣ, ею двигались, жили и существовали только чиновники, но всякій лучше всего видитъ то, что его касается. И вотъ, возникла теорія, согласно которой древнерусскіе бояре были тоже своего рода чиновниками, которымъ землю далъ князь, на такихъ же основаніяхъ, какъ теперешніе чиновники получаютъ жалованье 20 числа—за ихъ службу. Въ той бюрократической средѣ, которая создавала науку русской исторіи, въ средѣ университетской, это ученіе о служиломъ происхожденіи боярства стало своего рода догматомъ. Когда славянофилы 40-хъ—50-хъ годовъ, которые были, по большей части, помѣщики, а не чиновники, вздумали отыскивать въ древней Руси земскихъ, не служилыхъ бояръ, это сочтено было величайшей ересью. Говорить о „земскихъ боярахъ“ стало такъ же неприлично, какъ обсуждать серьезно вопросъ о лѣшихъ, домовыхъ и тому подобномъ. И намъ понадобилось, какъ видитъ читатель, довольно длинное отступленіе, чтобы подойти къ мысли, чрезвычайно простой и само собою разумѣющейся: что не княжеская власть создала боярство, а наоборотъ, князья вышли изъ боярской среды, изъ среды крупныхъ землевладѣльцевъ. Между тѣмъ, у того, кто станетъ безъ всякихъ предразсудковъ читать древнѣйшіе памятники русскаго права, договоры русскихъ князей съ греческими, византійскими императорами, одинъ 911, другой 945 года, иной мысли и возникнуть не можетъ. Первый изъ этихъ договоровъ даже не отличаетъ титуловъ „бояринъ“ и „князь“: тѣ, кого онъ въ началѣ именуетъ „свѣтлыми боярами“, въ дальнѣйшемъ фигурируютъ подъ именемъ „князей свѣтлыхъ нашихъ русскихъ“—это все одни и тѣ же люди. А изъ

второго договора мы узнаемъ, что этихъ „князей“ или „бояръ“, какъ угодно, и въ 945 году было очень много: болѣе крупныхъ, посылавшихъ каждый особаго уполномоченнаго для переговоровъ съ греками, нашъ документъ называетъ по именамъ, но за нимъ стоитъ еще густая толпа „всякаго княжья“, уже безыменнаго. „Государственная“ же „власть“ въ это время настолько еще мало была въ почетѣ и въ силѣ, что древнѣйшая редакція Русской Правды, составленная именно въ этомъ самомъ X вѣкѣ (и притомъ ближе къ первой половинѣ его) о княжескомъ судѣ не говоритъ ни слова, изъ чего новѣйшіе изслѣдователи правильно заключаютъ, что въ то время князь еще судебной властью не обладалъ—этотъ аттрибутъ „государственности“ попалъ въ его руки только позднѣе (вѣроятно, при Владимірѣ Св., т.-е. въ концѣ X вѣка). Бояръ выдвинула изъ массы „русскихъ людей“ не княжеская власть, а ихъ богатство, какъ можно думать, именно земельное богатство. Процессъ образованія въ древней Руси крупнаго землевладѣнія не можетъ быть изученъ въ деталяхъ, за отсутствіемъ документовъ. Но главнѣйшія условія этого процесса намѣчены нами въ предыдущей главѣ. Свѣтлые бояре-князья русско-греческихъ договоровъ X вѣка почти сплошь носятъ еще норманскія имена. А изъ болѣе позднихъ памятниковъ мы знаемъ, что древнерусское крупное землевладѣніе опиралось на рабовладѣніе. Въ числѣ возможныхъ рабовладѣльцевъ Русская Правда знаетъ князя, боярина и монастырь [1]): изъ одного новгородскаго документа XII вѣка мы узнаемъ, что даже небольшія имѣнія работали при помощи холопьяго труда—а въ большихъ, княжескихъ, напримѣръ, бывало по нѣскольку сотъ человѣкъ пашенной „челяди“. Конкуренція холопьяго труда доканчивала то, что было начато войною и грабежами: разорившійся крестьянинъ могъ себѣ найти работу, только соглашаясь стать на одинъ уровень съ холопомъ. Хозяинъ билъ его наравнѣ со своими

[1]) Благодаря ошибкѣ переписчика въ одномъ изъ списковъ Русской Правды получилась возможность говорить о „смердьемъ“, т.-е. крестьянскомъ, холопѣ. Но увы! На самомъ дѣлѣ данное постановленіе доказываетъ лишь, что крестьянинъ и холопъ въ глазахъ древне-русскаго закона имѣли одну и ту же цѣну.

холопами, а иногда и продавалъ вмѣстѣ съ ними, при чемъ постановленія Русской Правды, запрещавшія продавать „закупа“, едва ли имѣли больше значенія, чѣмъ всякія другія бумажныя гарантіи правъ „трудящихся массъ“. Недаромъ Мономахъ называетъ „смерда“, крестьянина, „худымъ“ и даетъ понять, что обидѣть „худаго смерда“ было такъ же легко, какъ „убогую вдовицу“. Но Мономахъ писалъ душеспасительное „поученіе“; въ дѣловыхъ документахъ, въ договорахъ между собою, князья по просту не отличали „смердовъ“ отъ своихъ холоповъ: „а холоповъ нашихъ и смердовъ выдайте“, говорилъ такой договоръ, когда, послѣ усобицы, заходила рѣчъ о „размѣнѣ плѣнныхъ“.

Такъ, путемъ экспропріаціи крестьянства, создавалось въ древней Руси крупное землевладѣніе. Прямое, голое насиліе играло въ этой экспропріаціи очень видную роль: но не слѣдуетъ, конечно, представлять себѣ дѣло такъ, что порабощеніе крестьянина бариномъ держалось только на насиліи. Одной голой силой нельзя создать новыхъ экономическихъ отношеній. Хроническая зависимость крестьянскаго хозяйства отъ барскаго должна была имѣть свою, чисто экономическую, подкладку—и разглядѣть эту подкладку нетрудно, въ особенности теперь, когда намъ отчетливо видны главнѣйшіе этапы въ развитіи сельскохозяйственной техники. Мы видѣли, какъ медленно развивалось скотоводство вообще, и какъ низко, въ этомъ отношеніи, стояла древняя Русь. „Современное“ земледѣліе немыслимо было безъ рабочаго скота, а его было мало, и всего меньше его было у крестьянской массы. На этомъ и держалась экономическая зависимость этой массы отъ помѣщиковъ. Мы видѣли, что „закупъ“ былъ „задолжавшимъ“ крестьяниномъ. Что же онъ бралъ у барина въ долгъ? Русская Правда говоритъ объ этомъ вполнѣ ясно: ссуда, которую получалъ закупъ, состояла въ сельскохозяйственномъ инвентарѣ,—плугѣ, боронѣ и лошади. Какое огромное значеніе имѣли ссуды скотомъ въ Кіевской Руси, показываетъ длинный списокъ относящихся сюда постановленій въ Русской Правдѣ. И эти постановленія, попутно, ярко освѣщаютъ намъ одинъ изъ источниковъ прибыли на капиталъ. „Правда“ подробно высчитываетъ,

какой приплодъ можетъ дать тотъ или другой видъ скота въ тотъ или другой промежутокъ времени: и ссудившій скотъ считалъ себя вправѣ требовать возврата скота, конечно, съ приплодомъ. Это и была древнѣйшая форма процентовъ съ капитала. „Правда“ знаетъ и настоящій процентъ, въ нашемъ смыслѣ слова, съ капитала въ его денежной формѣ: но недаромъ и капиталъ въ денежной формѣ носитъ въ „Правдѣ“ названіе скота (см. выше, стр. 46). Экономическая зависимость крестьянина отъ барина держалась на томъ, что древне-русскій бѣднякъ только отъ богача могъ получать необходимый для земледѣльческаго хозяйства живой инвентарь. И это явленіе провожаетъ насъ черезъ всю „древнюю Русь“, до XVII вѣка. „Псковская Судная грамота“, которая моложе Русской Правды на два, примѣрно, столѣтія, знаетъ „закупня“ и знаетъ очень любопытный синонимъ для этого слова: „скотникъ“. При чемъ совершенно очевидно, что „скотникъ“ здѣсь не обозначаетъ человѣка, который ходитъ за скотомъ: ибо „скотникъ“ въ этомъ постановленіи ищетъ „верши“, т.-е. хлѣба. Скотникъ „Псковской грамоты“ занимался, такимъ образомъ, земледѣліемъ. Грамота имѣетъ еще и третье названіе для задолжавшаго крестьянина: „изорникъ“. Одинъ изъ новѣйшихъ издателей грамоты замѣчаетъ по этому поводу: „въ Сербіи до сихъ поръ вознагражденіе зерномъ за ссуду воловъ называется изоръ“. Какъ видитъ читатель, мы имѣемъ здѣсь отношенія необычайно древнія, восходящія чуть не до „пра-славянской“ эпохи. А дожили эти отношенія чуть не до нашихъ дней. Въ крестьянскихъ „порядныхъ“ XVII вѣка ссуда выдается „на лошади, и на коровы, и на всякую животину, и на хлѣбъ, и на сѣмена, и на всякій крестьянскій заводъ“... Экономическая основа зависимости крестьянина отъ помѣщика и при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ было та же, что при Владимірѣ Мономахѣ. Только теперь крестьянинъ бралъ въ ссуду уже не самый скотъ, въ натурѣ, а деньги на покупку скота—скотъ ему предоставлялось самому найти на рынкѣ. Но получить скотъ безъ помощи барина крестьянинъ все-таки не могъ [1]).

[1]) Не слѣдуетъ, однако же, думать, что ссуда скотомъ въ натуральномъ видѣ была не знакома Московской Руси, даже очень поздней. Въ одной кре-

Глубокія экономическія основанія крестьянской неволи значительно ослабляютъ интересъ юридическаго вопроса, такъ занимавшаго предшествующія поколѣнія историковъ: вопроса о происхожденіи крѣпостного права. Если крупное хозяйство древней Руси держалось на рабскомъ трудѣ, а задолжавшій крестьянинъ становился на одну доску съ холопомъ, то сближеніе холопства и крестьянства должно было происходить само собою, такъ сказать, автоматически. Спрашивать приходится не о томъ, почему это случилось, а о томъ, почему этотъ автоматическій процессъ тянулся такъ долго—о крестьянской задолженности мы знаемъ уже изъ документовъ XII вѣка, а „происхожденіе крѣпостного права“ относятъ къ XVI—XVII вв. Но тутъ, во-первыхъ, нужно имѣть въ виду, что московская Русь не была простымъ продолженіемъ Кіевской. Надо имѣть въ виду, что заселеніе славянами Поднѣпровья закончилось не позднѣе VII столѣтія по Р. Х.,—а славянская колонизація „междурѣчья“ Оки и верхней Волги началась не ранѣе XI—XII вв., то-есть раньше тутъ были отдѣльныя славянскія поселенія, вдоль рѣкъ (Ростовъ, Муромъ), но сплошное крестьянское населеніе появилось только позже. Даже и не считаясь съ фактомъ норманскаго нашествія, втянувшаго древнюю Русь въ обороты міровой торговли, приходится признать кіевщину XII вѣка столь же „старой“, какъ московщина XVI: въ XII же вѣкѣ на сѣверо-востокѣ, вѣроятно, въ полномъ расцвѣтѣ было еще „первобытное земледѣльческое хозяйство“, на югѣ-западѣ уже исчезавшее. Недаромъ же у инородцевъ русскаго сѣверо-востока мы встрѣтили эту форму хозяйства еще въ XVIII столѣтіи: да изъ разсказовъ того же, цитированнаго нами, путешественника 1760-хъ годовъ мы узнаемъ, что и русскіе крестьяне Владимірской губерніи тѣхъ дней недалеки были отъ зырянъ. „Кіевскій періодъ“ и „Московскій періодъ“—это не два послѣдовательныхъ акта одной и той же драмы, а двѣ параллельныхъ

стялской „порядной“ 1686 г. мы читаемъ: „а взялъ я, вольный человѣкъ, польскіе породы, у властей (Чудова монастыря) ссуды 15 рублей денегъ, да мерина въ пять рублей, да корову, да 10 овецъ, да 10 свиней“... А въ это время царствовалъ уже Петръ Великій!

драмы, двѣ варіаціи на одну и ту же тему. У каждой варіаціи были свои особенности: кіевская развертывается на фонѣ широкой картины, на перекресткѣ торговыхъ путей, связывавшихъ скандинавскій сѣверъ съ передней Азіей—Бирку съ Константинополемъ и Багдадомъ, московская носитъ болѣе захолустный, провинціальный характеръ; но въ основныхъ чертахъ соціальный процессъ шелъ въ одномъ и томъ же направленіи. Почему въ Кіевской Руси онъ не дошелъ до своего неизбѣжнаго конца—и „закупы“ не превратились въ крѣпостныхъ крестьянъ, подобно московскимъ „серебрянникамъ“ (такъ назывался въ XV—XVI вѣкахъ крестьянинъ, взявшій денежную ссуду)? Отвѣтъ даютъ, въ концѣ концовъ, географическія условія. Индивидуализируетъ исторію именно географія: въ основныхъ чертахъ развитіе хозяйства во всѣхъ странахъ міра идетъ совершенно одинаково, и если одна сторона не похожа на другую, если эскимосы до сихъ поръ не вышли изъ каменнаго вѣка, а обитатели маленькаго выступа Азіи, называемаго „Западной Европой“, живутъ въ вѣкѣ „машинномъ“, то виноваты въ этомъ, прежде всего, климатъ и другія географическія особенности. Кіевская Русь, на первый взглядъ, представляла гораздо болѣе благодарную почву для развитія земледѣлія, нежели сѣверо-восточная, московская. Сравнительно гораздо болѣе теплый климатъ (средняя годовая температура Москвы 4°, Кіева 6°; средняя температура зимы—января мѣсяца—въ Кіевѣ—6°, въ Москвѣ—12°), черноземная почва, наконецъ, близость старинныхъ культурныхъ очаговъ („скиѳовъ-земледѣльцевъ“ въ южной Россіи зналъ еще Геродотъ)—все это, казалось бы, указывало югозападной Россіи то назначеніе, которое она и получила въ новѣйшее время. Но на самомъ дѣлѣ, мы видимъ тутъ рѣзкій примѣръ того, какъ мало еще значитъ одна „физическая географія“, въ голомъ ея видѣ. Біологи давно замѣтили, что для развитія животныхъ и растительныхъ видовъ животная и растительная среда значитъ не меньше, нежели количество теплоты, влаги и т. под. Для развитія той или другой страны „соціальная географія“ значитъ не меньше, чѣмъ физическая. Своими рѣчными системами южная Россія гораздо тѣснѣе связана съ Азіей, чѣмъ съ Европой.

Днѣпръ и Донъ текутъ къ Черному морю, Волга—въ Каспійское, но первое изъ нихъ на $^3/_4$, а второе всецѣло являются азіатскими бассейнами. Передняя Азія—Византія и арабы—были ближайшими рынками для Кіевской Руси. А эти страны съ испоконъ вѣка жили рабскимъ трудомъ: арабы, въ частности, и мусульманскій востокъ вообще, до сихъ поръ являются главными потребителями живого товара, теперь добываемаго, преимущественно, въ Африкѣ. Тогда источникомъ этого товара была Россія. Работорговля въ Кіевской Руси была гораздо выгоднѣе сельскаго хозяйства—и притомъ она самымъ опредѣленнымъ образомъ мѣшала успѣхамъ послѣдняго, потому что рабы не такой товаръ, который можно добыть мирнымъ путемъ: чтобы добыть „челяди“, нужно было жечь и разорять, убивать и грабить, и мы уже упоминали, что въ охотѣ за рабами былъ главный экономическій смыслъ безсмысленныхъ, съ перваго взгляда, княжескихъ усобицъ. Но громили не только крестьянство, распугивая его и заставляя бѣжать въ лѣса; доставалось и боярскимъ имѣніямъ, грабили даже и княжескія. Крупновладѣльческимъ хозяйствамъ доставалось, можетъ быть, съ чисто экономической точки зрѣнія, хуже, нежели мелкимъ. Въ большомъ имѣніи можно было добыть гораздо болѣе цѣнный видъ челяди—обученныхъ холоповъ, ремесленниковъ, продававшихся на рынкѣ въ 2—$2^1/_2$ раза дороже рядового раба. При такихъ условіяхъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ въ большомъ масштабѣ было сизифовой работой: только что наладили дѣло, какъ слѣдуетъ—глядь, отъ него и слѣдовъ нѣтъ, только головешки однѣ напоминаютъ объ усадьбѣ. И невольно обанкрутившійся землевладѣлецъ начиналъ вышибать клинъ клиномъ—поступалъ въ дружину къ какому-нибудь князю и отправлялся вмѣстѣ съ нимъ искать челяди. Недаромъ историки давно отмѣтили возрастающее значеніе сельскаго хозяйства и крупнаго землевладѣнія по мѣрѣ перехода центра русской исторіи съ юга-запада на сѣверо-востокъ. Верховья Волги и Оки, суздальская, позже московская Русь, правда, еще оставалась связанной и съ Востокомъ—черезъ Волгу: но гораздо тѣснѣе была она связана съ сѣверо-западной Европой, черезъ рѣчныя системы Балтійскаго моря: Западную Двину, На-

рову, Волховъ, который своими верхними отростками, Мстою и Ловатью, и тогда уже почти сливался съ верхне-волжскимъ бассейномъ. Но въ сѣверо-западной Европѣ среднихъ вѣковъ рабскій трудъ далеко не игралъ уже такой роли, какъ въ Византіи или арабскихъ государствахъ. Сѣверо-западная Европа была классическою страною свободнаго ремесла, и ея купцы, если иногда и не прочь были купить отдѣльнаго раба, или, въ особенности, рабыню, въ Россіи, являлись къ намъ, главнымъ образомъ, не за этимъ, а за мѣхами: до открытія Сѣверной Америки Русскій сѣверъ оставался единственнымъ источникомъ цѣннаго пушного товара для всего міра. Въ вопросѣ о рабовладѣніи это совершенно перестанавливало центръ тяжести. Усобицы прекратились, потому что въ нихъ больше не было никакого экономическаго смысла. Накоплявшійся запасъ холоповъ,—накоплявшійся теперь уже „мирнымъ“ путемъ, путемъ порабощенія обѣднѣвшаго крестьянства—выгоднѣе всего было посадить на землю. И никакія опасности крупному хозяйству теперь не грозили—еще мелкое крестьянское грабили почасту бояре и ихъ челядинцы, но самъ бояринъ могъ пострадать только въ случаѣ войны съ иноплеменникомъ, что не случалось же каждый день: уже XIV вѣкъ зналъ мирные промежутки, для политическаго центра тогдашней Россіи, въ сорокъ лѣтъ. Принявшись за мирное сельское хозяйство, во много разъ менѣе выгодное, чѣмъ добываніе челяди и торговля ею, но во столько же разъ болѣе надежное, русское крупное землевладѣніе и выработало, мало-по-малу, соотвѣтствующую новымъ задачамъ форму холопства—въ образѣ крѣпостного права.

Мнѣніе, будто это послѣднее возникло сразу, установлено однимъ или нѣсколькими правительственными указами конца XVI вѣка, въ настоящее время почти никѣмъ изъ ученыхъ не поддерживается. Всѣ согласны въ томъ, что то положеніе, въ какомъ мы застаемъ жившее въ помѣщичьихъ имѣніяхъ крестьянство на порогѣ „новой“ русской исторіи, въ срединѣ XVII столѣтія,—что это положеніе сложилось постепенно, было результатомъ медленной эволюціи. Но самую эволюцію ученые понимаютъ весьма различно. Одни отводятъ здѣсь больше мѣста вліянію государственныхъ

интересовъ, другіе стараются объяснить все дѣло изъ „частно-правовыхъ“ отношеній, не выходя изъ круга интересовъ помѣщика и крестьянина. Первые, напримѣръ, указываютъ на то, что правительству выгодно было поручить сборъ подати въ деревнѣ мѣстному барину—имѣть, такимъ образомъ, одного отвѣтственнаго сборщика податей, человѣка состоятельнаго, съ котораго легко и удобно было взыскать недоборъ; а положеніе отвѣтственнаго сборщика податей давало помѣщику огромную власть надъ крестьянами—это, говорятъ, одинъ изъ главныхъ корней крѣпостного права. Съ другой стороны, говорятъ, на крупныхъ земледѣльцахъ лежала воинская повинность, которую они должны были отправлять на собственный счетъ, на своемъ конѣ, въ своемъ вооруженіи, съ отрядомъ вооруженныхъ холоповъ: значитъ, у государства былъ расчетъ обезпечить ихъ имѣнія рабочей силой, не дать имъ запустѣть,—вотъ государство и помогло имъ прикрѣпить къ своимъ имѣніямъ крестьянъ. Вторые упираютъ, главнымъ образомъ, на задолженность крестьянъ—фактъ, намъ уже знакомый,—и стараются прослѣдить, какъ въ московскомъ правѣ сливались постепенно понятія крестьянина и долгового холопа Ни тѣ, ни другіе не ставятъ, обыкновенно, вопроса о томъ: да какой же былъ экономическій смыслъ въ этомъ прикрѣпленіи? Предполагается само собою, что имѣть дарового работника, холопа, вообще очень пріятное дѣло—какъ же къ этому не стремиться? Но вотъ потомки тѣхъ же самыхъ помѣщиковъ въ серединѣ XIX вѣка явно тяготились даровыми, крѣпостными работниками, нѣкоторые даже—по ихъ словамъ—не знали, какъ отъ своихъ крѣпостныхъ отдѣлаться, и 19 февраля 1861 года отпустили ихъ на волю. Почему же триста лѣтъ раньше было какъ разъ наоборотъ? Ища этихъ экономическихъ корней крѣпостного права, надо на время забыть государство съ его военными и финансовыми заботами, и даже древне-русское гражданское право, и присмотрѣться просто къ тому, что дѣлали крестьяне въ деревнѣ. Одинъ игуменъ XIV вѣка, котораго крестьяне обвиняли, что онъ требуетъ съ нихъ недолжнаго, въ своемъ оправданіи подробно намъ разсказалъ, что́ крестьяне по обычаю должны были дѣлать. Они обязаны были чинить церковь, поддер-

живать въ порядкѣ тынъ вокругъ монастыря, пахать тотъ „жеребій“ пашни, хлѣбъ съ котораго шелъ монастырю, потомъ засѣять его, хлѣбъ сжать и свезти въ монастырь, косить на монастырь сѣно и опять-таки отвозить его, куда надо, ловить для монастыря рыбу и бобровъ; молотить монастырскую рожь, потомъ молоть ее; печь изъ нея хлѣбы и варить пиво—а когда игуменъ раздастъ ленъ по деревнямъ, крестьянки обязаны были его прясть. Поставьте вмѣсто церкви и монастыря „усадьбу“—и вы получите картину любого большого русскаго имѣнія той эпохи. Чтобы это имѣніе могло вести свое хозяйство, около него густымъ строемъ должны были стоять крестьянскіе поселки—имѣніе безъ крестьянъ такъ же нельзя себѣ представить, какъ фабрику безъ рабочихъ. При этомъ, чѣмъ интенсивнѣе будетъ хозяйство этого имѣнія, тѣмъ больше должно быть около него крестьянъ: жалобы крестьянъ на игумена тѣмъ, повидимому, и объяснялись, что игуменъ сталъ „интенсифицировать“ монастырское хозяйство. Но XVI вѣкъ какъ разъ и отмѣченъ въ нашей экономической исторіи большой интенсификаціей сельскаго хозяйства Въ предыдущей главѣ мы видѣли картину зырянскаго подсѣчнаго хозяйства, гдѣ пашню „выдираютъ“ изъ-подъ лѣса (отсюда наше слово „деревня“) только на одинъ годъ и, снявъ урожай, переходятъ на новое мѣсто. Есть основаніе думать, что во времена Русской Правды (XI—XIII вв.) подсѣчное, лѣсное земледѣліе вообще являлось на Руси нормальнымъ, обычнымъ типомъ хозяйства. По Русской Правдѣ границей двухъ земельныхъ владѣній является „межьный дубъ“, дерево съ насѣчками, обозначавшее предѣлъ лѣсного участка, отмежеваннаго себѣ кѣмъ-нибудь для пашни. Такіе отмѣченные насѣчками на деревьяхъ участки лѣса знаютъ еще до сихъ поръ въ глухихъ мѣстахъ Сибири: они называются тамъ „чертежами“, и нарушить чужой „чертежъ“ считается въ сибирскомъ сельскомъ быту большимъ преступленіемъ,—какъ считала это большимъ преступленіемъ и Русская Правда. Подсѣчное хозяйство оставило многочисленные слѣды въ московской Руси: документы XVI вѣка знаютъ еще и насѣчки на деревьяхъ для обозначенія межи, и „лѣсъ пашенный“, приготовленный для пашни. Но для XVI вѣка

это уже пережитки прошлаго: господствующей въ это время является переложная система, при которой одну и ту же землю пашутъ нѣсколько разъ, пока она даетъ урожаи; когда же она истощается, ее оставляютъ „отдохнуть“ и переходятъ на новый участокъ, потомъ еще на новый: тѣмъ временемъ первый оказывается уже опять годнымъ для посѣва, и къ нему снова возвращаются. Очевидно, что при переложномъ хозяйствѣ на той же площади можетъ прокормиться гораздо больше народу, чѣмъ при подсѣчномъ. Но XVI вѣкъ сдѣлалъ уже крупный шагъ дальше и этого: во многихъ имѣніяхъ мы встрѣчаемъ уже знакомую намъ трехпольную систему—дѣленіе пашни на три клина, на одномъ изъ которыхъ сѣютъ яровое (въ средней Россіи, обыкновенно, овесъ), на другомъ озимое (рожь), а третій оставляютъ подъ паромъ. Если при подсѣчномъ хозяйствѣ используется какая-нибудь $^1/_{100}$ всей площади, при переложномъ $^1/_5$ или $^1/_6$, то при правильномъ трехпольѣ ежегодно „гуляетъ“ только $^1/_3$ земли, $^2/_3$ работаютъ. Правда, нужно сказать, что правильное трехполье въ московской Руси мы встрѣчаемъ еще довольно рѣдко, такъ же, какъ и необходимое при правильномъ трехпольѣ удобреніе—чаще трехполье чередуется съ перелогомъ: тѣмъ не менѣе, сравнительно со временемъ Русской Правды, интенсивность была достигнута огромная. И эта интенсивность совершенно мѣняла отношеніе земли и крестьянина—съ помѣщичьей точки зрѣнія. При подсѣчномъ хозяйствѣ не было ни смысла, ни возможности долго удерживать крестьянъ на одномъ мѣстѣ: выпахавъ все, что можно было, въ лѣсу, земледѣльческое населеніе, въ силу условій хозяйства, должно было уйти въ другое мѣсто. При перелогѣ, а тѣмъ болѣе при трехпольѣ, это оказывалось уже возможно—при трехпольѣ даже необходимо. Переходъ къ болѣе интенсивнымъ формамъ культуры создавалъ, такимъ образомъ, для владѣльцевъ и интересъ и возможность не только на время подчинять себѣ крестьянина, но привязывать его къ себѣ надолго, по возможности навсегда. И уже въ срединѣ XV вѣка самые умные и разсчетливые хозяева того времени, монастыри, начинаютъ подыскивать новыя юридическія формы, которыя позволяли бы имъ разрѣшать эту задачу, не существовав-

шую ранѣе для древне-русскаго землевладѣльца, а стало быть, и для древне-русскаго права. Раньше цѣпью, привязывавшей крестьянина къ барину, былъ ссуженный послѣднимъ первому инвентарь, главнымъ образомъ, скотъ— и этой связи было достаточно: когда вся земля была распахана, барину нечего было больше дѣлать со своимъ „закупомъ"—развѣ продать его на сторону или перевести въ другое имѣніе, если у барина ихъ было нѣсколько. Самъ закупъ смотрѣлъ на свое положеніе, какъ на временное,— и мы постоянно встрѣчаемъ его въ поискахъ денегъ, чтобы выкупиться: при чемъ деньги эти, конечно, чаще всего давалъ другой баринъ, у котораго было еще много нераспаханной земли. Эта юридическая форма дожила до XVI вѣка, вмѣстѣ съ „межнымъ дубомъ" и „пашеннымъ лѣсомъ": она сохранилась въ хорошо извѣстномъ „Юрьевомъ днѣ", правилѣ, въ силу котораго крестьянинъ разъ въ году могъ „отказываться" отъ своего барина, уплативъ ему долгъ. Пріуроченіе этого отказа къ опредѣленному сроку, Юрьеву дню осеннему (26 ноября), показываетъ, однако же, что подвижности крестьянъ начинали класть извѣстныя границы,— что эта подвижность стѣсняла уже тѣхъ, кто вырабатывалъ право. И вотъ, монастыри, при помощи великокняжескихъ жалованныхъ грамотъ, начинаютъ проводить идею совершенной неподвижности крестьянина, безусловнаго закрѣпленія его въ данномъ имѣніи. Идея эта, по поводу которой было въ наукѣ много споровъ, въ дѣйствительности очень простая и вполнѣ доступная нашему, современному, правосознанію: идея д а в н о с т и. Намъ теперь ничуть не кажется страннымъ, что домъ или имѣніе, которымъ мы провладѣли безъ спора 10 лѣтъ, считается нашимъ, хотя бы мы ничѣмъ доказать своего права на него и не могли. Точно такъ же древне-русскому землевладѣльцу казалось совершенно естественнымъ, что крестьянинъ, который живетъ у него „изстари", не смѣетъ уйти изъ его имѣнія безъ его, барина, разрѣшенія, хотя бы и уплативъ долгъ. Въ жалованныхъ грамотахъ монастырямъ средины XV вѣка намъ начинаютъ попадаться крестьяне-„старожильцы", какъ противоположность тѣмъ, кто вновь порядился въ монастырское имѣніе на пашню („новопорядчикамъ"). Терминъ этотъ, „старо-

жильцы", былъ хорошо знакомъ тогдашнему праву: такъ назывались на судѣ свидѣтели изъ мѣстныхъ людей, давно въ данной мѣстности жившіе и потому „помнившіе" за двадцать, сорокъ и даже семьдесятъ лѣтъ. Въ этомъ смыслѣ быть „старожильцемъ"—извѣстное право: званіе это давало человѣку авторитетъ, голосъ его получалъ больше вѣса, чѣмъ имѣлъ голосъ какого-нибудь новичка. Рачительные хозяева, игумены русскихъ монастырей, умѣли найти здѣсь оборотную сторону—и изъ права сдѣлать обязанность. Разъ „застарѣлъ" въ имѣніи—сиди въ немъ до конца жизни, и съ потомствомъ своимъ: само собою разумѣется, что родившійся въ данной вотчинѣ крестьянинъ былъ „старожильцемъ" вдвойнѣ. Новому толкованію старожильства не удалось войти въ жизнь безъ борьбы. Это толкованіе, какъ сразу видно, было выгодно для старыхъ вотчинъ, густо заселенныхъ крестьянами: въ иномъ положеніи были владѣльцы, только что заводившіе свое хозяйство. Гдѣ они могли бы достать себѣ крестьянъ, если бы тѣ всѣ были объявлены „старожильцами" своихъ прежнихъ господъ? Между тѣмъ, конецъ XV и первая половина XVI вѣка какъ разъ были временемъ развитія у насъ средняго, помѣстнаго, землевладѣнія, быстро росшаго подъ вліяніемъ все той же интенсификаціи хозяйства. Распахивались новыя земли, ставились новыя усадьбы и новыя деревни: изслѣдователи отмѣтили, что какъ разъ въ это время возникаетъ множество имѣній, носящихъ „фамильныя" названія: Иваново, Петрово, Сергѣево и т. под. Помѣщикъ стойко боролся за свое существованіе и, во имя своихъ интересовъ, не давалъ прикрѣпить крестьянъ къ старымъ поселеніямъ. Его даже правиломъ о Юрьевѣ днѣ трудно было связать: въ половинѣ XVI вѣка Ржевскіе, Псковскіе и Луцкіе (Великихъ Лукъ) „дѣти боярскія"—средніе землевладѣльцы—вывозили за себя крестьянъ „не по сроку, по вся дни, безпошлинно"—ничего не платя. Зато, когда крестьяне были уже у нихъ, дѣти боярскія держались за нихъ и ногтями, и зубами—и кто къ нимъ являлся „отказывать" ихъ крестьянъ, того ждала самая плохая участь: его „били и въ желѣза ковали",—„да и крестьянъ, поймавъ, мучатъ и грабятъ и въ желѣзо куютъ". Мы видимъ, что средній помѣщикъ вовсе не былъ безко-

рыстнымъ радѣтелемъ свободы крестьянскаго перехода и послѣдовательно держался бушменской морали: хорошо увезти чужого крестьянина, но плохо, когда моего крестьянина увезутъ. Вотъ почему медленно нараставшая крестьянская крѣпость стала двигаться впередъ гигантскими шагами, какъ только среднему землевладѣнію, дворянамъ, удалось, при Грозномъ, покончить въ свою пользу споръ съ крупнымъ землевладѣніемъ, боярами. Какъ только конфискованныя въ опричину боярскія вотчины оказались въ рукахъ дворянства, новые владѣльцы поспѣшили закрѣпить за собою населеніе доставшихся имъ деревень. Опричныя конфискаціи приходятся на 1560 годы, а въ 1570-хъ на „старину“ ссылаются уже, какъ на непререкаемое основаніе для того, чтобы не выпускать изъ-за себя крестьянина. Затѣмъ, повидимому, была сдѣлана попытка закрѣпить крестьянъ за владѣльцами совсѣмъ—запретивъ „выходъ“ на нѣсколько лѣтъ („заповѣдныя лѣта“). Но это повело къ треніямъ среди самой уже дворянской массы,—среди которой тоже были болѣе счастливые, которымъ при дѣлежѣ достались самые лакомые куски, были и обдѣленные. Опиравшееся на низы дворянства правительство Годунова установило 5-ти лѣтній срокъ давности по отношенію къ крестьянамъ; реакціонное, съ дворянской точки зрѣнія, правительство Василія Ивановича Шуйскаго увеличило срокъ до 15 лѣтъ. Но, въ концѣ концовъ, дворянское землевладѣніе упрочилось,—и крестьяне стали крѣпки своимъ помѣщикамъ „и безъ урочныхъ лѣтъ“.

Въ основѣ двухъ крупнѣйшихъ соціальныхъ переворотовъ XVI вѣка, смѣны боярства дворянствомъ и закрѣпощенія крестьянъ, лежитъ, такимъ образомъ, прогрессъ сельско-хозяйственной техники—переходъ къ болѣе интенсивной культурѣ земли. Русскаго крестьянина закрѣпостило трехполье,—то трехполье, которое и до днесь является традиціонной формой русскаго земледѣлія. Это отвѣчаетъ намъ на вопросъ: откуда, экономически, взялось крѣпостное право? Но ставитъ насъ передъ другимъ вопросомъ: зачѣмъ же понадобилась болѣе интенсивная культура? Почему московской Руси XVI вѣка нужно было больше пахотной земли, чѣмъ предшествующимъ вѣкамъ?

Очевидно, хлѣба было нужно больше,—но такой отвѣтъ только отодвигаетъ вопросъ, и притомъ очень недалеко: куда же сбывался лишній хлѣбъ? Въ отвѣтъ на это указываютъ часто на ростъ населенія въ центральныхъ областяхъ Московскаго государства XVI вѣка. Къ сожалѣнію, почти никакихъ прямыхъ данныхъ для статистики населенія этой эпохи у насъ нѣтъ, и историки, ссылающіеся на густоту населенія, какъ на причину экономическихъ успѣховъ московской Руси, вынуждены оперировать данными косвенными. Указываютъ, напримѣръ, на то, что иностранные путешественники, къ ихъ большому удивленію, не находили около Москвы тѣхъ густыхъ, непроходимыхъ лѣсовъ, о которыхъ они столько слышали: попадались имъ только пни, свидѣтельствовавшіе, что здѣсь были когда-то лѣса, а изъ звѣрей—только зайцы. Но это служитъ скорѣе признакомъ того, какъ долго даже въ центрѣ Московскаго государства держалось подсѣчное хозяйство, нежели доказательствомъ большой плотности населенія. Противъ послѣдняго говоритъ зато другой косвенный признакъ: та ожесточенная борьба между землевладѣльцами изъ-за крестьянъ, о которой мы говорили выше. Будь населеніе вообще очень плотно, находить работниковъ не было бы трудно,—вѣроятно, даже и крѣпостного права бы не понадобилось. Уплотненіе населенія, какъ причину перемѣны, приходится, такимъ образомъ, отвести. Указываютъ на роль такихъ центровъ, какъ Москва, въ которой, къ концу царствованія Ивана Грознаго (около 1570 года), по довольно точнымъ показаніямъ иностранцевъ, было до 200.000 жителей. Напоминаютъ, при этомъ, что и Новгородъ—тогда второй, по всей вѣроятности, городъ Россіи—всегда жилъ привознымъ хлѣбомъ, и привозился этотъ хлѣбъ изъ Суздальской земли, „снизу“, какъ тогда выражались (смотря внизъ по теченію Волги и съ притоковъ)—изъ позднѣйшаго великаго княжества Московскаго. Но второе указаніе только ослабляетъ значеніе перваго: Новгородъ всегда, и въ XII вѣкѣ, снабжался хлѣбомъ изъ Суздаля, однако это ни къ какимъ хозяйственнымъ переворотамъ не вело. Да и представленіе, будто въ самой новгородской области земледѣліе было мало развито, такъ что она жила исключительно привознымъ хлѣбомъ, не выдерживаетъ кри-

тики: въ новгородскихъ писцовыхъ книгахъ [1]) мы вездѣ встрѣчаемъ пашенное населеніе, и новгородская земля идетъ въ отношеніи земледѣльческой техники во главѣ всей Россіи—здѣсь мы раньше всего находимъ трехполье. Значитъ, когда говорятъ о Новгородѣ, какъ потребителѣ московскаго хлѣба, имѣется въ виду самый городъ Новгородъ,—да и то, преимущественно, въ неурожайные годы. Очевидно, что одинъ, два, даже три города, съ общимъ населеніемъ хотя бы и въ нѣсколько сотъ тысячъ, еще не могли опредѣлить собою хозяйства цѣлой обширной страны: не говоря уже о томъ простомъ вопросѣ, что, вѣдь, должны были питаться чѣмъ-нибудь эти сотни тысячъ раньше, чѣмъ наладился подвозъ хлѣба къ нимъ изъ деревни,—а наладить его было не такое легкое дѣло. Иными словами, ссылка на крупные городскіе центры переворачиваетъ вопросъ кверху ногами: чтобы могли образоваться такіе центры, необходимы были извѣстные избытки хлѣба у населенія, а не наоборотъ, образованіе такихъ центровъ вело къ производству лишняго хлѣба. Эта привычка — производить хлѣба больше, чѣмъ нужно для потребностей мѣстнаго населенія—складывалась у послѣдняго медленно и постепенно, подъ вліяніемъ мелкихъ, на первый взглядъ, но въ совокупности огромныхъ перемѣнъ, именно, въ мѣстномъ быту. Основную изъ этихъ перемѣнъ даютъ намъ тѣ же новгородскія писцовыя книги: въ нихъ, наряду съ пашеннымъ населеніемъ, которое рѣшительно преобладаетъ, мы встрѣчаемъ на каждомъ шагу людей непашенныхъ, ремесленниковъ всякаго рода: лучниковъ, сѣдельниковъ, рожечниковъ, коробейниковъ, деготниковъ, портныхъ, скорняковъ, кожевниковъ, сапожниковъ—даже „кровопусковъ“, а всего болѣе, конечно, кузнецовъ. Послѣдніе иногда сидятъ цѣлыми деревнями и платятъ оброкъ не хлѣбомъ, какъ другіе крестьяне, а косами, сошниками, сковородами и топорами. Эти ремесленныя деревни были зачатками болѣе крупныхъ торгово-промышленныхъ поселеній, образчики которыхъ, правда, не очень многочисленные, даютъ тѣ же писцовыя книги. Это—

[1]) Переписи платящаго населенія новгородской области, предпринятыя московскимъ правительствомъ въ концѣ XV вѣка, послѣ завоеванія Новгорода Москвой.

рядки и погосты. Въ одномъ изъ нихъ писцовая книга насчитываетъ 24 двора, а людей (т.-е. взрослыхъ мужчинъ) 39 человѣкъ. На ряду съ ними въ Новгородской землѣ были и настоящіе города, но цифры населенія ихъ показываютъ, какъ недалеко они ушли отъ этихъ зачаточныхъ ремесленныхъ поселковъ: въ „городѣ" Ладогѣ, напримѣръ, очень старинномъ, мы находимъ 137 человѣкъ мужского пола — т.-е. человѣкъ 400 всего населенія. Сравнительно съ этимъ Ямъ (теперешній Ямбургъ) съ 332 мужчинами (около 1000 всѣхъ жителей) былъ чуть что не большимъ центромъ.

Если мы возьмемъ теперь Московское государство XVI вѣка, то встрѣтимъ въ немъ то же явленіе, только въ болѣе крупныхъ размѣрахъ. Московская Русь была усѣяна городами и городками, съ населеніемъ въ одну, двѣ, три тысячъ человѣкъ[1]): и каждый такой городокъ былъ маленькимъ мѣстнымъ центромъ. Откуда бралось ихъ населеніе, объ этомъ документы говорятъ намъ достаточно подробно: это, обыкновенно, „обмолодавшіе", „разоренные" крестьяне, которые „кормятся рукодѣльишкомъ". А затѣмъ идетъ перечень: сапожникъ, овчинникъ, прядильщикъ, соляникъ, игольникъ, ягодникъ, сыромятникъ, рукавишникъ, крупеникъ, кисельникъ, калашникъ. Какъ для теперешняго крестьянина „пролетаризироваться", превратиться въ наемнаго работника, кажется большимъ несчастьемъ (и не для одного крестьянина) — хотя наемный батракъ живетъ иногда лучше „самостоятельнаго домохозяина", такъ и для тогдашняго забросить пашню, переселиться въ городъ представлялось катастрофой. Чувства и настроенія, связанныя съ такой катастрофой, хорошо выражаются всѣмъ знакомымъ словомъ „бобыль", которое въ просторѣчіи обозначаетъ бездомнаго, безпріютнаго человѣка, а на старинномъ юридическомъ языкѣ обозначало именно крестьянина, забросившаго пашню и занявшагося ремесломъ. Это непашенное населеніе не всегда уходило въ городъ — уходъ въ

[1]) Для примѣра приведемъ Торопецъ, нынѣшней Смоленской губерніи, считавшій въ 1540—41 гг. до 400 дворовъ торгово-промышленнаго населенія, Сольвычегодскъ, гдѣ, нѣсколько позже, было до 600 такихъ дворовъ, Каргополь (Новгор. губ.), гдѣ ихъ было до 500, Каширу съ 400 дворами, Серпуховъ съ 600 и т. д.

городъ, собственно, былъ уже второй стадіей развитія. Мы вездѣ встрѣчаемъ бобыльскіе дворы и по деревнямъ, гдѣ, въ XVI вѣкѣ, они составляли уже отъ 2 до 5% общаго числа. Нужно прибавить, что и рынки, гдѣ торговали хлѣбомъ и другими „земляными плодами“, вовсе не были непремѣнно городскіе рынки: на каждомъ шагу попадаются и села, гдѣ было 5, 19, 37 лавокъ, въ которыхъ торговали „тутошніе люди“. Въ одномъ житіи начала XVI столѣтія мы имѣемъ чрезвычайно наглядную картинку такого маленькаго „торговища“, куда крестьяне окрестныхъ деревень рано утромъ, еще до свѣту, тянутся со своими телѣгами, причемъ каждый спѣшитъ занять мѣсто на рынкѣ раньше другихъ. Москва, Новгородъ Великій или Новгородъ Нижній были въ сотни разъ увеличенными рынками,—но того же типа: съѣзжавшіеся туда ежедневно сотни крестьянскихъ возовъ съ сельско-хозяйственными продуктами были, по большей части, не очень издалека. Крупной хлѣбной торговли теперешняго типа, когда товаръ привозится изъ-за тысячи верстъ, мы совершенно не можемъ себѣ представить въ тогдашнихъ условіяхъ. Одинъ изслѣдователь, къ этимъ условіямъ относящійся очень оптимистически, высчиталъ, что при провозѣ на разстояніе больше 500—600 верстъ, провозная плата съѣла бы, въ концѣ XVI вѣка, весь барышъ хлѣбнаго торговца. Везти далеко хлѣбные караваны былъ расчетъ только при неурожаѣ и, значитъ, исключительно высокихъ цѣнахъ на хлѣбъ.

Итакъ, не ростъ населенія и не скопленіе его въ отдѣльныхъ пунктахъ вызвали спросъ на „лишній“ хлѣбъ и дали толчокъ развитію земледѣлія въ московской Руси. Этотъ толчокъ былъ данъ дифференціаціей населенія, появленіемъ новаго общественнаго класса, ремесленниковъ. Собственно, можно сказать, — „появленіемъ общественныхъ классовъ“, ибо ремесленники были первымъ общественнымъ классомъ въ исторіи. До выдѣленія ремесла общественнаго раздѣленія труда не существуетъ: всѣ работники, болѣе или менѣе, земледѣльцы—понятія „крестьянина“ и „работника“ покрываютъ другъ друга. Внѣ крестьянской массы и надъ ней, эксплуатируя ее, стоятъ иногда группы неземледѣльческаго населенія, — какъ у насъ въ

древней Руси шайки полувоенной, полуторговой вольницы, выступающей, то какъ „дружина“, то какъ „купцы“, и въ первое время сплошь иноземнаго, норманскаго происхожденія. Но эти группы не являются общественнымъ классомъ, потому что онѣ никакого участія въ производствѣ не принимаютъ. Когда отдѣльныя единицы изъ этихъ группъ осаживаются на землю, и руками холоповъ, которыхъ не удалось или невыгодно было продать, начинаютъ обрабатывать землю, дѣло еще не мѣняется. Боярinъ древнѣйшей эпохи еще не хозяйничаетъ: онъ только, какъ это онъ дѣлалъ и раньше, собираетъ плоды чужого хозяйства—только не путемъ прямого захвата, а болѣе мирно, зато и болѣе систематически. Собственная запашка даже новгородскихъ бояръ XV вѣка, обыкновенно, совершенно ничтожна — немногимъ больше хорошаго крестьянскаго двора: самый богатый изъ нихъ пахалъ „на себя“, руками своей дворни, всего отъ 20 до 30 десятинъ. Зато крестьяне обязаны были доставлять на его дворъ извѣстное количество хлѣба, мяса, яицъ, масла и тому подобнаго,—чѣмъ кормился не столько самъ боярinъ, сколько его многочисленная вооруженная и невооруженная дворня. Количествомъ этой дворни мѣрялась общественная сила боярина, — чѣмъ ея было больше, тѣмъ больше былъ его политическій удѣльный вѣсъ: и если онъ старался закрѣпостить какъ можно больше крестьянъ, то для того, чтобы содержать какъ можно больше „послужильцевъ“, дружинниковъ. „Развивая“ свое хозяйство, онъ, такимъ образомъ, вовсе не преслѣдовалъ экономическихъ цѣлей въ собственномъ смыслѣ: ибо съ экономической точки зрѣнія совершенно все равно, служитъ ли сотня ничего не производящихъ военныхъ людей одному барину или десяти. Съ выдѣленіемъ ремесла картина рѣзко измѣнилась. Хлѣбъ сталъ товаромъ, который можно продать, можно прямо или черезъ посредство денегъ обмѣнять на продукты обрабатывающей промышленности. Боярinъ начинаетъ интересоваться хозяйствомъ. Уже смѣнившіе новгородскихъ бояръ въ концѣ XV вѣка московскіе помѣщики пахали „на себя“ вчетверо и впятеро больше ихъ предшественниковъ. Съ крестьянъ, вмѣсто опредѣленнаго количества хлѣба, начинаютъ требовать доли урожая, явно спекулируя на

то, чтобы, въ случаѣ урожая хорошаго, не оставить мужику всѣхъ выгодъ, — а заставить его подѣлиться божіей благодатью съ бариномъ. У нѣкоторыхъ изслѣдователей довольно естественно явился соблазнъ—совсѣмъ уподобить помѣщичье хозяйство XVI вѣка современному, работающему исключительно въ расчетѣ на рынокъ. „Торговое земледѣліе“ кажется имъ господствующимъ уже въ государствѣ Ивана Грознаго и Бориса Годунова. Но этому искушенію поддаваться не слѣдуетъ. Современное сельское хозяйство работаетъ для неопредѣленнаго, мірового рынка: ему сколько ни произвести хлѣба, никогда не будетъ слишкомъ много. Хозяйство XVI вѣка работало на очень узкій мѣстный рынокъ, не на міръ, а только на свой уѣздъ. Его хлѣбному производству были поставлены очень тѣсныя границы—и есть основаніе думать, что даже тѣ скромныя улучшенія въ сельскохозяйственной техникѣ, которыя мы имѣли случай наблюдать въ Московскомъ государствѣ XVI вѣка, на добрую долю были результатомъ увлеченія землевладѣльцевъ новыми перспективами. Когда увлеченіе прошло—началась реакція: къ концу XVI вѣка трехполье опять явно сдаетъ передъ перелогомъ. При всей относительной прогрессивности, русское сельское хозяйство временъ Ивана Грознаго было типично средневѣковымъ, и модернизировать его не слѣдуетъ. И этотъ средневѣковой его характеръ объясняетъ намъ, почему оно довольствовалось мало производительнымъ подневольнымъ трудомъ крестьянъ; мы увидимъ, что, когда рѣчь зашла о производствѣ на міровой рынокъ, этотъ подневольный трудъ оказался очень невыгоднымъ.

Московское государство XVI вѣка даетъ намъ, такимъ образомъ, типичную картину городского хозяйства, знакомаго Западной Европѣ въ серединѣ среднихъ вѣковъ, въ XI—XIII столѣтіяхъ. И въ этомъ случаѣ, можно думать, московская исторія повторяла, со своеобразными варіаціями, кіевскую: то множество „городовъ“, которое мы находимъ въ юго-западной Руси XI—XIII вѣковъ, были, по всей вѣроятности, такими же мелкими мѣстными рынками, какъ и московскіе Каширы и Каргополи. Только тамъ эти мѣстные рынки, благодаря хронической усобицѣ, носили болѣе эфемерный ха-

рактеръ, исчезая и вновь возникая, какъ грибы послѣ дождя. Москва строила медленнѣе, зато прочнѣе, чѣмъ Кіевъ. Этотъ параллелизмъ двухъ развитій находитъ себѣ подтвержденіе въ томъ, что и выдѣленіе ремесленниковъ началось уже въ Кіевской Руси, притомъ очень рано. Первыя упоминанія о ремеслѣ относятся къ концу X или началу XI вѣка. Изъ дѣтскихъ книжекъ всѣмъ хорошо извѣстенъ разсказъ о богатырѣ, давшемся съ печенѣгомъ по вызову князя Владиміра. Разсказъ этотъ въ лѣтописи стоитъ подъ 993 годомъ — но, конечно, сложился онъ много позже и, можетъ быть, заимствованъ лѣтописью изъ какой-нибудь народной пѣсни. Какъ бы то ни было, герой разсказа—кожевникъ, и съ этой стороны онъ намъ и интересенъ: сила его обнаружилась, когда, разсердившись на что-то, онъ изорвалъ въ клочки кожу, которую мялъ въ ту минуту. Почти подъ тѣмъ же годомъ въ новгородской лѣтописи стоитъ другой разсказъ, изъ котораго видно, что въ Новгородѣ въ то время продавали горшки на рынкѣ—были, значитъ, гончары. А отъ самаго конца XI вѣка, отъ 1092 года, мы имѣемъ уже современную запись, свидѣтельствующую о чисто ремесленномъ производствѣ гробовъ: въ этомъ году въ Кіевѣ была какая-то эпидемія, и гробовщики разсказывали лѣтописцу, что они съ Филиппова поста до мясоѣда, то-есть съ ноября по январь, продали гробовъ 7000 штукъ. Это извѣстіе цѣнно тѣмъ, что оно показываетъ намъ въ Кіевѣ конца XI вѣка вполнѣ развитое ремесло, когда ремесленникъ самъ закупаетъ матеріалъ, самъ его обрабатываетъ и самъ продаетъ произведенія своего труда. Едва ли въ такомъ положеніи были только одни гробовщики. Сохранилось извѣстіе, что монахи Кіево-Печерскаго монастыря покупали шерсть, вязали изъ нея—„копытца“, т.-е. носки, и продавали ихъ. А изъ Кіево-Печерскаго Патерика мы узнаемъ, что на кіевскомъ рынкѣ можно было купить не только гробы и носки, но и книги: „списаніе книжное“ тоже могло, такимъ образомъ, принять ремесленный характеръ. Неясный разсказъ того же Патерика о чудѣ, приключившемся съ иконописцемъ Алимпіемъ, даетъ понять, что производство нѣкоторыхъ предметовъ — въ данномъ случаѣ иконъ,

могло принять характеръ даже предпріятія. Алимпій, принимая заказы на иконы въ большемъ количествѣ, нежели самъ, единолично, могъ исполнить, кажется, отдавалъ работу другимъ монахамъ, но ставя, такъ сказать, свою подпись—выдавая работу за свою, такъ какъ ему, въ виду его знаменитости, платили дороже. Подручные въ чемъ-то остались имъ недовольны и, изъ мести, разсказали заказчикамъ, въ чемъ дѣло. Тѣ явились въ монастырь и подняли шумъ, но монастырскія власти вступились за Алимпія, и онъ вышелъ сухимъ изъ воды, а эксплуатируемые имъ мелкіе иконописцы были прогнаны изъ монастыря. Этотъ примѣръ интересенъ въ томъ отношеніи, что подтверждаетъ давно сдѣланное наблюденіе: быстрѣе всего развиваются и раньше всего достигаютъ экономически совершенной формы не ремесла, обслуживающія обыденныя потребности, а производство предметовъ роскоши. Кромѣ иконописи, въ Кіевѣ процвѣтало, какъ показываютъ археологическія данныя, ювелирное дѣло: а при недавнихъ раскопкахъ открыты слѣды мастерской эмалевыхъ издѣлій, дошедшихъ до насъ и въ образчикахъ, и производившихся, повидимому, въ довольно широкомъ масштабѣ. Въ то же время плотничьи работы исполнялись еще барщиннымъ путемъ, натуральной повинностью окрестнаго крестьянства. Такимъ способомъ строили, напримѣръ, кіевскія церкви, при чемъ уже князю Ярославу пришлось убѣдиться въ невыгодности барщиннаго труда. При постройкѣ Георгіевской церкви дѣло шло медленно и плохо, рабочихъ было мало. Когда князь спросилъ своего „тіуна“ (приказчика), почему дѣло не идетъ, тотъ объяснилъ это барщиннымъ характеромъ работы („дѣло властельско есть“), за которую работники ничего не получаютъ. Тогда Ярославъ установилъ заработную плату—по „ногатѣ“ за день — отъ рабочихъ не стало отбоя, и церковь была быстро закончена. Плотничество въ Кіевской Руси едва ли было окончательно выдѣлившимся ремесломъ — оно стояло еще на предыдущей ступени, ремесла племенного: новгородцевъ, по лѣтописи, въ насмѣшку называли „плотниками“—очевидно, плотничанье было обычнымъ отхожимъ промысломъ новгородскаго крестьянства. Раньше всего вы-

дѣленіе началось здѣсь, повидимому, въ крупныхъ хозяйствахъ. Князь Изяславъ, желая поправить одну церковь, позвалъ „старѣйшину древодѣлей“, и тотъ, собравъ „сущая подъ нимъ древодѣли“, выполнилъ работу. Это была, стало быть, плотничья артель, спеціально состоявшая при княжескомъ хозяйствѣ: князь строился часто, и ему былъ расчетъ держать такихъ постоянныхъ ремесленниковъ. Впослѣдствіи такую „дружину“ плотниковъ мы находимъ у новгородскаго владыки. Мы знаемъ даже и ея составъ — она состояла изъ шести мастеровъ (они, собственно, и назывались „плотниками“) и 10 подмастерьевъ („дружинниковъ“).

Но заведенные для потребности большого хозяйства ремесленники могли быть не заняты въ немъ все время — у нихъ могли оказаться свободные промежутки. И для ихъ хозяина была прямая выгода, чтобы они въ это время не сидѣли праздно: въ этомъ—источникъ *перехожаго ремесла*, наиболѣе ранней формы „выдѣлившагося ремесла“ вообще. Не занятый въ барскомъ хозяйствѣ холопъ-ремесленникъ („ремесленники“ „Русской Правды“ именно холопы) получалъ отпуски — право бродить по окрестнымъ деревнямъ, предлагая свои услуги нуждавшимся въ нихъ и платя своему барину оброкъ. Очень выпуклый образчикъ такого оброчнаго мастерового мы находимъ въ одномъ позднемъ документѣ XVII столѣтія. Одинъ портной рядится къ помѣщику въ „бобыли“ и обязуется 4 недѣли въ году шить на помѣщика и его сына, а все остальное время „по городамъ и по деревнямъ промышляти своимъ рукодѣльемъ портнымъ мастерствомъ“. Перехожіе мастеровые Кіевской Руси, вѣроятно, были въ родѣ этого портного. Одного изъ нихъ, монаха Кіево-Печерскаго монастыря, постоянно бѣгавшаго изъ обители, и въ бѣгахъ промышлявшаго тѣмъ, что онъ „платья дѣлалъ“, легко даже сблизить съ сейчасъ упоминавшимся „портнымъ мастеромъ“: ибо монахъ былъ членомъ обширнаго хозяйства — въ монастырѣ каждому, кромѣ богатыхъ монаховъ, готово было свое „послушаніе“, ничѣмъ, кромѣ идеологическаго объясненія, не отличавшееся отъ того, что дѣлали крѣпостные ремесленники въ боярскомъ хозяйствѣ; монахи и муку мололи, и хлѣбы пекли, и за монастырскимъ садомъ и огородомъ ходили — въ Кіево-

Печерскомъ монастырѣ были и свои кузнецы и, вѣроятно, свои плотники. Иконописное мастерство развилось, внѣ всякаго сомнѣнія, тоже на почвѣ монастырскихъ нуждъ; исторія съ Алимпіемъ показываетъ намъ, кромѣ всего прочаго, какъ частно-владѣльческое ремесло выходитъ за предѣлы частнаго хозяйства и становится общественной функціей. Но занятые въ монастырскомъ хозяйствѣ не всегда обязательно были монахи. Кіево-Печерскій Патерикъ упоминаетъ о монастырскихъ работникахъ, насчитывая ихъ въ одномъ только случаѣ пѣсколько десятковъ. Въ московскую эпоху изъ такихъ монастырскихъ ремесленниковъ вырастали цѣлыя поселенія. У Костромского Ипатскаго монастыря подъ Костромою было двѣ слободы, а въ нихъ 185 дворовъ людей „торговыхъ, и промышленныхъ, и ремесленныхъ, и работныхъ и съ тѣми, которые ходятъ по міру". „Ходить по міру" здѣсь не значило „нищенствовать", а значило быть именно „перехожимъ ремесленникомъ".

Московской эпохѣ знакомы все тѣ же формы ремесла, что и кіевской: если бы мы не знали, что первая была не продолженіемъ второй, а параллельнымъ процессомъ, можно бы подумать, что исторія остановилась на мѣстѣ. Въ Московскомъ государствѣ мы имѣемъ и холопское ремесло — „ремесленниковъ" „Русской Правды"; одна богатая барыня начала XVI вѣка даетъ въ приданое за своею дочерью и „дѣвку швею", и „хамовника съ женою и дѣтьми" („хамовное дѣло" — тканье скатертей), и „бралню єкатертницу", и „тонкопрядицу дѣвку", и „убрусную дѣвку" (мастерицу, изготовлявшую полотенца). Имѣемъ и перехожее ремесло — „монастырскихъ бобылей", которые „сапожнымъ и портнымъ ремесломъ и рукавицами и чулками походя кормятся". Знаемъ, конечно, и ремесленную мастерскую съ подмастерьями и учениками. О ремесленномъ ученичествѣ впервые упоминаетъ Псковская судная грамота — документъ, въ основѣ, XIV вѣка. Собственно, въ московской Руси наиболѣе организованными являются, какъ и слѣдовало ожидать, производства, изготовлявшія „предметы роскоши". Московскіе серебряники представляли изъ себя корпорацію, очень напоминающую западно-европейскіе цехи. Они имѣли своихъ выборныхъ представителей, ста-

ростъ, которые должны были наблюдать за тѣмъ, чтобы, и по качеству матеріала, и по отдѣлкѣ, выставленный въ серебряномъ ряду товаръ былъ не ниже извѣстной нормы. Мастера обязывались „дѣлать въ серебряномъ ряду образцовыя пуговицы . . . . серебряныя въ чистомъ серебрѣ, и въ серебро мѣди и свинцу не мѣшать, и приносить свово дѣла серебрянаго ряду старостамъ на оказъ". Но наиболѣе законченную форму цеха приняла еще въ XVI вѣкѣ иконопись. Мы здѣсь имѣемъ налицо всѣ отличительныя черты цехового производства: и правильный общественный контроль, осуществлявшійся высшимъ духовенствомъ, и правильно поставленное ученичество, съ представленіемъ „образцовой работы", безъ чего нельзя было сдѣлаться мастеромъ, и безусловное запрещеніе заниматься этою работою всѣмъ, кто не удовлетворяетъ строгимъ требованіямъ „цехового" мастерства. „А которые по се время писали иконы, не учась, самовольствомъ и самоловкою, и не по образу, и тѣ иконы промѣняли дешево простымъ людямъ, поселянамъ невѣждамъ, ино тѣмъ запрещеніе положите, чтобы учились у добрыхъ мастеровъ . . . . И аще которые не престанутъ отъ такового дѣла, таковые царскою грозою накажутся, и да судятся, и аще они учнутъ глаголати: мы тѣмъ живемъ и питаемся—и таковому ихъ реченію не внимати".

Московскіе ремесленники—не только серебряники, но и шапошники, сапожники, калачники и т. д., сами торговали, произведеніями своего ремесла въ рядахъ: представляютъ значитъ, совершенно законченный типъ ремесленнаго производства. Тѣмъ не менѣе, цехового строя въ западно-европейскомъ смыслѣ у насъ не сложилось—слишкомъ быстро надвинулся на московскую Русь торговый капиталъ. Дѣло не пошло дальше отдѣльныхъ примѣровъ. Торговымъ капитализмомъ мы займемся въ слѣдующей главѣ. А въ заключеніе настоящей попытаемся отвѣтить на вопросъ: какіе же соціальные результаты дало въ Россіи „городское хозяйство", съ характеризующимъ его развитіемъ ремесла? Вообще говоря, какъ мы видѣли въ первой главѣ, на ремесленное производство опирается индивидуализмъ всѣхъ родовъ и видовъ. Съ индивидуализмомъ политическимъ, религіознымъ и художественнымъ мы познакомимся въ дру-

гихъ отдѣлахъ этой книги. Но одинъ видъ индивидуализма непосредственно связанъ съ тѣми сюжетами, которыми мы только что занимались. Это—индивидуализація хозяйственная. Мы видѣли, что экономической ячейкой въ древнѣйшій періодъ была „большая семья“. Изучая закрѣпощеніе крестьянъ въ XVI вѣкѣ, вы тщетно станете ея искать: вездѣ передъ вами отдѣльные крестьяне—съ ихъ семьями, правда, съ женами и съ дѣтьми, но это маленькая семья, знакомая и нашему времени, а не большая, первобытная. Крестьянъ закрѣпощали не „печищами“, а какъ отдѣльныхъ лицъ. Крестьянская „порядная“ XVI—XVII вѣковъ, договоръ, заключаемый крестьяниномъ съ помѣщикомъ—и, обыкновенно, бывшій исходной точкой крѣпостной неволи—самый яркій памятникъ разложенія первобытнаго строя, какой только можно себѣ представить. Характерно, что „печище“ какъ разъ и уцѣлѣло тамъ, куда не проникло крѣпостное право, на далекомъ сѣверѣ, въ нынѣшней Архангельской губерніи. Но еще характернѣе, что этотъ индивидуализмъ рабства вносилъ индивидуалистическія черты и въ правовой строй самихъ рабовладѣльцевъ. Еще въ началѣ XVI вѣка земельныя имѣнія у насъ обыкновенно принадлежатъ семейной группѣ: отцу съ дѣтьми, дядѣ съ племянниками, нѣсколькимъ братьямъ вмѣстѣ. Къ XVII столѣтію помѣстье становится чисто индивидуальной собственностью—отъ „родового“ владѣнія сохраняются лишь слабые остатки, живущіе и до сихъ поръ. Земли, которыя Грозный давалъ своимъ опричникамъ, давались на такихъ же личныхъ основаніяхъ, на какихъ сами помѣщики давали участки своимъ крестьянамъ: „а сынъ его въ ту службу не пригодится, ино то помѣстье отдать иному“. И какъ индивидуализировалось землевладѣніе, то же было и съ рабовладѣніемъ. Раньше холопъ принадлежалъ цѣлой семьѣ. Въ половинѣ XVI вѣка у насъ быстро начинаетъ развиваться типъ холопства кабальнаго („долгового“, буквально: кабала—долговая расписка), которое носитъ личный характеръ. Кабальный человѣкъ былъ крѣпокъ тому, у кого онъ взялъ деньги, до его смерти: затѣмъ отношенія прерывались—дѣтямъ владѣльца по кабалѣ до его кабальныхъ холоповъ дѣла не было. Чтобы обойти это пра-

вило, нѣкоторые владѣльцы — люди консервативнаго образа мыслей, безъ сомнѣнія, не любившіе новшествъ—начали писать кабалы на два имени, на себя и на сына. Въ началѣ XVII вѣка это было строго запрещено—московское правительство оказалось на сторонѣ индивидуализма. И нетрудно понять логическую связь, ведшую отъ кабалы къ личному кабальному холопству: въ долгъ человѣкъ бралъ деньги или вещь, бралъ движимость. Но движимость по своему происхожденію всегда личное достояніе—даже въ періодъ первобытнаго семейнаго строя оружіе или одежда принадлежать, обыкновенно, лицу, а не семьѣ. Теперь отношенія, основанныя на движимости, на продуктахъ ремесленнаго труда, охватываютъ все общество сверху до низу. И закрѣпощенная Россія XVII вѣка оказывается страной **болѣе** индивидуалистическаго хозяйства, чѣмъ кіевская **Русь** въ началѣ своей исторіи, когда еще цѣло было свободное славянское крестьянство.

Библіографія.

Изъ затрагиваемыхъ въ настоящей главѣ вопросовъ, вопросъ о происхожденіи крѣпостнаго права имѣетъ колоссальную литературу. Не пытаясь исчерпать ея хотя бы приблизительно, укажемъ, какъ новѣйшій и и лучшій общій обзоръ, соотвѣтствующія страницы книги проф. М. А. Дьяконова „Очерки общественнаго и государственнаго строя древней Руси“ (2-е изд. Спб. 1908) стр. 313—395. Указанія на предшествующую, по времени, литературу тамъ же. Изъ работъ, вышедшихъ послѣ книги проф. Дьяконова, можно указать статьи П. Михайлова о старожильствѣ (въ „Журналѣ Министерства Народ. Просвѣщ“. 1910 г. май, 1911 г. февраль и 1912 г. январь), при всей обстоятельности по существу мало измѣняющія дѣло сравнительно съ изображеніемъ Дьяконова. Важнѣйшіе документы по вопросу собраны въ изданіи: „Памятники исторіи крестьянъ XIV—XIX вв.“, подъ ред. А. Э. Вормса, Ю. В. Готье, А. А. Кизеветтера и А. И. Яковлева (изд. Н. Клочкова, М. 1910). Для исторіи сельско-хозяйственной техники, цѣнъ, организаціи обмѣна и т. д. огромный матеріалъ собранъ въ книгѣ Н. А. Рожкова „Сельское хозяйство московской Руси въ XVI вѣкѣ“ (М. 1899). Изложеніе очень спеціальное: начинающимъ лучше предварительно познакомиться съ краткимъ изложеніемъ вопроса по небольшой брошюрѣ того же автора „Городъ и деревня въ русской исторіи“ или по соотвѣтствующимъ главамъ „Русской исторіи съ древнѣйшихъ временъ“ пишущаго эти строки (сюда относятся III глава перваго тома и первые раздѣлы IX и X главъ второго тома). Для развитія ремесла, кромѣ соотвѣтствующихъ главъ

названныхъ ранѣе книгъ Аристова и Довнаръ-Запольскаго (глава X „Обрабатывающая промышленность“ одна изъ наиболѣе удачныхъ въ I томѣ „Исторіи русскаго народнаго хозяйства“), см. еще А. И. Никитскаго: „Исторія экономическаго быта Великаго Новгорода“ (М. 1893) и того же М. В. Довнаръ-Запольскаго: „Торговля и промышленность Москвы XVI—XVII вв.“ (М. 1910) и „Организація московскихъ ремесленниковъ въ XVII в.“ (статья въ Журн. Министерства Народнаго Просвѣщ. 1910 г., сентябрь).

8.

Торговый капитализмъ.

Московская Русь XVI вѣка, подобно кіевской XII, перешла уже, выражаясь по старинному, отъ „натуральнаго“ хозяйства къ „денежному“. Обмѣнъ въ ней не только существовалъ—онъ существовалъ и существуетъ всегда и вездѣ,—но игралъ уже видную экономическую роль: населеніе московской Руси работало, въ значительной степени, не только для удовлетворенія своихъ непосредственныхъ потребностей, но и для обмѣна, для рынка. На рынкѣ сырье обмѣнивалось на произведенія обрабатывающей промышленности, продукты ремесленнаго труда. У этого обмѣна были, однако же, особенности, отличающія его отъ торговли нашего времени. На описанныхъ нами маленькихъ мѣстныхъ рынкахъ производители непосредственно встрѣчались съ потребителями; въ лавкахъ московскихъ рядовъ сидѣли тѣ самые ремесленники, которые изготовили товары, продававшіеся въ этихъ лавкахъ—а на базарѣ капусту или куръ продавалъ тотъ самый крестьянинъ, который привезъ ихъ изъ деревни. На Сухаревской площади москвичи еще и теперь могутъ наблюдать такого рода торгъ, по базарнымъ днямъ: и любители дешево купить ходятъ именно „на Сухаревку“. Ибо особенностью такой торговли является большая дешевизна товара. Одинъ иностранецъ, бывшій въ Москвѣ въ XVII вѣкѣ, разсказываетъ, что въ московскихъ рядахъ можно было необыкновенно дешево купить серебряныя пуговицы: почти за столько, сколько стоило серебро, изъ котораго онѣ были сдѣланы. Московскій ремесленникъ не требовалъ себѣ барыша, того, что теперь называютъ „пред-

принимательской прибылью", потому что онъ и не былъ предпринимателемъ. Онъ на свое производство не затрачивалъ капитала, и желалъ только, чтобы покупатель возмѣстилъ ему стоимость сырого матеріала да заплатилъ ему за работу—по-божески, что людямъ платятъ. Ремесленнику нужно было, чтобы работа его кормила: а такъ какъ потребности у него были скромныя, а съѣстные припасы дешевы, то „заработная плата" ремесленника и не могла составить большой суммы.

Непосредственное соприкосновеніе производителя и потребителя, и отсутствіе предпринимательской прибыли, какъ особой категоріи, составляютъ характерныя отличія до-капиталистическаго обмѣна. Торговыхъ посредниковъ, купцовъ, тутъ или вовсе не существуетъ или, если они и встрѣчаются—когда рѣчь идетъ о торговлѣ заграничными товарами, напримѣръ,—ихъ дѣятельность тоже носитъ ремесленный характеръ. Древне-русскій „купецъ", какъ правило—мелкій торговецъ, путешествующій по странѣ со своимъ возомъ или даже просто съ котомкой за плечами, подобно теперешнему коробейнику. Оттого въ крупныхъ торговыхъ центрахъ того времени, въ родѣ Торжка, служившаго передаточнымъ пунктомъ между Новгородомъ и „низовскими землями", мы встрѣчаемъ, по лѣтописи, тысячи такихъ торговцевъ, и даже въ захолустьяхъ, въ родѣ Переяславля Залѣсскаго, сотни. И это вовсе не значитъ, конечно, какъ думаютъ нѣкоторые новѣйшіе изслѣдователи, что въ древней Руси было „необыкновенно развита" торговля. Это значитъ только, что тогда не было, или почти не было—мы сейчасъ увидимъ, какія нужно сюда внести поправки—концентраціи торговли и торговаго капитала. „Купецъ" думалъ тоже не о барышахъ, а о томъ, чтобы прокормиться своимъ промысломъ.

Уже въ первой половинѣ XVII вѣка въ Москвѣ отношенія не были такъ просты. Въ 20-хъ годахъ этого столѣтія московское правительство, встревоженное ростомъ хлѣбныхъ цѣнъ въ столицѣ, пыталось ввести таксу на печеный хлѣбъ. Чиновникъ, которому это было поручено, сталъ на ремесленную точку зрѣнія. Онъ высчиталъ, сколько стоитъ мука, прибавилъ къ этому, что стоилъ прокормъ самого хлѣбо-

пека — и получилъ справедливую, по его мнѣнію, цѣну. Сдѣлалъ онъ все это не зря, а весьма осмотрительно: самъ закупилъ муку, самъ сосчиталъ харчи работниковъ—словомъ, произвелъ правильный экспериментъ и былъ увѣренъ, что подъ его таксу не подкопаешься. Но московскіе булочники подняли страшный вопль и заявили, что при такой таксѣ имъ ничего не остается, какъ закрыть свои заведенія. Авторъ справедливой таксы былъ очень возмущенъ поведеніемъ булочниковъ и обвинялъ ихъ въ томъ, что они, не довольствуясь справедливой платой за трудъ, „нынѣ хотятъ прибыли на хлѣбы и на калачи“. Но его оппоненты не только не смутились попрекомъ, а въ своемъ отвѣтѣ сами, безъ зазрѣнія совѣсти, употребили то же самое слово „прибыль“. „И въ томъ мы, сироты ваши, до конца погибли“, плакались они въ своей челобитной государямъ—ихъ было тогда сразу два, Михаилъ Ѳеодоровичъ да его отецъ, патріархъ Филаретъ: „и впредь намъ тѣхъ хлѣбовъ и калачей безъ прибыли печь не изъ чего“. И тутъ же приводили фактъ, явно свидѣтельствовавшій объ экономической отсталости сочинителя таксы: а что онъ, говорили булочники, „въ той роспискѣ (таксѣ) написалъ за работу восемь денегъ, и то, Государи, идетъ... наймитамъ, которые наймиты пироги и калачи пекутъ, и въ квашни мѣсятъ, и тѣсто перетираютъ, и каляютъ, и въ печь сажаютъ, пекутъ, и всякую работу работаютъ около калачей, и пироговъ, и хлѣбовъ: а намъ, сиротамъ вашимъ, ни одной деньги не выложено на тягло (налоги) и на промыселъ, чѣмъ намъ, сиротамъ вашимъ, сытымъ быти“. Какъ видимъ, отъ ремесленической терминологіи не отдѣлались и авторы челобитной: и они, какъ будто, хлопочутъ только о томъ, чтобы имъ „сытымъ быти“—не больше. Но это уже одни только слова: на самомъ дѣлѣ мы видимъ, что пекли-то хлѣба не они, а наемные рабочіе, по отношенію къ которымъ челобитчики были предпринимателями. И „сытымъ быти“ они надѣялись отъ предпринимательской прибыли, которой такса ихъ лишила. Ихъ промыселъ заключался въ томъ, что они устраивали заведенія, чтобы эксплуатировать въ нихъ трудъ пекарей-рабочихъ. Хлѣбопекарный промыселъ въ Москвѣ Ми-

хаила Ѳеодоровича былъ организованъ уже на капиталистическихъ началахъ. Конечно, это былъ капитализмъ еще очень мелкій, и тогдашняя хлѣбопекарня, вѣроятно, не далеко ушла отъ ремесленной мастерской, гдѣ хозяинъ работаетъ не одинъ, а съ подмастерьемъ и учеником. Но та же челобитная даетъ понять, что возможна была и слѣдующая, высшая ступень концентраціи капитала: въ челобитной говорится о какихъ-то „хлѣбныхъ и калачныхъ прасолахъ"—какъ надо думать по названію, это были люди, закупавшіе хлѣбъ и калачи оптомъ, для того, чтобы продавать ихъ потомъ въ розницу.

Если пекари Москвы въ 1620-хъ годахъ представляютъ собою зачатокъ капитализма промышленнаго, то „хлѣбные и калачные прасолы" были представители капитализма торговаго. Торговый капитализмъ гораздо старѣе промышленнаго: стремленіе къ прибыли появилось у купца гораздо раньше, чѣмъ у ремесленника. Крупные зачатки торговаго капитализма мы имѣемъ уже въ кіевской Руси. Русская Правда уже имѣетъ понятіе о торговой прибыли: у нея для этого есть терминъ—пригостить, получить прибыль на вложенный въ торговлю капиталъ [1]). Торговля была обычнымъ помѣщеніемъ свободныхъ денегъ—купецъ Русской Правды обычно ведетъ свое дѣло на занятый капиталъ. Соотвѣтствующая статья Правды и поясняетъ намъ, откуда онъ бралъ этотъ послѣдній. Разсказывая о порядкѣ взысканія денегъ съ обанкрутившагося купца, Правда, какъ и полагается памятнику княжескаго законодательства, прежде всего оберегаетъ интересы князя: „если будутъ за нимъ въ долгу княжескія деньги, то взыскать напередъ ихъ, а остальное въ раздѣлъ". Тутъ мы имѣемъ одинъ изъ самыхъ старыхъ источниковъ „первоначальнаго накопленія". Какъ въ исторіи древнѣйшаго крупнаго хозяйства большую роль играло прямое насиліе, прямой захватъ „челяди", открытый и наглый грабежъ крестьянства—словомъ, „внѣ-экономическіе" факторы, такъ тѣ же внѣ-экономическіе факторы еще болѣе видную роль играли въ образованіи древнѣйшаго торговаго капитала. Война сосредоточивала

[1]) „Гостить"—торговать; „гость"—торговецъ, „гостьба"—торговля.

въ рукахъ князей и боярства огромныя количества движимости. Не говоря уже объ усобицахъ—здѣсь, поскольку рѣчь шла о князьяхъ, дѣло сводилось къ перекладыванію изъ одного кармана въ другой,—походы въ степь „добрыхъ страдальцевъ за русскую землю“ вознаграждали этихъ „страдальцевъ“ весьма щедро. Какъ стереотипнымъ концомъ усобицы въ лѣтописи является фраза „ополонишася челядью“, такъ удачная экспедиція противъ половцевъ не менѣе стереотипно кончается словами: „взяли тогда скотъ, и овецъ, и коней“. Это уже было приращеніе не имущества отдѣльнаго князя на счетъ другого, какъ въ случаѣ усобицы,—а чистый приростъ княжескаго достоянія вообще: и мы знаемъ, какъ дорогъ былъ въ древней Руси именно скотъ. Отчасти, конечно, князь утилизировалъ свою добычу непосредственно, путемъ раздачи скота прикрѣпляя крестьянъ къ своимъ землямъ. Но большую часть приходилось „реализировать“—сбывать на рынокъ, „челядь“ преимущественно на заграничный, а скотъ—на внутренній. Недаромъ пѣвецъ Слова о полку Игоревѣ, мечтая о военныхъ удачахъ русскихъ князей, придаетъ этимъ мечтамъ такую своеобразную форму: „была бы тогда чага (рабыня) по ногатѣ, а кощей (рабъ) по рѣзанѣ!“ Побѣда означала, прежде всего, дешевизну живого товара, и двуногаго и четвероногаго. И вотъ, въ рукахъ князя побѣдителя, вмѣсто скота и людей, оказывалось серебро и золото [1]). Въ какомъ количествѣ, покажетъ одинъ примѣръ изъ безчисленнаго множества аналогичныхъ: въ 1158 году князь Глѣбъ Всеславичъ—вовсе не изъ самыхъ крупныхъ—далъ Кіево-Печерскому монастырю 600 гривенъ серебра и 50 гривенъ золота. Гривна серебра, слитокъ, вѣсомъ около полуфунта (180—200 граммовъ), равнялась, по тогдашней цѣнѣ металла, теперешнимъ 100 рублямъ: 600 гривенъ представляли собою нѣчто, соотвѣтствующее капиталу въ 60.000 рублей. Золото, въ средніе

[1]) Въ нашей литературѣ довольно твердо держится убѣжденіе, что кіевская Русь знала только счетъ на серебро: была страною серебрянаго монометаллизма, какъ теперь Китай, напримѣръ; это совершенно невѣрно: лѣтопись и бытовые памятники, напр., Печерскій Патерикъ, на каждомъ шагу считаютъ и на серебро, и на золото. Украинцы XII—XIII вѣковъ были биметаллистами.

вѣка, обычно было въ 10—12 разъ дороже серебра: 50 гривенъ золота, по минимальной оцѣнкѣ, соотвѣтствовали теперешнему капиталу въ 50,000 р. Итого князь Глѣбъ пожертвовалъ Печерскому монастырю 110,000 р. на наши деньги, при чемъ ни откуда не видно, чтобы князь отдалъ при этомъ все свое достояніе; напротивъ, и послѣ его смерти княгиня-вдова продолжала жертвовать серебро и золото. Понятно, почему князья у насъ были первыми банкирами, и нѣкоторые даже спеціализировались въ этой области, какъ княжившій въ Кіевѣ въ концѣ XI и началѣ XII вѣка Святополкъ Изяславичъ. Но разсказъ о кончинѣ этого князя намѣчаетъ намъ и другую силу, которая могла конкурировать съ князьями на денежномъ рынкѣ. Когда умеръ этотъ князь-ростовщикъ, то въ Кіевѣ, по разсказу лѣтописи, вспыхнули большіе безпорядки. Народъ разграбилъ дворъ тысяцкаго, правой руки князя, погромилъ иновѣрныхъ ростовщиковъ, евреевъ, а потомъ обнаружилъ явное намѣреніе продолжать ту же работу надъ кіевскими монастырями. Этого не выдержалъ благочестивый князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ: онъ пришелъ въ Кіевъ, усмирилъ безпорядки, но тутъ же нашелъ нужнымъ издать спеціальныя постановленія, сильно ограничивавшія ростовщичество. Пикантная позиція, занимаемая въ безхитростномъ разсказѣ лѣтописи монастырями, давно получила должную оцѣнку; во всей древне-русской, до-московской, литературѣ нѣтъ мѣста, гдѣ экономическая роль древне-русскаго монастыря выступила бы ярче. Въ публикѣ очень распространенъ взглядъ на древне-русскій монастырь, какъ на рабочую общину, своего рода „коммуну“. Но когда вы возьмете Кіево-Печерскій Патерикъ, авторы котораго отнюдь не желали писать сатиры на свою обитель, вы на каждомъ шагу встрѣчаете образчики нравовъ, въ высшей степени противоположныхъ всякому коммунизму. Въ Печерскомъ монастырѣ былъ черноризецъ, именемъ Ареѳа, разсказываетъ Патерикъ. „Много богатства имѣлъ онъ въ келіи своей и никогда ни одной цаты, ни даже хлѣба не подалъ убогому, и такъ былъ скупъ и немилосердъ, что и самого себя голодомъ морилъ“. Дальше слѣдуетъ назидательный разсказъ о томъ, какъ за эти малопохвальныя качества Ареѳа былъ

наказанъ; но изъ другихъ мѣстъ Патерика видно, что если его поведеніе не было образцовымъ въ смыслѣ добродѣтели, то оно, во всякомъ случаѣ, было цѣлесообразно и отвѣчало сложившимся въ монастырѣ нравамъ. Вотъ другой братъ, Аѳанасій; велъ онъ жизнь святую и богоугодную, а когда померъ, то цѣлый день оставался безъ погребенія: „былъ онъ очень бѣденъ, ничего не имѣлъ отъ міра сего, и потому былъ въ небреженіи у всѣхъ. Богатымъ только всякій старается послужить, какъ въ жизни, такъ и при смерти, чтобы получить что-нибудь въ наслѣдство". И это правило житейскаго поведенія такъ строго проводилось въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ, что безъ денегъ и постричься было нельзя: одинъ братъ очень хотѣлъ постричься въ схиму, „но по нищетѣ его братія пренебрегала имъ". Само собою разумѣется, что въ монастырѣ ничего не дѣлалось даромъ: когда монастырскій могильщикъ, Маркъ, ничего не бралъ за рытье могилъ, это вмѣнялось ему въ особую добродѣтель, за которую онъ и былъ почтенъ даромъ чудотворенія. И когда монастырскій иконописецъ, знакомый намъ Алимпій, безвозмездно писалъ иконы для монастыря, это тоже отмѣчается его біографомъ съ похвалою: а что тотъ же Алимпій, какъ мы видѣли, нѣсколько безцеремонно обращался съ „мірскими" заказчиками, это смущаетъ біографа всего менѣе. И то хорошо, что хоть со своихъ ничего не бралъ. Написанныя кіево-печерскими иноками простодушные разсказы о чудесахъ подвизавшихся въ древнѣйшемъ изъ русскихъ монастырей угодниковъ Божіихъ остаются самымъ древнимъ—и очень яркимъ, въ то же время—памятникомъ буржуазнаго настроенія и буржуазнаго міросозерцанія въ Россіи.

Московская Русь и въ этомъ отношеніи даетъ намъ картину развитія, параллельную кіевской. Еще московскіе князья XIV вѣка продолжали играть роль банкировъ: въ завѣщаніи Ивана Даниловича Калиты упоминаются сто рублей (около 10,000 р. на теперешнія деньги), которыми онъ ссудилъ какого-то Еску. Когда въ XVI вѣкѣ англичане „открыли" Россію, и въ московскихъ предѣлахъ стала дѣйствовать англійская торговая компанія, царь принималъ участіе въ ея оборотахъ, и на банкротствѣ одного изъ чле-

новъ компаніи, Мярша, потерялъ 2700 рублей [1]), которые, согласно съ традиціей, установленной еще Русской Правдой, были взысканы въ первую голову—остальные кредиторы Мярша могли удовольствоваться остатками. При первыхъ Романовыхъ, царь, по словамъ одного иностранца, былъ „первымъ купцомъ своего государства". Царская казна объявила своей монополіей всѣ важнѣйшія статьи русскаго вывоза того времени—отъ мѣховъ и шелка (торговлю шелкомъ, получавшимся изъ Персіи, московское правительство чрезвычайно ревниво держало въ своихъ рукахъ) до икры, рыбьяго клея и ревеня: а когда иностранцы впервые заинтересовались русскимъ хлѣбомъ, былъ объявленъ царской монополіей и хлѣбный экспортъ. Такъ продолжалось и при Петрѣ, когда, по словамъ другого иностранца, царскій дворъ сплошь и рядомъ напоминалъ купеческую контору. И что можно сказать о московскомъ князѣ, великомъ князѣ или царѣ, то же можно повторять и о московскомъ монастырѣ. Какъ Кіево-Печерскій монастырь былъ крупнѣйшимъ въ свое время и въ своемъ мѣстѣ торговцемъ солью (объ этомъ мы узнаемъ изъ того же Патерика), такъ въ московское время ту же роль, солянаго прасола, играли Соловки. Торговля солью была главнымъ источникомъ монастырскихъ доходовъ: „монастырь—мѣсто невотчинное, пашенныхъ земель нѣтъ" плакались соловецкіе отцы въ своихъ челобитныхъ: „развѣ что соли продадутъ, тѣмъ и запасъ всякой на монастырь купятъ и тѣмъ питаются". Съ такою скромностью упоминаемый промыселъ занималъ въ первой половинѣ XVII вѣка 700 рабочихъ и давалъ на московскій рынокъ 130,000 пудовъ соли. И роль монастыря, какъ банкира, въ московской Руси не только не пала—наоборотъ, здѣсь мы по документамъ можемъ прослѣдить то, о чемъ для Кіева приходилось все же догадываться. „Еще въ кіевской Руси монастырь былъ обычнымъ мѣстомъ „поклажи", т.-е. храненія имущества

---

[1]) Рубль конца XVI вѣка, по своей покупной силѣ, соотвѣтствовалъ 60 единицамъ того же названія конца XIX столѣтія и содержалъ въ себѣ втрое болѣе серебра, чѣмъ нашъ рубль: отношеніе цѣны металла тогдашней и теперешней было, такимъ образомъ, 1 : 20.

мірянъ", говоритъ одинъ изслѣдователь. „То же значеніе сохранилъ онъ и въ XVI вѣкѣ; и въ это время онъ принималъ на храненіе деньги и разный домашній скорбъ... Но особенно важное значеніе имѣло скопленіе въ монастыряхъ значительныхъ денежныхъ капиталовъ, благодаря постоянному приливу вкладовъ на поминовеніе и большимъ доходамъ съ монастырскихъ вотчинъ". Деньгамъ, и отданнымъ на храненіе и собраннымъ монастырскою казною, монастырь не давалъ лежать втуне. Ко времени Грознаго московская старая знать была опутана густою сѣтью долговыхъ обязательствъ передъ „непогребенными мертвецами": и недаромъ перья боярскихъ публицистовъ усваивали „непогребеннымъ мертвецамъ" еще и другіе, менѣе трагическіе, эпитеты—„сребролюбцевъ-ненасытныхъ", „жидовиновъ-ростовщиковъ". Въ сочиненіи того же изслѣдователя можно найти необычайно выразительную картинку изъ исторіи отношеній князей Ухтомскихъ и ихъ „молитвенника", Кириллово-Бѣлозерскаго монастыря. Въ 1556—57 гг. кн. Дан. Дан. Ухтомскій съ тремя сыновьями продалъ монастырю село Карповское съ 17 деревнями и „починками"; четыре года спустя ему же пришлось продать кирилловобѣлозерскимъ отцамъ еще 4 деревни: а тѣмъ временемъ въ 1558—59 гг. тѣ же отцы купили у другого Ухтомскаго село Никитино и 21 деревню. И опять это былъ не конецъ: четыре года спустя этотъ другой Ухтомскій занимаетъ у монастыря 290 рублей, „а заложилъ въ деньгахъ село Семеновское съ 13 деревнями и всѣми угодьями". По тогдашнему залоговому праву монастырь, за проценты, эксплуатировалъ вотчину: заложившій имѣніе помѣщикъ долженъ былъ изъ него „вывезтись", а на его мѣсто въѣзжалъ монастырскій приказчикъ, который отнынѣ и собиралъ всѣ доходы на монастырь. Это была, такимъ образомъ, мертвая петля: черезъ два года село Семеновское было уже полной монастырской собственностью. А еще три года спустя мы видимъ тотъ же монастырь покупающимъ имѣніе еще третьяго Ухтомскаго. Такъ экспропріировалась, понемногу, цѣлая удѣльная династія: и когда пришла опричнина Грознаго, съ ея массовыми конфискаціями удѣльныхъ земель, ей пришлось, въ сущности, только додѣлывать то, что давнымъ-

давно, тихо и скромно, безъ казней и опалъ, было начато смиренными иноками.

Ближайшимъ, географически, къ капитализму княжескому и монастырскому былъ тотъ способъ первоначальнаго накопленія, который былъ тѣсно связанъ съ древне-русской финансовой системой. Жалуясь на запустѣніе земли, древне-русскіе люди, рядомъ съ „ратями“, войною, постоянно упоминаютъ „продажи“—уголовные штрафы. Эти штрафы (о нихъ, какъ объ историко-юридическомъ явленіи, будетъ идти рѣчь ниже) въ кіевской Руси были однимъ изъ главныхъ источниковъ обогащенія княжеской казны, если не считать войны. Другой подобный же источникъ, „дань“—т.-е. прямые налоги—была въ тѣ времена еще гораздо менѣе централизована. Централизація дани сдѣлала крупный шагъ впередъ со времени татарскаго завоеванія. Какъ разъ отъ этой эпохи мы и имѣемъ первый образчикъ „финансоваго“ накопленія. Подъ 1362 годомъ лѣтопись разсказываетъ, какъ откупщики податей своими „рѣзами“, т.-е. процентами, поработили „многія души христіанскія“: то-есть, оказывая населенію, не располагавшему большимъ количествомъ наличныхъ денегъ, кредитъ на очень тяжелыхъ условіяхъ, откупщики потомъ безъ зазрѣнія совѣсти продавали въ рабство тѣхъ, кто не могъ имъ уплатить въ срокъ проценты. То была ростовщическая операція очень крупнаго стиля: лѣтопись говоритъ объ этомъ, какъ объ общерусскомъ явленіи. Но откупщики были „бесурмене“—на русской почвѣ происходило накопленіе татарскаго капитала, хотя, легко можетъ статься, онъ и оставался потомъ въ Россіи, ссужаемый „въ гостьбу“ русскимъ купцамъ. Это было, однако же, только начало: съ легкой руки татаръ, отдача податей на откупъ прочно укоренилась въ московской Руси. Особенно привилась откупная система къ сбору питейнаго налога—продажа водки уже съ Ивана III была царской монополіей; но и всѣ другіе косвенные налоги, напримѣръ, таможенный, также сдавались крупнымъ торговцамъ или на откупъ или „на вѣру“; разница была въ томъ, что откупщикъ самъ долженъ былъ запасать товаръ и, кромѣ того, обязывался внести въ казну опредѣленную сумму—иными словами, долженъ былъ располагать уже порядочнымъ ка-

питаломъ, чтобы приняться за свое дѣло, тогда какъ „вѣрный“ (=присяжный) сборщикъ получалъ водку отъ казны и не былъ связанъ строго опредѣленнымъ платежомъ—съ него требовали лишь, примѣрно, такого дохода, который казна привыкла получать; иными словами, „вѣрная служба“ была доступна и мелкимъ капиталистамъ, не только крупнымъ, какъ откупа. Но наживанію крупныхъ капиталовъ „вѣрные сборы“ помогали нисколько не меньше—ихъ тоже приходится разсматривать, какъ одинъ изъ способовъ первоначальнаго накопленія. О размѣрахъ послѣдняго даютъ понятіе размѣры отдѣльныхъ откуповъ, какіе намъ извѣстны. Въ 1630 годахъ за однимъ неважнымъ провинціальнымъ откупщикомъ по документамъ можно насчитать разныхъ сборовъ до 6000 рублей тогдашнихъ—35—40 тысячъ рублей теперешнихъ. Обычной нормой предпринимательской прибыли тогда было 20%: этотъ средній московскій буржуа „зарабатывалъ“, такимъ образомъ, семь-восемь тысячъ рублей; при чемъ мы отнюдь не можемъ быть увѣрены, что это весь его доходъ, и что въ документахъ (податныхъ) этотъ доходъ не показанъ ниже настоящаго. Иностранцы даютъ гораздо болѣе высокія цифры для откупныхъ операцій: по ихъ словамъ, только три новгородскихъ кабака давали ежегодно до ста тысячъ рублей на теперешнія деньги; въ Москвѣ были отдѣльные кабаки, сдававшіеся за десять и даже за двадцать тысячъ рублей тогдашнихъ (65—130 тысячъ нынѣшнихъ). „Откупщикъ“ въ московской Руси былъ уже синонимомъ „крупнаго капиталиста“, какимъ онъ оставался почти вплоть до эпохи освобожденія крестьянъ. Благодаря нашей классической литературѣ, онъ остается для насъ такимъ и до сихъ поръ, черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ уничтоженія откуповъ: читатель уже, навѣрное, вспомнилъ крыловскую басню „Откупщикъ и сапожникъ“ и гоголевскаго Муразова.

Въ экономической литературѣ гораздо большее значеніе, чѣмъ всѣмъ, до сихъ поръ перечисленнымъ, источникамъ торговаго капитала, придается земельной рентѣ. „Извѣстно, что первоначальной формой капитала, въ который превращаются накопленныя земельныя ренты, является торговый денежный капиталъ“, говоритъ, напримѣръ, одинъ

изъ новѣйшихъ изслѣдователей аграрной эволюціи Россіи. Какъ разъ въ Россіи, однако же, наживаніе этимъ путемъ шло медленнѣе, нежели многими другими. Земельная рента могла послужить источникомъ образованія крупнаго капитала въ двухъ случаяхъ: или когда помѣщикъ велъ крупное хозяйство для рынка, или когда онъ, посредствомъ о б р о к а, извлекалъ денежный доходъ изъ большого числа мелкихъ хозяйствъ. Но случаи крупнаго, предпринимательскаго, сельскаго хозяйства для XVI—XVII вѣковъ у насъ наперечетъ—массовымъ явленіемъ такое хозяйство становится гораздо позже, въ первой половинѣ XIX вѣка. Къ этому времени торговый капиталъ уже давнымъ-давно существовалъ и успѣлъ уже, отчасти, превратиться въ промышленный. Что же касается денежнаго оброка съ крестьянъ, то хотя онъ и существовалъ у насъ въ XVI и даже въ концѣ XV вѣка, но распространенъ онъ былъ только на монастырскихъ, да на „черныхъ", государевыхъ земляхъ. Онъ тутъ помогалъ накопленію, давно уже шедшему другими путями. Въ свѣтскихъ рукахъ оброчныхъ имѣній было гораздо меньше. Тамъ, однако же, гдѣ въ однѣхъ рукахъ сходилось оброку много, мы наблюдаемъ именно то явленіе, котораго ожидаютъ экономисты. Въ числѣ кредиторовъ упоминавшагося выше Мярша, обанкрутившагося англійскаго купца XVI вѣка, мы встрѣчаемъ не только государя, не только гостей и торговыхъ людей и монастырскаго старца Іону, но и бояръ, и дворянъ. Самымъ крупнымъ кредиторомъ и былъ какъ разъ бояринъ Борисъ Ѳеодоровичъ Годуновъ, предъявившій на Мярша двѣ „кабалы" (векселя), одну на 5.700 рублей, другую на 3.000. Всего Борисъ Ѳеодоровичъ вложилъ въ предпріятіе неудачника-англичанина, на наши деньги, до 225.000 рублей—цѣлое состояніе даже и по теперешнимъ понятіямъ. На этотъ капиталъ, какъ видно изъ кабалъ, онъ разсчитывалъ получить 20% чистаго барыша. Годуновскія деньги взыскивались потомъ съ Мярша такъ же полностью, какъ и царскія: но это было индивидуальное исключеніе въ пользу вліятельнаго царскаго родственника; другіе землевладѣльцы должны были довольствоваться половиной, наравнѣ съ купцами; среди нихъ были тоже очень крупные кредиторы—напримѣръ, дворянинъ

Романъ Пивовъ, давшій Мяршу 2400 руб. (=60,000 теперешнихъ). Это соединеніе въ одномъ лицѣ крупнаго землевладѣльца и крупнаго капиталиста провожаетъ насъ и позже, черезъ весь XVII вѣкъ, вплоть до петровской эпохи. Въ XVII вѣкѣ яркимъ образчикомъ этого типа были Строгановы, владѣльцы огромныхъ вотчинъ и оптовые торговцы солью въ то же время, вѣроятно, самые богатые люди тогдашней Руси: ихъ ежегодный оборотъ былъ, на наши деньги, значительно болѣе милліона, а чистый доходъ—тысячъ триста, что, по тогдашнему уровню прибыли, равнялось капиталу милліона въ полтора. Документы, на которые опирается этотъ расчетъ (податные), даютъ, несомнѣнно, м и н и м а л ь н ы я цифры: на самомъ дѣлѣ, строгановское состояніе было раза въ два больше. Россія временъ Михаила Ѳеодоровича (цифры относятся къ 1630 годамъ) уже знала, такимъ образомъ, настоящихъ милліонеровъ. Во времена Петра крупнѣйшее промышленное предпріятіе—шелковая мануфактура съ основнымъ капиталомъ до милліона рублей на наши деньги—принадлежала также тремъ крупнымъ помѣщикамъ: адмиралу Апраксину, вице-канцлеру Шафирову и Петру Толстому. Можно, однако, сомнѣваться, чтобы собранный ими капиталъ былъ результатомъ накопленія ими земельной ренты; скорѣе, онъ прямо или косвенно происходилъ изъ царской казны.

Всего меньше играла роль въ накопленіи—и всего позже начала эту роль играть—собственно т о р г о в л я, торговый барышъ. Торговля, даже заграничная, очень долго носила ремесленный характеръ. Для оцѣнки ея размѣровъ въ кіевско-новгородскую эпоху (XI—XIV вѣка) у насъ есть весьма любопытный документъ. Это уставная грамота, данная княземъ Всеволодомъ Мстиславичемъ (внукомъ Мономаха) новгородской церкви св. Ивана на Опокахъ. Первоначальная ея редакція относится къ 1135—36 гг., но до насъ она дошла въ текстѣ конца XIV вѣка. Ею утверждались привилегіи гильдіи новгородскихъ купцовъ, торговавшихъ воскомъ и группировавшихся, какъ вообще группировались средневѣковые торговцы, около ц е р к в и Іоанна Предтечи—такія церкви въ то время служили обыкновенно и торговыми складами. При церкви Ивана на Опокахъ стояли и

вѣсы, на которыхъ вѣшали воскъ—и главная привилегія „иванскаго“ купечества въ томъ и состояла, что исключительное право вѣшать воскъ для всего новгородскаго рынка принадлежало ему. Тутъ же, какъ при самой старой и почтенной купеческой корпораціи, былъ и торговый судъ, но члены его избирались не только „иванскими“ купцами, а и всѣми новгородскими торговцами („житьими людьми“). Такъ вотъ, изъ этой грамоты мы узнаемъ, что членомъ „иванской“ корпораціи могъ быть всякій, кто въ состояніи былъ внести 75 гривенъ серебра—50 гривенъ, какъ свой торговый пай, а 25 въ казну св. Ивана. Гривна серебра, какъ мы упоминали выше, это около 100 рублей теперешнихъ—торговый пай „иванскаго“ купца, члена самой богатой и вліятельной гильдіи Новгорода, не превышалъ, такимъ образомъ, 5000 рублей—вкладного пая теперешняго артельщика большой биржевой артели. Изъ иностранныхъ источниковъ мы знаемъ, что и капиталъ нѣмецкаго купца тѣхъ дней, торговавшаго съ Новгородомъ, составлялъ около 10.000 марокъ на нынѣшнія деньги—тѣ же 5000 рублей: можно думать, что русскій уставъ въ этомъ пунктѣ подражалъ заграничнымъ образцамъ. Съ такими капиталами велась тогда о п т о в а я торговля! Что представляла изъ себя розничная торговля, даже въ несравненно болѣе позднее время, показываютъ слова одного иностранца, видѣвшаго Москву XVII столѣтія: „бо́льшая часть лавокъ такъ малы и узки, что продавецъ еле можетъ повернуться среди своихъ товаровъ“. По его же отзыву, „изъ одной амстердамской лавки того времени можно было бы сдѣлать десять, и даже больше московскихъ“. А накопленіе чисто купеческаго капитала къ XVII вѣку все же сдѣлало большіе успѣхи. Для учета московскаго торговаго капитала временъ Михаила Ѳеодоровича, 1620—40-хъ годовъ, у насъ есть очень солидный источникъ въ документахъ, касающихся взысканія п я т о й д е н ь г и, экстреннаго подоходнаго налога съ торговли и промысловъ, взимавшагося въ размѣрѣ 20% съ торговаго оборота. Организація сбора была поручена московскимъ гостямъ, крупнѣйшимъ капиталистамъ въ государствѣ: совершенно ясно, что себя гости оцѣнили наивозможно дешевле—такъ что для крупнѣйшаго капитала того времени

мы имѣемъ цифры минимальныя и, вѣроятно, даже ниже минимума. Зато по всей странѣ данныя о „пятинныхъ деньгахъ“ должны быть близки къ дѣйствительному положенію вещей, въ особенности, если брать не абсолютныя цифры, но отношенія, сравнивая результаты пятиннаго сбора за разные годы. Для 1616—17 гг. сборъ „пятой деньги“ далъ, по всей Россіи, около 200.000 рублей на тогдашнія деньги—около 1.400.000 р. на теперешнія. Это составляло $^1/_5$ всего московскаго торговаго оборота—весь онъ, значитъ, былъ около 7 милліоновъ на наши деньги. Восемнадцать лѣтъ спустя тотъ же сборъ далъ уже 300.000 руб.—2.100.000 нашихъ: другими словами, за первую половину царствованія Михаила Ѳеодоровича русскій торговый капиталъ выросъ въ полтора раза, торговые обороты повысились съ 7 милліоновъ рублей до $10^1/_2$. На первомъ мѣстѣ по оборотамъ стояла Москва—не меньше 3.150.000 р., но надо имѣть въ виду, что какъ разъ московскіе капиталисты имѣли наибольшую возможность скрывать свои обороты. На второмъ Казань, съ оборотами нѣсколько ниже милліона, на третьемъ Ярославль—нѣсколько больше полумилліона (мы вездѣ считаемъ на теперешнія деньги), лишь на четвертомъ Нижній, торговля котораго въ тѣ дни достигала едва половины торговли Ярославля. Немного выше Новгорода Нижняго стоялъ Новгородъ Великій (до 350.000 руб. нашихъ) и совсѣмъ низко старый торговый центръ сѣверо-запада, Псковъ, которому дорого обошлась соціальная борьба, достигшая чрезвычайнаго обостренія во время смуты: обороты Пскова стояли ниже даже Калуги и едва превышали, на теперешній счетъ, сто тысячъ рублей. Чтобы придать этимъ цифрамъ большую наглядность, ихъ можно сопоставить, во-первыхъ, съ государственнымъ бюджетомъ: бюджетъ Московскаго государства середины XVII столѣтія доходилъ до 1.300.000 р. (=9 милліонамъ теперешнихъ), а обороты торговли—до полутора милліона (=болѣе 10 теперешнихъ). Въ концѣ XIX столѣтія обороты русской торговли нѣсколько превышали 10 милліардовъ рублей,—а нашъ бюджетъ тогда составлялъ полтора милліарда. Въ концѣ XIX вѣка бюджетъ составлялъ только 15% всего торговаго оборота,—а въ серединѣ XVII почти 90% по минимальной оцѣнкѣ этого оборота и, вѣ-

роятно, не менѣе 60% по настоящей. Во-вторыхъ, можно сравнить торговлю Московскаго государства съ торговлей средневѣковой Европы. Въ XIV вѣкѣ, въ дни расцвѣта ганзейской торговли, ежегодные обороты Любека составляли $4^1/_2$ милліона марокъ на теперешнія деньги, Гамбурга $3^1/_2$, Штральзунда болѣе 3, четырехъ главныхъ городовъ ганзейскаго союза вмѣстѣ взятыхъ $15^1/_2$ милл. марокъ—около $7^1/_2$ милл. рублей. Какъ видимъ, торговля Московскаго государства середины XVII вѣка не уступала торговлѣ ганзейскаго союза XIV, и Москва торговала вдвое шибче, чѣмъ средневѣковой Любекъ. Въ то же время на каждаго россійскаго обывателя конца XIX вѣка приходилось торговаго оборота на 7 р. 70 коп., а на каждаго подданнаго царя Михаила Ѳеодоровича всего около 65 коп. Московское государство далеко уже не было страною „натуральнаго“ хозяйства, но концентрація капитала въ царской казнѣ далеко превышала концентрацію его въ частныхъ рукахъ: и московскіе „гости“ были представителями торговаго капитализма не столько по своимъ личнымъ достаткамъ, сколько какъ царскіе агенты или откупщики казенныхъ доходовъ. Всѣ казенныя монополіи фактически были въ ихъ рукахъ—и по поводу, напримѣръ, торговли хлѣбомъ, голландскимъ уполномоченнымъ приходилось разговаривать не столько съ боярами и дьяками, сколько съ гостемъ Надѣемъ Свѣтешниковымъ. „Гости—царскіе коммерціи совѣтники и факторы, они неограниченно правятъ торговлей во всемъ государствѣ“, говоритъ неоднократно нами цитированный иностранный наблюдатель русской торговли XVII вѣка (Кильбургеръ). „Они разсѣяны по всему государству и во всѣхъ мѣстахъ по своему званію пользуются привилегіей покупать первыми, хотя бы они дѣйствовали и не за царскій счетъ. Такъ какъ они одни, однако же, не въ состояніи справиться со столь широко раскинувшейся торговлей, то во всѣхъ городахъ у нихъ есть подставныя лица, въ лицѣ двухъ или трехъ изъ проживающихъ тамъ виднѣйшихъ купцовъ, которые въ качествѣ царскихъ факторовъ пользуются привилегіями гостей, хотя не носятъ этого имени, и ради своей частной корысти всюду причиняютъ различныя стѣсненія торговлѣ. Простые

купцы замѣчаютъ и знаютъ это очень хорошо, говорятъ о гостяхъ плохо, и можно опасаться, что, въ случаѣ возстанія, чернь всѣмъ гостямъ свернетъ шею".

Какъ ремесленники XVI—XVII вѣковъ были зачаткомъ мелкой буржуазіи въ Россіи, такъ „гости" были зачаткомъ буржуазіи крупной. Въ Московскомъ государствѣ этой эпохи намѣчаются уже, такимъ образомъ, общественные классы — московское общество было классовымъ обществомъ. Привыкнувъ считать московскую Русь исключительно боярской и дворянской страной, историки долго не замѣчали нашей старинной буржуазіи, какъ общественной силы. Выходило такъ, что правили исключительно землевладѣльцы, какъ и въ древнѣйшій періодъ. „Посадскіе" (городское населеніе) изображались, какъ забитый, задавленный элементъ общества, который только и дѣлалъ, что терпѣлъ всякія напасти и всяческое угнетеніе отъ своихъ дворянскихъ правителей. Теперь больше рисовать такой картины нельзя. Мы сейчасъ видѣли, что иностранцамъ, видавшимъ Москву XVII вѣка, гости представлялись угнетателями, а не угнетенными,—а еще раньше мы видѣли, что „гости" играли большую роль въ финансовомъ управленіи: отъ нихъ зависѣла раскладка такого важнаго налога, какъ „пятая деньга". Люди, имѣвшіе такое большое значеніе въ повседневномъ быту, должны были явиться серьезной политической силой въ критическія минуты существованія Московскаго государства. Такъ и было: ни при одномъ переворотѣ въ Москвѣ, въ XVI—XVII вѣкахъ, и даже ранѣе, дѣло не обходится безъ участія буржуазіи. Уже въ XIV вѣкѣ, при нападеніи на Москву Тохтамыша, городъ защищаютъ „посадскіе"— безъ князя, потому что Дмитрій Ивановичъ Донской бѣжалъ на сѣверъ; въ слѣдующемъ столѣтіи захватъ Иваномъ III Новгорода сопровождался такими шагами московскаго правительства (переводъ новгородскихъ купцовъ насильно въ Москву и закрытіе нѣмецкаго двора), которые ясно показываютъ буржуазную подкладку всей московской политики въ этомъ вопросѣ: недаромъ расправа съ новгородцами была такъ популярна среди москвичей. Но полнаго расцвѣта вліяніе московской буржуазіи достигаетъ при

внукѣ Ивана III, Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ. То, что раньше изображалось, какъ результатъ дворовыхъ интригъ при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается крупными народными движеніями, при чемъ „народъ“ здѣсь—это именно буржуазное населеніе Москвы, московскіе „посадскіе“. Опираясь на нихъ, держались такъ досадившіе Грозному въ юности его опекуны, князья Шуйскіе: семья Шуйскихъ, владѣвшая множествомъ промышленныхъ вотчинъ въ нынѣшней Владимірской губерніи, всегда была тѣсно связана съ буржуазными кругами. Когда Шуйскіе были низвергнуты, московскій посадъ, въ свою очередь, низвергъ и убилъ ихъ враговъ и преемниковъ, князей Глинскихъ: этотъ московскій бунтъ 1547 года былъ исходной точкой такъ называемыхъ „реформъ Грознаго“. Въ томъ переворотѣ 1564 года, который избавилъ Грознаго отъ опеки боярства, московская буржуазія принимала самое живое участіе. Къ ней была обращена царская грамота, обличавшая бояръ въ разныхъ злоупотребленіяхъ: лѣтопись опредѣленно говоритъ, что Грозный прислалъ грамоту „къ гостямъ и къ купцамъ и ко всему православному христіанству города Москвы“, и читали грамоту „передъ гостями и передъ всѣми людьми“. Когда въ результатѣ государственнаго переворота 1564 года была учреждена опричина, всѣ крупные торговые города были причислены къ ней, а вскорѣ послѣ верхушки московскаго купечества получили и спеціальную награду: въ 1566 г. „царь и великій князь отпустили со своею бологодѣтью отъ своей казны своихъ гостей и купцовъ въ поморскія государства“—въ Антверпенъ, въ Персію и въ Англію. Это одно изъ первыхъ указаній на тѣсныя связи московской царской казны и московскаго торговаго капитала, какое мы встрѣчаемъ. При преемникахъ Грознаго вліяніе крупнаго московскаго купечества еще усиливается—въ 1587 г., напримѣръ, „гости“ вмѣшиваются въ весьма деликатное дѣло о разводѣ Ѳеодора Ивановича съ его женою, царицей Ириною, сестрой Годунова. При неудачѣ этого дѣла нѣкоторые изъ „гостей“ поплатились своими головами—но самая попытка купцовъ вмѣшаться въ царскія семейныя дѣла показываетъ, какъ велико было ихъ политическое значеніе. Ихъ противникъ въ этомъ именно

дѣлѣ, Борисъ Годуновъ, самъ былъ тѣсно связанъ съ коммерческими кругами, какъ мы видѣли выше, а еще тѣснѣе былъ съ ними связанъ царь Василій Шуйскій. Этого и на престолъ посадило купечество—„купцы, сапожники и пирожники“ были, по презрительному отзыву одного иностранца, главными дѣйствующими лицами при избраніи Шуйскаго царемъ. Четыре года помощью „посадскаго“ населенія Шуйскій держался противъ своихъ враговъ,—какъ онъ самъ это признался, разсылая похвальныя грамоты волжанамъ, бѣлозерцамъ, устюжанамъ, каргопольцамъ, сольвычегодцамъ, тотьмичамъ, важанамъ, двинянамъ, костромичамъ, галичанамъ, вятчанамъ „и иныхъ разныхъ городовъ старостамъ и посадскимъ людямъ“. Перечень городовъ любопытенъ съ точки зрѣнія коммерческой географіи Московскаго государства: мы видимъ сплошь города *сѣверные*, расположенные по воднымъ путямъ отъ Москвы къ Бѣлому морю. Со времени „открытія“ англичанами Россіи, въ XVI столѣтіи, и до Петра Великаго, вся русская заграничная торговля шла черезъ Архангельскъ—Сѣверная Двина была самымъ бойкимъ торговымъ путемъ, и нынѣшнія Архангельская и Вологодская губерніи—мѣстностями наиболѣе развитого денежнаго хозяйства. Въ этомъ отношеніи съ Двиною могла поспорить только Волга—такая же столбовая дорога на Востокъ, къ Каспійскому морю, и Сибирь, съ ея мѣховыми богатствами, какъ Двина на западъ, въ Европу. Когда сѣверные города были окончательно истощены, а Московскій посадъ бросилъ Шуйскаго, онъ палъ, и на царскомъ престолѣ временно утвердился боярско-дворянскій кандидатъ, царевичъ Владиславъ: но и при немъ „гости“ продолжали держаться у власти, и „торговый мужикъ“ Ѳедоръ Андроновъ былъ самымъ вліятельнымъ лицомъ въ государствѣ, къ великой зависти и конфузу бояръ и дворянъ. А во главѣ сопротивленія Владиславу стали теперь города *поволжскіе*, на первомъ мѣстѣ Нижній-Новгородъ: они и сформировали ополченіе, выгнавшее изъ Москвы поляковъ и посадившее на царство Михаила Ѳеодоровича Романова. Какъ говоритъ одна современная грамота, „въ Нижнемъ Новгородѣ *гости* и всѣ земскіе *посадскіе люди*, ревнуя по Богѣ, по православной христіан-

ской вѣрѣ, не пощадя своего имѣнія, дворянъ и дѣтей боярскихъ смольянъ и иныхъ многихъ городовъ сподобили неоскуднымъ денежнымъ жалованьемъ". При этомъ роль „всѣхъ земскихъ посадскихъ людей", ремесленной массы, была болѣе пассивная: во главѣ движенія мы всегда встрѣчаемъ „гостей", откупщиковъ и тому подобныхъ представителей торговаго капитала. Политическое значеніе этого послѣдняго засвидѣтельствовано каждой страницей исторіи Смуты, и самымъ выразительнымъ памятникомъ этого значенія осталась присяга, данная царемъ Василіемъ Ивановичемъ Шуйскимъ: „у гостей и у торговыхъ людей, хотя который по суду и по сыску дойдетъ и до смертной вины, и послѣ ихъ у женъ и у дѣтей дворовъ и лавокъ и животовъ не отнимать, будетъ съ ними они въ той винѣ невинны". Этимъ на московское купечество распространялась привилегія, которой изъ подданныхъ московскаго царя пользовалось только боярство: какъ у боярина вотчину, такъ нельзя было по произволу отнять у купца его лавку[1])

Вліятельный внутри государства, торговый капиталъ былъ едва ли не еще болѣе вліятельнымъ во внѣшней политикѣ. Объектомъ этой послѣдней для Московскаго, какъ и для всякаго средневѣковаго, государства были или захватъ новыхъ земель или захватъ торговыхъ путей. Въ первомъ случаѣ она отвѣчала классовымъ интересамъ землевладѣльцевъ, бояръ и дворянъ: такой войной были казанскіе походы Грознаго и всѣ войны съ Литвой и Польшей, и тогда, и раньше, и послѣ. Если торговые интересы въ нихъ и были замѣшаны, то на второмъ планѣ. Но въ XVI вѣкѣ мы имѣемъ большую войну, ливонскую войну Грознаго, гдѣ торговый интересъ игралъ самую главную роль, ибо это была война не столько за новыя земли, сколько за балтійскія гавани, одна изъ которыхъ, Нарва, уже тогда очень много значила для русскаго экспорта. Но Грозный хотѣлъ захватить и Ревель,—а если можно, и Ригу. Обшир-

[1]) Изъ дальнѣйшаго читатель увидитъ, что практическаго значенія дарованная Шуйскимъ гарантія не имѣла—ни для бояръ, ни для купцовъ: но для насъ важно, что тѣ и другіе юридически были поставлены на одну доску. См. отдѣлъ II.

ность плана и была причиной его неудачи: ни Польша, ни Швеція не могли помириться съ тѣмъ, чтобы юго-восточное побережье Балтійскаго моря перешло къ Москвѣ. Послѣдней пришлось вести не одну, а много войнъ, и съ тою и съ другою, прежде, чѣмъ надежды московскаго купечества XVI вѣка стали совершившимся фактомъ. Но, пока этого не случилось, московская политика полтораста лѣтъ подъ-рядъ неоднократно возвращалась къ этой задачѣ. И величайшая изъ русскихъ войнъ XVII—XVIII вѣковъ, такъ называемая Великая Сѣверная война, вдохновлялась именно торговой идеей, формулированной за пятьдесятъ лѣтъ до нея однимъ торговымъ человѣкомъ, хотя не русскимъ, но хорошо понимавшимъ коммерческія отношенія, существовавшія въ ту пору на востокѣ Европы. Этимъ человѣкомъ былъ шведскій торговый агентъ де-Родесъ, еще въ 1650-хъ годахъ доказывавшій своему, шведскому, правительству, насколько болѣе было бы въ интересахъ торговаго капитала, чтобы заграничная торговля Россіи шла черезъ Балтику, а не черезъ Бѣлое море, какъ это тогда было на дѣлѣ. На Бѣломъ морѣ, гдѣ навигація возможна только 3—4 мѣсяца въ году, капиталъ могъ обернуться только однажды въ годъ, а на Балтійскомъ, гдѣ навигація прерывается только на 3—4 мѣсяца, капиталъ могъ имѣть въ теченіе года двойной или тройной оборотъ—принимая во вниманіе, что и разстояніе отъ береговъ Балтики до портовъ западной Европы вдвое менѣе, чѣмъ отъ Архангельска. Де-Родесъ заботился объ интересахъ шведской торговли, но его теорія совершенно годилась и для русской, и русскіе сумѣли ее использовать въ своихъ интересахъ лучше, чѣмъ шведы. По ништадскому миру (1721 г.), и Рига, и Ревель стали русскими городами, на Финскомъ заливѣ сталъ новый русскій портъ, Петербургъ, и старый кружный путь черезъ Архангельскъ былъ заброшенъ — планъ де-Родеса осуществился. Въ то же время торговые интересы начинаютъ не только вліять на русскую политику, но прямо господствовать въ ней: при Петрѣ Россія опредѣленно вступаетъ на путь меркантилизма,—путь, намѣтившійся, впрочемъ, уже при его отцѣ. „Во всѣхъ окрестныхъ государствахъ свободные и прибыльные торги счита-

ются между первыми государственными дѣлами; остерегаютъ торги съ великимъ береженьемъ и въ вольности держатъ для сбора пошлинъ и для всенародныхъ пожитковъ мірскихъ", писалъ въ новомъ торговомъ уставѣ Ординъ-Нащокинъ въ 1667 году. Дѣйствительно ли торговля — и притомъ заграничная, которую, главнымъ образомъ, имѣлъ въ виду Уставъ—имѣла такое капитальное значеніе для русскаго народнаго хозяйства—„всенародныхъ мірскихъ пожитковъ"—это другой вопросъ: но что русскіе политическіе дѣятели того времени вдохновлялись интересами торговли и были орудіемъ въ рукахъ крупной буржуазіи, это Нащокинъ доказалъ всей своею дѣятельностью въ достаточной мѣрѣ.

Но сознательное отношеніе къ экономическимъ вопросамъ вовсе не составляло привилегіи офиціальныхъ круговъ, къ которымъ принадлежалъ Нащокинъ. И онъ далеко не былъ первымъ, кто объ этихъ вопросахъ началъ разсуждать. Первымъ, хронологически, памятникомъ экономической мысли въ Россіи былъ извѣстный „Домострой"—сочиненіе или, по крайней мѣрѣ, компиляція духовника Ивана Грознаго, протопопа Сильвестра. Изъ болѣе интимнаго и несомнѣнно принадлежащаго послѣднему „Посланія и наказанія отъ отца къ сыну" мы знаемъ, что протопопъ былъ крупнымъ коммерсантомъ. На него работало множество всякаго рода ремесленниковъ—„иконники, книжные писцы, серебряные мастера, кузнецы, плотники, каменщики, кирпичники, стѣнщики и всякіе рукодѣльники"; онъ ихъ кредиговалъ, а они должны были расплачиваться съ нимъ или готовыми издѣліями, какъ ремесленники въ тѣсномъ смыслѣ, напримѣръ, иконописцы, или своимъ трудомъ—какъ строительные рабочіе. Въ „Посланіи" мы встрѣчаемъ, такимъ образомъ, впервые на Руси, производство на скупщика—ту раннюю форму промышленнаго капитализма, которая составляетъ теперь основу такъ называемыхъ „кустарныхъ промысловъ". Передовой по своему времени предприниматель, протопопъ Сильвестръ, былъ, что еще болѣе любопытно, первымъ насадителемъ у насъ коммерческаго и техническаго образованія. Онъ обучалъ сиротъ и дѣтей своихъ холоповъ „всякимъ многимъ рукодѣліямъ—

и иныхъ всякими многими торговлями научилъ торговать". Одни изъ его воспитанниковъ стали ремесленниками и лавочниками, а другіе поднялись и до заграничнаго торга: „многіе гостьбу дѣютъ, въ различныхъ земляхъ, всякими торговлями". Съ иноземцами велъ торгъ и самъ протопопъ. У такого человѣка мы должны ожидать максимума экономической сознательности для своей эпохи. И дѣйствительно, Сильвестръ много разсуждаетъ на экономическія темы, и въ посланіи, и въ Домостроѣ. Но эти разсужденія свидѣтельствуютъ, что практика у насъ, какъ всюду, опережала теорію. Нашъ крупный предприниматель XVI вѣка еще съ чисто средневѣковой пугливостью относится къ кредиту: онъ хвастается тѣмъ, что никому не далъ на себя кабалы, т.-е. векселя. „Прасолъ", скупщикъ (а онъ самъ былъ такимъ прасоломъ!) въ его глазахъ существо зловредное, котораго нужно остерегаться: у него поневолѣ и худое за хорошее купишь, да еще втридорога дашь. И Домострой настойчиво предупреждаетъ своего читателя, при каждомъ удобномъ случаѣ, что закупать все нужно изъ первыхъ рукъ, непосредственно у самихъ производителей. Но самому не слѣдуетъ упускать случая нажиться на перепродажѣ: „а коли чего изобильно запасено въ дешевую пору, такъ во время дороговизны можно и продать; ино самъ ѣлъ, и пилъ, и носилъ даромъ— а деньги опять дома!" Въ общемъ мы, однако, не найдемъ у Силивестра ясно формулированнаго понятія торговой прибыли. Домострой—памятникъ экономической идеологіи городского, ремесленнаго хозяйства, хотя самъ Сильвестръ на практикѣ былъ уже представителемъ торговаго капитализма. Зато торговля ради прибыли отчетливо рисуется другому писателю, такому же самородному экономисту, какъ и Сильвестръ, но стоящему не въ началѣ, а въ концѣ изучаемаго періода — современнику Петра В., Посошкову. Онъ уже не ограничивается совѣтами—перепродавать съ барышомъ, что дома оказалось лишнимъ, а рекомендуетъ торговать и тѣмъ, чего самъ не употребляешь—производить исключительно ради торговли. Въ Россіи можно разводить табакъ, такъ строго осуждавшійся добродѣтельными людьми московской Руси: отчего бы намъ не завести

„табачные заводы, и столько оы намъ можно его напасти, что за море кораблями можно было бы его отпускать". Въ Россіи онъ обойдется не дороже копейки фунтъ, а за границей его продаютъ по тридцати копеекъ: „намъ такъ можно его размножить, что милліонная отъ него прибыль будетъ". И Посошковъ не чуждъ воспоминаній о ремесленномъ производствѣ: онъ бредитъ иногда „справедливой цѣной", осужденной еще московскими калачниками временъ Михаила Ѳеодоровича, и съ любовью вырисовываетъ рядъ совершенно дѣтскихъ полицейскихъ мѣропріятій, имѣющихъ цѣлью принудить купцовъ брать „настоящую цѣну". Но онъ уже не боится кредита и толкуетъ о ссудахъ купцамъ, за 6%, изъ царской казны: практически, мы знаемъ, такія ссуды получали купцы уже при Иванѣ Грозномъ, а теорія добралась да нихъ только при Петрѣ В. У него уже ясно намѣчается тотъ пунктъ, гдѣ торговый капитализмъ переходитъ въ промышленный. „Кои матеріалы гдѣ родятся, тамо бы и въ дѣло происходили. Если бы ленъ и пеньку, за море не возя, дѣлать тутъ, гдѣ что родилось, то полотно обходилось бы вдвое или втрое дешевле заморскаго, а люди бы россійскіе богатились". Центральная мысль развитого меркантелизма—такъ называемаго „кольбертизма"—что нужно сбывать за границу не сырье, а фабрикаты, была уже отчетливо осознана при Петрѣ, и теорія здѣсь опять только съ трудомъ поспѣвала за практикой: изучая развитіе промышленнаго капитализма въ Россіи, мы увидимъ, что вся система петровскихъ мануфактуръ была направлена на завоеваніе заграничнаго рынка. И въ тѣ дни, когда самъ царскій дворъ походилъ на купеческую контору, совсѣмъ не новостью звучалъ панегирикъ Посошкова тому самому прасолу, отъ котораго такъ пугливо сторонился еще прасолъ Сильвестръ. Но, неновыя сами по себѣ, слова Посошкова заслуживаютъ того, чтобы ихъ привести, какъ памятникъ самосознанія, до котораго поднялась русская буржуазія на порогѣ XVII и XVIII вѣковъ: „Безъ купечества никакое не только великое, но и малое царство стоять не можетъ. Купечество и воинству товарищъ: воинство воюетъ, а купечество помогаетъ и всякія потребности ему уготовляетъ... Какъ душа безъ тѣла не

можетъ быть, такъ и воинство безъ купечества пробыть не можетъ. И царство воинствомъ расширяется, а купечествомъ украшается". Никогда эти слова не были такъ кстати, какъ во время Великой Сѣверной войны. Только параллель Посошкова, безъ ущерба для исторической истины, можно бы перевернуть: въ петровской политикѣ роль души приходилась на долю купечества, а воинство было тѣломъ, той матеріальной силой, которая „уготовляла потребности" торговому капиталу.

Библіографія.

Для исторіи русской торговли, кромѣ соотвѣтствующихъ главъ въ упоминавшихся выше трудахъ Аристова, Довнаръ-Запольскаго и Никитскаго, занимающихся торговлей до-московскаго періода, спеціально для послѣдняго основнымъ пособіемъ является „Очеркъ торговли Московскаго государства" Костомарова (томъ XX „Историческихъ монографій и изслѣдованій"). Написанный въ 1862 году, „Очеркъ" въ смыслѣ свѣжести матеріала стоитъ на одномъ уровнѣ съ книгой Аристова. Имя Костомарова не должно обманывать читателя: превосходный разсказчикъ тамъ, гдѣ приходилось излагать событія, Костомаровъ былъ совсѣмъ не мастеръ рисовать широкія культурныя картины. „Очеркъ", за исключеніемъ нѣсколькихъ страницъ повѣствовательнаго характера, очень сухая книга, годная болѣе для справокъ, чѣмъ для чтенія. Анализъ совершенно отсутствуетъ,—фактическій матеріалъ сведенъ въ нѣсколько рубрикъ чисто внѣшняго характера, напр.: „предметы царства ископаемаго", „предметы царства растительнаго" и т. под. Для отдѣльныхъ сторонъ „накопленія": о княжескихъ капиталахъ много но не всегда удачно, говоритъ проф. Довнаръ-Запольскій; о роли монастырей, кромѣ соотвѣтствующихъ мѣстъ въ книгѣ проф Рождественскаго: „Служилое землевладѣніе въ Московскомъ государствѣ XVI в." Спб. 1897, (оттуда взяты приведенные въ текстѣ примѣры экспропріаціи монастырями удѣльныхъ династій), см. особенно превосходно написанный маленькій очеркъ Ключевскаго: „Хозяйственная дѣятельность Соловецкаго монастыря" (написанный еще въ 60-хъ годахъ, перепечатанный въ „Опытахъ и изслѣдованіяхъ", Москва 1912) Ни тотъ, ни другой не ставятъ себѣ спеціальной задачей изслѣдованія роли монастыря и вообще церкви, какъ банкира. О значеніи земельной ренты можно читать въ книгѣ П. И. Лященко: „Очерки аграрной эволюціи Россіи", т. I, Спб. 1908 (глава II—гдѣ есть и вообще о торговомъ капиталѣ въ московской Руси). Данныя о размѣрахъ торговыхъ оборотовъ и торговаго капитала въ Московскомъ государствѣ первой половины XVII в. заимствованы изъ статьи г. Сташевскаго „Пятина 142 года и торго-промышленные центры Московскаго государства" (Журн. Министр. Народн. Просвѣщенія, 1912 г. апрѣль—май). Пере

водъ цѣнъ XVI—XVII вв. на современныя сдѣланъ, очень приблизительно, на основаніи извѣстнаго изслѣдованія Ключевскаго о русскомъ рублѣ XV—XVIII вв. (перепечатано въ названномъ изданіи „Опыты и изслѣдованія"), и имѣющихся въ литературѣ данныхъ о количествѣ серебра въ русскомъ рублѣ различныхъ эпохъ, ибо у Ключевскаго дана сравнительная покупная сила не реальныхъ, металлическихъ рублей, а монетныхъ единицъ, носившихъ названіе „рубль" и вѣсившихъ въ XV, напр., вѣкѣ нѣсколько менѣе четверти фунта, въ XVI—$^1/_6$ фунта, и т. д.—пока, въ началѣ XVIII, онѣ не приблизились къ теперешнему вѣсу. О Посошковѣ см. Брикнера: „Иванъ Посошковъ. I. Посошковъ, какъ экономистъ". Спб. 1876. Цѣнны, почти исключительно, однѣ цитаты. Тамъ же и о Домостроѣ, во введеніи. Для заграничной торговли, которой мы почти не касаемся въ настоящемъ очеркѣ, см. обстоятельное изложеніе Никитскаго, для древнѣйшей эпохи, и XIV-ю главу тома III нашей „Русской исторіи съ древнѣйшихъ временъ", для московской эпохи; кромѣ цитированнаго тамъ изслѣдованія Кордта о русско-голландской торговлѣ XVII вѣка (116-й томъ Сборника Русскаго Историческаго Общества), теперь можно назвать еще книгу г-жи Любименко объ англійской компаніи въ Москвѣ въ XVI вѣкѣ.

4.

Крѣпостное хозяйство.

Уже къ восемнадцатому вѣку торговый капиталъ въ Россіи вполнѣ завладѣлъ процессомъ обмѣна. Но производство стало у насъ капиталистическимъ лишь гораздо позже—не ранѣе второй половины девятнадцатаго столѣтія. До этого времени, въ промежуткѣ, хронологическими границами котораго являются, съ одной стороны, реформы Петра (1690—1720 г.г.), съ другой—реформы Александра II (1860—1870 гг.), въ Россіи господствовалъ смѣшанный типъ хозяйства: на капиталистическихъ началахъ обмѣнивались продукты не капиталистическаго, ремесленнаго производства—преимущественно продукты крестьянскаго труда. Крестьянинъ, самостоятельный мелкій производитель, продавалъ добытое имъ сырье—хлѣбъ, ленъ, пеньку и т. под.—купцу, который, сосредоточивая въ своихъ рукахъ массу этого сырья, являлся уже не мелкимъ, а крупнымъ сбытчикомъ. Крестьянинъ и раньше, какъ мы знаемъ, работалъ не только для собственнаго потребленія, но и для рынка.

Но это былъ мелкій мѣстный рынокъ, на который крестьянинъ являлся со своими продуктами самъ и продавалъ ихъ тѣмъ, кто въ нихъ нуждался, безъ посредниковъ: если при этой торговлѣ и получался какой-нибудь „торговый барышъ", онъ попадалъ въ карманъ тому же крестьянину. Притомъ этотъ барышъ былъ случайностью: какъ общее правило, ремесленное производство не знало прибыли. Цѣлью всей дѣятельности купца была именно прибыль. Чтобы получить ее, онъ долженъ былъ покупать какъ можно дешевле, продавать какъ можно дороже. Сырье, дешевое въ Россіи, было уже очень дорого тогда въ Западной Европѣ и, до 20-хъ годовъ XIX вѣка, все дорожало: пшеница, напримѣръ, стоившая въ Англіи въ восемнадцатомъ столѣтіи средней цѣною $40^2/_3$ шиллинга за квартеръ (около 12 русскихъ пудовъ), въ 1801—10 гг. стоила уже 74 шиллинга, въ 1811—20 уже 87,5 шиллинга и лишь къ 1821—30 упала до 59,3 шилл. за квартеръ, т.-е. все же оставалась почти въ полтора раза дороже среднихъ цѣнъ восемнадцатаго вѣка. Ниже этихъ послѣднихъ она спустилась только къ концу девятнадцатаго столѣтія (1881—90 гг. 35,8 шилл. за квартеръ, 1891—95 даже 27,9 шилл.). Совершенно естественно, что русская торговля сырьемъ въ XVIII—XIX вв. стремилась стать все болѣе и болѣе заграничной торговлей: внутренняя торговля у насъ была уже достаточно развита во второй половинѣ XVIII в., но крупно-капиталистическій характеръ она пріобрѣтаетъ только съ появленіемъ парового транспорта, преимущественно послѣ 1861 года. Ранѣе этого, русскій купецъ-капиталистъ—главнымъ образомъ экспортеръ, или человѣкъ, такъ или иначе работающій для экспорта. Оставаясь въ предѣлахъ того же примѣра, пшеницы, мы для роста русскаго экспорта имѣемъ такія цифры: 1801 г. 6.836.000 пудовъ; 1820—13.873.000 пуд.; 1830—25.506.000 пуд.; затѣмъ, подъ вліяніемъ паденія цѣнъ съ 20-хъ годовъ, вывозъ начинаетъ падать—и до 1850 года остается на уровнѣ 20—25 милліоновъ пудовъ ежегодно; съ новымъ подъемомъ цѣнъ въ 40-хъ годахъ вывозъ достигаетъ 41.911.000 пуд. въ 1860 г. и 96.594.000 пуд. въ 1870-мъ. За семьдесятъ лѣтъ вывозъ пшеницы изъ Россіи увеличился, такимъ образомъ, въ пятнадцать разъ. Но купцу-капиталисту нужно было,

какъ мы сказали, не только возможно дороже продавать, а и возможно дешевле покупать: онъ стремился отобрать продуктъ у крестьянина по минимальной цѣнѣ. Само собою разумѣется, что было бы странно ожидать отъ крестьянина уступчивости въ этомъ вопросѣ по его, крестьянина, доброй волѣ. Его нужно было заставить продавать свой хлѣбъ за грошъ. Отчасти этого достигало косвенными мѣрами государство,—какъ мы видѣли, находившееся подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ торговаго капитализма: съ вѣдома и разрѣшенія государства откупщики спаивали народъ, пропивавшій при этомъ не только хлѣбъ, но и всякое вообще свое имущество. Но на подобныхъ вспомогательныхъ средствахъ хозяйство торговаго капитализма держаться, конечно, не могло: ему нужна была система. Эту систему онъ нашелъ готовой въ лицѣ крѣпостного права. Помѣщикъ охотно взялся выжимать изъ крестьянина „прибавочный продуктъ“— на условіи, конечно, „участія въ прибыляхъ“. Помѣщикъ получалъ добрую долю торговаго барыша въ свою пользу (купцы жаловались, что даже слишкомъ добрую—имъ мало оставалось), а за это поставлялъ на рынокъ до возможнаго предѣла удешевленный хлѣбъ. Это была далеко не такая простая операція—пришлось приспособить весь механизмъ помѣщичьяго хозяйства къ этой цѣли, превративъ имѣніе въ „фабрику для производства хлѣба“. Такимъ путемъ на русской почвѣ сложился совершенно своеобразный типъ хозяйства. Именно его застала реформа 19 февраля: когда мы говоримъ о „крѣпостномъ правѣ“, именно его мы вспоминаемъ, какъ наиболѣе къ намъ близкій и намъ знакомый образчикъ крѣпостного права. Отсюда и будетъ правильно назвать этотъ типъ крѣпостнымъ хозяйствомъ по преимуществу.

Когда мы теперь стараемся себѣ представить большое барское хозяйство крѣпостной эпохи, намъ рисуется картина огромнаго предпріятія—множество рабочаго скота, машинъ и т. д., только вмѣсто наемныхъ батраковъ около всего этого хлопочутъ крѣпостные, не нанятые, а купленные владѣльцемъ предпріятія. Нѣтъ спору, что мечта о такомъ хозяйствѣ не была чужда нашимъ старинным помѣщикамъ. Среди нихъ встрѣчались такіе, которые не прочь были бы

всѣхъ своихъ крестьянъ превратить въ крѣпостныхъ батраковъ—не оставить имъ ни пяди земли, поселивъ ихъ всѣхъ при усадьбѣ и выдавая имъ продовольствіе отъ себя. Такія картинки мы встрѣчаемъ и въ художественной литературѣ конца XVIII вѣка, напримѣръ, у Радищева, и у тогдашнихъ писателей-агрономовъ, напримѣръ, у Рычкова. Съ другой стороны, изъ переписки Ростопчина мы знаемъ о попыткахъ помѣщиковъ начала девятнадцатаго столѣтія выписывать изъ-за границы усовершенствованныя сельскохозяйственныя орудія, машины и машинистовъ. Много чертежей и описаній такихъ машинъ—тогда еще не съ паровымъ, а съ коннымъ приводомъ—можно найти въ тогдашнихъ „Трудахъ вольнаго экономическаго общества“. Но все это, какъ и печатавшіеся въ тѣхъ же Трудахъ проекты освобожденія крѣпостныхъ, было исключеніемъ, а не правиломъ. Интенсивное крупное хозяйство, какъ массовое явленіе, не старѣе у насъ 1860-хъ годовъ. Ранѣе этого помѣщичье замледѣліе было настолько мало интенсивно, что даже такая элементарная мѣра, какъ удобреніе, примѣнялось далеко не вездѣ. На нечерноземномъ сѣверѣ къ этому вынуждало качество почвы; какъ только лѣса бывали сведены и подсѣчное хозяйство оказывалось невозможнымъ, быстро являлся вопросъ, какъ же заставить землю родить хлѣбъ? Первоначальнымъ удобреніемъ служила зола выжженнаго подъ пашню лѣса: какъ только ея не стало, пришлось искать ей замѣстителей, и покупка навоза, ради удобренія, встрѣчается намъ, въ единичныхъ случаяхъ, уже въ концѣ XVII вѣка. Агрономы второй половины слѣдующаго столѣтія говорятъ о ней, какъ объ обычномъ явленіи, но еще не менѣе обычно было и то, что крестьянская земля, особенно дальнія полосы, не удобрялась вовсе. Это въ нечерноземной полосѣ, гдѣ хлѣбъ, какъ правило, не шелъ дальше мѣстнаго рынка. Но настоящимъ райономъ „хлѣбныхъ фабрикъ“ были черноземныя губерніи, и здѣсь даже въ 40-хъ годахъ XIX столѣтія удобренія еще не знала не только крестьянская, но и барская земля. Нѣмецкій путешественникъ Гакстгаузенъ, ѣздившій по Россіи въ половинѣ 40-хъ годовъ, подробно описываетъ одно образцовое имѣніе Казанской губерніи, хозяинъ котораго, вдобавокъ, былъ

нѣмецъ. У него на скотномъ дворѣ стояло всего нѣсколько коровъ, для молока,—а земли запахивалось ежегодно не меньше нѣсколькихъ сотъ десятинъ. Гакстгаузенъ не безъ удивленія отмѣчаетъ эту особенность русскаго образцоваго хозяйства, и при этомъ добавляетъ, что на черноземѣ это вездѣ такъ: нигдѣ не держатъ скота для удобренія, а только ради молока или какъ рабочую силу. О примѣненіи машинъ не въ видѣ опыта, а постоянно, дѣловымъ образомъ, въ крѣпостныхъ имѣніяхъ, мы ничего не слышимъ ни отъ Гакстгаузена, ни отъ другихъ очевидцевъ. По справедливому замѣчанію одного русскаго агронома временъ Александра I, „первымъ, да и единственнымъ капиталомъ“ тогдашняго помѣщика были его крѣпостные крестьяне. Къ утилизаціи рабочей силы этихъ послѣднихъ сводилась вся техника крѣпостного хозяйства. Ростъ прибавочнаго продукта достигался не тѣми или другими химическими или механическими усовершенствованіями, а исключительно эксплуатаціей самой личности крѣпостного работника. Кто читалъ, въ теперешнихъ газетахъ, о системѣ Тайлора (иначе „хронометражѣ“), тотъ можетъ довольно живо представить себѣ основную черту описываемой нами хозяйственной системы. Тайлоръ старается, какъ извѣстно, въ минимумъ времени извлечь изъ работника максимумъ „полезнаго“ труда—не путемъ усовершенствованія машинъ и т. под., а путемъ „усовершенствованія“ мускуловъ и нервовъ самого работника, такъ, чтобы этотъ послѣдній самъ, лично, представлялъ собою идеальный рабочій механизмъ. Теоретики крѣпостнаго хозяйства работали надъ тою же самой задачей: только они имѣли дѣло не съ индивидуальнымъ работникомъ, а съ тягломъ, т.-е. съ крестьянской семьей. Ибо опорой крѣпостного хозяйства, его, такъ сказать, основной ячейкой, была именно крестьянская семья, иначе говоря,—мелкое самостоятельное крестьянское хозяйство. Къ болѣе или менѣе искусной организаціи повинностей крестьянской семьи сводилась вся „наука“ крѣпостной агрономіи—этой темѣ въ XVIII и первой половинѣ XIX в. посвящались цѣлые

Въ центрѣ этихъ повинностей стояла барщина. Уже въ предшествующій періодъ часть земли въ деревнѣ пахо-

лась крестьянами не для себя, а на барина. Но сначала эта часть была очень невелика, и барская пашня не имѣла никакого коммерческаго значенія. Собиравшійся на ней хлѣбъ шелъ отчасти на потребленіе самого барина съ его дворней, отчасти, можетъ быть, и на мѣстный рынокъ—наравнѣ съ крестьянскимъ хлѣбомъ: но размѣры барской пашни XV и даже XVI столѣтія ясно показываютъ, что дѣло тутъ шло не о „сельскохозяйственномъ предпріятіи“, во всякомъ случаѣ. У самаго богатаго боярина, какого только мы находимъ въ новгородскихъ писцовыхъ книгахъ, собственной запашки было всего $37^1/_2$ десятинъ. Въ церковныхъ и дворцовыхъ селахъ временъ Грознаго и его отца крестьяне пахали на барина одну десятину изъ пяти, или даже изъ шести. Къ концу XVI вѣка размѣры боярской пашни замѣтно увеличиваются и доходятъ, въ отдѣльныхъ случаяхъ, до 50% всей площади пахотной земли. Въ первой половинѣ XVIII вѣка пахать „десятину на десятину“ считалось максимумомъ: извѣстный историкъ Татищевъ, составившій въ 1742 году „краткія экономическія до деревни слѣдующія записки“, требуетъ, чтобы каждое тягло („мужъ съ женою“) сработало на помѣщика „въ каждомъ полѣ по десятинѣ“ (у Татищева была четырехпольная система); „притомъ смотрѣть, чтобы не менѣе крестьянину досталось земли мужу съ женою десятины въ полѣ“. Во второй половинѣ этого столѣтія не менѣе извѣстный авторъ мемуаровъ, Болотовъ, считалъ 50% барской пашни средней нормой, если не минимумомъ. „По большей части почитается за правило,—писалъ Болотовъ въ своемъ „Наказѣ для прикащика“, составленномъ около 1770 года,—чтобы крестьянинъ столько же земли пахалъ на господина, сколько онъ для себя вспахать можетъ, или сколько подъ собою имѣетъ, и потому слѣдовало бы то число земли раздѣлять пополамъ, сколько крестьяне силами своими вспахать и надлежащимъ образомъ въ годъ уработать въ состояніи, и одну половину оставлять ему, а другую на господина. Легче и способнѣе сего для нихъ быть уже не можетъ, ибо часто случается, что они и гораздо болѣе половины на господина пашутъ“. Въ Каширскомъ уѣздѣ, гдѣ жилъ Болотовъ барская и крестьянская пашня

при этомъ не раздѣлялись—та и другая лежали черезполосно, половину полосъ крестьяне пахали на себя, половину на барина. Объ организаціи производства и рѣчи быть не могло—барскую пашню крестьяне пахали, какъ и свою, своими сохами и на своихъ, крестьянскихъ, лошадяхъ: только что развѣ барскія полосы нѣсколько тщательнѣе удобрялись, чѣмъ крестьянскія, иной разъ никогда не видавшія навоза. При такой системѣ капитальнымъ вопросомъ для агрономовъ того времени было поддержаніе въ неприкосновенности крестьянскаго тягла. Уже Татищевъ требовалъ, чтобы „каждой крестьянинъ мужъ съ женою“ имѣли у себя 2 рабочихъ лошадей, 2 воловъ (Татищевъ предпочиталъ лхъ лошадямъ: „пахать лучше на волахъ плугомъ, а не сохою на лошади“), 5 бороновъ, 10 овецъ, 2 свиней, кромѣ того гусей и куръ; „а кто пожелаетъ имѣть больше—дозволяется, а меньше вышеписаннаго положенія отнюдь не имѣть“. Но это, наравнѣ съ запрещеніемъ раздѣловъ, былъ еще самый элементарный и, такъ сказать, консервативный способъ огражденія помѣщичьихъ интересовъ. Татищевъ былъ очень передовой по своему времени, но и очень трезвый и практическій помѣщикъ, утопіями онъ не увлекался. Люди съ болѣе широкимъ полетомъ фантазіи шли гораздо дальше. Мало не давать развалиться наличнымъ крестьянскимъ семьямъ: нужно придумать такую форму крестьянской семьи, которая бы служила вѣрной гарантіей отъ распаденія. Такою задачею задался управитель Царскаго Села, надворный совѣтникъ и Вольнаго экономическаго общества членъ Ѳедотъ Удоловъ. Кто знаетъ что-нибудь о военныхъ поселеніяхъ временъ Александра I, тотъ, читая обширный удоловскій трактатъ, напечатанный въ трудахъ Вольнаго экономическаго общества подъ скромнымъ заглавіемъ „Собраніе экономическихъ правилъ“, не безъ удивленія увидитъ, что организаторъ поселеній, графъ Аракчеевъ, ничего новаго не выдумалъ: его мысли уже носились въ воздухѣ за пятьдесятъ лѣтъ до него. Идеалъ Удолова—создать своего рода земледѣльческую армію, которая устремлялась бы на обработку барской пашни съ такимъ же самоотверженіемъ, съ какимъ настоящая армія устремляется въ бой съ врагомъ. Сравненіе съ арміей

принадлежитъ не намъ, а самому Удолову. „Прежде всего надлежитъ стараться,—пишетъ онъ,—чтобы земледѣльцы и бобыли о своихъ дѣлахъ разсуждали такъ, что они не для своей только собственной пользы упражняются въ земледѣліи и другихъ принадлежащихъ для ихъ званія трудахъ: но тѣмъ обязаны служить, во-первыхъ, государю, потомъ помѣщику и всему обществу, и быть безпрекословными данниками, не воображая никакихъ въ своемъ званіи невозможныхъ случаевъ. А притомъ представлять себѣ въ примѣръ военныхъ людей, которые за отечество предаются во всѣ опасности и жертвуютъ самою жизнью". Тягло было самой мелкой „тактической единицей", взводомъ этого земледѣльческаго войска. Этотъ взводъ долженъ былъ состоять, всегда и неизмѣнно, изъ 6 мужчинъ и 6 женщинъ въ возрастѣ отъ 17 и до 65 лѣтъ—болѣе молодые и болѣе старые не считались. Предлагалось стараться, чтобы тягло совпадало съ семьей—состояло изъ отца съ сыновьями, родныхъ братьевъ или дяди съ племянниками. Но это было не обязательно: „ежели три мущины и женщинъ столько же и родства неимѣющіе между собою согласятся и опредѣленное число скота объявятъ, тѣхъ писать особымъ тягломъ". Съ другой стороны, если во время переписи въ семьѣ оказывалось болѣе шести человѣкъ возрастомъ свыше 17 лѣтъ, лишнихъ писали „на праздныя мѣста въ другія тягла" или формировали изъ нихъ прямо новыя тактическія единицы. Какъ при этомъ поступали со „священными узами" брака, сыновней и родительской любви и тому подобнымъ, Удоловъ не поясняетъ: онъ не былъ лицемѣромъ, а къ сельскохозяйственному производству все это не имѣло отношенія. Зато семейная дисциплина была для производства очень существенна и поддерживалась въ земледѣльческой арміи со строгостью, истинно военной. Хозяинъ тягла имѣлъ правъ требовать безпрекословнаго себѣ повиновенія со стороны всѣхъ остальныхъ его членовъ. Въ случаѣ непослушанія онъ ихъ наказывалъ, а если никакія наказанія не помогали, онъ, съ вѣдома сотскаго и управителя, могъ выгнать непослушнаго изъ тягла. Такихъ выключенныхъ „отдавали въ солдаты или въ черную работу, съ зачетомъ въ рекрута", т. е. по просту, ссылали на ка-

торгу. „А женщинъ выключенныхъ, если онѣ будутъ безмужнія, отдавать на прядильный дворъ и на фабрики". Само собою разумѣется, что такое же наказаніе ждало и того, кто посмѣлъ бы нарушить обще-армейскую дисциплину, будь онъ самъ хозяинъ тягла. Было, напримѣръ, строго предписано, сколько избъ строить на усадьбѣ каждаго тягла, и гдѣ именно, гдѣ поставить баню, гдѣ хлѣвъ, гдѣ житницы. „А если кто самовольно построитъ, тотъ лишится всего, что имѣетъ, и отданъ будетъ въ солдаты, или въ черную работу съ зачетомъ помѣщику въ рекруты". Съ еще большею неуклонностью предлагалось „искоренять" „злодѣевъ и возмутителей". А „народными возмутителями" считались, главнымъ образомъ, тѣ, „кто будетъ такія положенія, которыя установлены для общей пользы и многими уже исполняются, толковать людямъ къ исполненію невозможными и разорительными", а также тѣ, „кто станетъ отводить людей отъ исполненія земскихъ законовъ или помѣщиковыхъ повелѣній". Удоловъ не только предвосхитилъ основную идею аракчеевскихъ военныхъ поселеній, но предвидѣлъ и ихъ судьбу.

Любопытно, что, проектируя свою каторгу, Удоловъ вовсе не имѣлъ въ виду какой-нибудь особенно тяжелой хозяйственной эксплуатаціи своихъ крестьянъ. Назначаемая имъ барщина ниже средней, по тому времени: каждое тягло должно было получить 27 десятинъ пахотной земли, а на помѣщика обрабатывало только 6. При этомъ, кромѣ барщины, крестьяне никакихъ повинностей не несли: „во всѣхъ опредѣленныхъ правилахъ земледѣльцы помѣщику никакими податьми не обязаны, а только должны исправлять опредѣленныя работы безпрекословно и неупустительно". За всѣмъ тѣмъ Удоловъ надѣялся имѣть доходу не менѣе 45 рублей съ тягла—т.-е. 7 р. 50 к. (35—40 рублей теперешнихъ) съ мужской души. Это былъ доходъ совершенно исключительный по тѣмъ временамъ, когда 5 рублей оброка съ души считались уже верхомъ блаженства для помѣщика и крайнимъ разореніемъ для крестьянъ. Удоловъ могъ на то разсчитывать потому, что онъ, не ограничиваясь организаціей крестьянскаго труда, предполагалъ чрезвычайно интенсивную земледѣльческую культуру: тщательное удобре-

ніе, тройную вспашку и т. д. И это во всей его утопіи было едва ли не самымъ утопическимъ моментомъ. Тотъ обрусѣвшій нѣмецъ, хозяйство котораго наблюдалъ Гакстгаузенъ, воспроизвелъ удоловскую систему тяголъ съ такой точностью, что невольно рождается мысль о заимствованіи— мало вѣроятномъ, если вспомнить, что Удоловъ писалъ въ 1760 годахъ, а Гакстгаузенъ ѣздилъ по Россіи въ 1840-хъ. Передъ усадьбой, разсказываетъ послѣдній, тянется обширная деревня, построенная съ правильностью, можно сказать, военной. „Широкая, прямая улица раздѣляетъ ее на двѣ части, пересѣкаемыя, въ свою очередь, не менѣе правильными переулками. Каждый четыреугольникъ заключаетъ въ себѣ пять крестьянскихъ домовъ, обитатели которыхъ, по отношенію къ барщинѣ, которою они обязаны передъ бариномъ, составляютъ особый отрядъ работниковъ (une division d'ouvriers). Г. фонъ-Пирхъ (фамилія помѣщика), который имѣлъ случай убѣдиться въ могущественномъ вліяніи, какое имѣетъ на умы крестьянъ чувство родства, позаботился соединить въ одномъ и томъ же отрядѣ, насколько возможно, членовъ одной и той же семьи или, по крайней мѣрѣ, возможно болѣе близкихъ родственниковъ. Тѣмъ охотнѣе они помогаютъ другъ другу не только въ случаѣ опасности, но и тогда, когда требуютъ взаимопомощи ихъ текущія хозяйственныя работы". Въ то же время, какъ мы видѣли, агрономія фонъ-Пирха принадлежала къ самому экстенсивному типу, и удобренія его земли совсѣмъ не знали. Вспашка производилась деревянной сохой, безъ малѣйшаго кусочка желѣза, а бороной служили просто нѣсколько переплетенныхъ сосновыхъ сучьевъ. Выжимать прибавочный продуктъ изъ крестьянскихъ мускуловъ было такъ легко и просто, къ чему же было еще удручать себя заботами о сельскохозяйственной техникѣ?

Какъ настоящій утопистъ, управитель Царскаго Села пренебрегалъ тѣми элементами „порядка", которые можно было найти готовыми въ барщинномъ имѣніи, не предаваясь сочинительству. Создавая искусственныя семьи, онъ шелъ дальше, чѣмъ нужно было. Своеобразная классовая борьба, кипѣвшая въ крѣпостной деревнѣ, приводила къ тому, что крестьяне теряли охоту къ образованію обыкновенной, есте-

ственной семьи. Каждая новая семья—новое тягло, а новое тягло—это новыя повинности. Съ другой стороны, женатый, вышедшій на новое тягло сынъ, выданная замужъ дочь—однимъ работникомъ или работницей меньше въ своемъ тяглѣ: старыя повинности тяжеле. „Довольно примѣчается,—писалъ въ тѣ же годы, о которыхъ идетъ рѣчь (во второй половинѣ XVIII в.), лучшій современный агрономъ, Рычковъ,—что многіе изъ крестьянъ, не желая, чтобы дѣти ихъ были въ тягловыхъ работахъ, а шатались бы въ числѣ малолѣтнихъ и неверстаныхъ, о женитьбѣ сыновей, а еще больше о замужествѣ дочерей своихъ не стараются, и всячески отъ того отводятъ". А такъ какъ „умноженіе земледѣльцевъ не только для помѣщиковъ, но и для всего государства важнѣйшимъ пунктомъ почитается", то помѣщикъ, не только какъ хозяинъ, но и какъ гражданинъ и вѣрноподданный, не могъ оставить этого дѣла втуне. Рычковъ настоятельно совѣтуетъ „разумнымъ управителямъ и прикащикамъ" взять на себя функціи свадебнаго бюро, тщательно наблюдая затѣмъ, „чтобы изъ крестьянъ молодые люди далѣе 18 лѣтъ, а по крайней мѣрѣ свыше 20 лѣтъ, холостыми не шатались. Усматривая таковыхъ, поощрять ихъ отцовъ и ихъ самихъ къ женитьбѣ, пріискивая имъ дѣвокъ, въ тѣхъ же деревняхъ, кои бы согласовали ихъ возрасту, а хотя бы годами двумя или тремя и моложе..." Другимъ органическимъ, изъ почвы выросшимъ средствомъ дисциплинированія деревни было учрежденіе, хорошо намъ знакомое по свѣжимъ воспоминаніямъ: круговая порука. Идея этого учрежденія чрезвычайно древняя: по круговой порукѣ взыскивались уголовные штрафы съ крестьянъ еще во времена Русской Правды. Тотъ же принципъ примѣнялся и въ XVI вѣкѣ: „если случится убійство, и убійцы не найдутъ", говоритъ грамота переяславскихъ рыболововъ (1506 г.): „платить виру всѣмъ рыболовнымъ дворамъ". Но въ томъ же XVI столѣтіи дѣлаются уже попытки перенести этотъ принципъ и въ хозяйственную область: въ крестьянскихъ порядныхъ, тамъ, гдѣ поряжаются сразу нѣсколько крестьянъ, они обыкновенно ручаются другъ за друга въ правильномъ отбываніи повинностей: „а который изъ насъ, поручителей, будетъ налицо, на томъ указъ по сей записи и порука". Съ этою

взаимною отвѣтственностью крестьянъ связано и происхожденіе поземельной общины: любопытно, что древнѣйшіе ея образчики, въ томъ же XVI вѣкѣ, встрѣчаются нами именно въ барщинныхъ имѣніяхъ. Равное обезпеченіе тяголъ само собою вытекало изъ равенства повинностей, падавшихъ на каждое тягло, при чемъ обезпеченіе этого равенства предоставлялось самимъ крестьянамъ „А землями, и лугами, лѣсомъ, и всякими угодьями верстатися крестьянамъ между собою самимъ полосами или десятинами, на всякую выть (выть—тягло) поровну", говоритъ одинъ документъ 1580 года. Двѣсти лѣтъ спустя эта система была уже прочно укоренившимся, стариннымъ учрежденіемъ. „Ежели крестьяне къ счастью не всѣ еще негодные,—писалъ одинъ теоретикъ барщиннаго хозяйства въ 1809 г., посѣтовавъ на „лѣность" крѣпостныхъ,—то есть еще способъ имѣть отъ всѣхъ ихъ желаемую пользу, возложивъ попеченіе о исправленіи всѣхъ ихъ крестьянскихъ повинностей на весь вообще ихъ крестьянскій міръ. Сей способъ выдуманъ еще предками нашими..." Въ дѣйствительности способа этотъ авторъ не сомнѣвается. „Вѣдь и въ тѣхъ помѣстьяхъ, которыя славятся всѣми своими добротами, не безъ худыхъ людей, такъ какъ въ семьѣ не безъ урода; но изъ-за другихъ или ничего, или весьма мало своимъ господамъ бываютъ ощутительны. Я не думаю, чтобы трудолюбивые крестьяне не употребили тѣхъ же средствъ надъ негодными своими собратіями, какъ пчелы надъ своими трутнями, а особливо подъ прозорливымъ и благоразумнымъ своихъ господъ управленіемъ". Для современнаго читателя, слыхавшаго, что во второй половинѣ XIX вѣка въ общинѣ видѣли чуть ли не залогъ самобытнаго русскаго соціализма, всего любопытнѣе, что помѣщики начала прошлаго столѣтія и не сомнѣвались въ происхожденіи общины сверху, изъ нуждъ барскаго хозяйства: какъ и въ томъ, что „мірское самоуправленіе" обслуживало, главнымъ образомъ, барскіе интересы. Едва ли они не правильнѣе смотрѣли на дѣло, нежели нѣкоторые новѣйшіе изслѣдователи.

Но обработка барской пашни брала далеко не все время барщиннаго крестьянина. Какъ бы тяжела ни была бар

щина (во второй половинѣ XVIII вѣка встрѣчались „такіе строгіе помѣщики, которые крестьянамъ и одного дня въ недѣлю на себя работать не даютъ"), она, въ общемъ, могла взять у крестьянина не болѣе половины всѣхъ рабочихъ дней: и это по той простой причинѣ, что сельскія работы въ Россіи, по климатическимъ условіямъ, возможны лишь въ теченіе меньшей половины года. Въ средне-русскихъ черноземныхъ губерніяхъ эти работы продолжаются, считая уборку и молотьбу хлѣба, мѣсяцевъ 5, въ сѣверныхъ губерніяхъ даже только четыре, и лишь въ самыхъ южныхъ полгода: Но огромной ошибкой было бы думать, что въ остальное время барщинные крестьяне „отдыхали". Всего менѣе! Хлѣбъ не только производился, но и доставлялся на рынокъ крестьянами. „Возы возити на господина" обязывала крестьянина еще Псковская Судная Грамота. Въ XVI вѣкѣ „повозъ" является вмѣстѣ съ барщиной—и въ половинѣ этого столѣтія онъ былъ организованъ въ имѣніяхъ Соловецкаго, напримѣръ, монастыря очень правильно. Было установлено не только, сколько возовъ должны поставить крестьяне, но и сколько какого хлѣба можно накладывать на каждый возъ: ржи по четыре четверти, а овса по шести, гречневой крупы по 5 четвертей. „А пшеница, и горохъ, и сѣмя, и крупа запарная, и толокно класти противу ржи". Былъ установленъ и масштабъ крестьянскихъ зимнихъ поѣздокъ: за среднюю норму принималось разстояніе до Вологды, гдѣ былъ ближайшій для селъ Соловецкаго монастыря хлѣбный рынокъ; „а случится повозъ везти къ Москвѣ или на Бѣлоозеро, или ближе Вологды, или далѣ Вологды, и крестьянамъ съ прикащиками въ томъ счесть противъ Вологды" (грамота 1561 г.). Двѣсти лѣтъ спустя все это было разработано еще детальнѣе, до „всесовершенной точности". Хваставшійся такою точностью помѣщикъ возилъ хлѣбъ въ Москву, гдѣ цѣны были самыя выгодныя: по словамъ Болотова, на мѣстѣ продавали хлѣбъ только крестьяне и развѣ самые бѣдные помѣщики; кто побогаче—возили, по крайней мѣрѣ, въ уѣздный городъ или на ближайшую рѣчную пристань, за нѣсколько десятковъ верстъ; а крупные землевладѣльцы не мирились меньше, чѣмъ на Москвѣ, хотя бы у нихъ какъ

у цитированнаго нами сейчасъ помѣщика, нѣкоторыя имѣнія были не ближе 400 верстъ отъ Москвы. О размѣрахъ повинности можно судить по такому примѣру: въ одномъ имѣніи Рязанской губерніи каждое тягло должно было доставить ежегодно 52 пуда хлѣба въ Москву (эта поѣздка брала двѣ недѣли) и по 52 же пуда къ двумъ мѣстнымъ пристанямъ (къ одной можно было обернуть въ пять дней, къ другой въ три); значитъ, на перевозку барскаго хлѣба крестьяне тратили всего 22 дня—это былъ средній, не особенно тяжелый для крестьянъ случай. Бывали условія, гораздо болѣе тягостныя. Одинъ экономистъ 1840 годовъ высчиталъ, что подвозъ хлѣба къ рынкамъ бралъ зимою не менѣе трети крѣпостного труда—другими словами, къ пяти мѣсяцамъ барщинной работы лѣтомъ необходимо прибавить, по крайней мѣрѣ, 2—$2^1/_2$ мѣсяца такой же работы зимою.

Для крѣпостного хозяйства крестьянинъ съ его лошадью (едва ли нужно пояснять, что помѣщичій хлѣбъ возился на крестьянскихъ лошадяхъ) замѣнялъ не только сельскохозяйственныя машины, а и желѣзную дорогу. Насколько выгодна была перевозка хлѣба посредствомъ натуральной повинности крестьянъ, видно изъ того, что рязанскіе, напримѣръ, помѣщики отправляли хлѣбъ въ Москву, систематически избѣгая пользоваться водными путями—рѣками Окою и Москвою: по этимъ путямъ шелъ купеческій хлѣбъ, но не дворянскій. Какъ ни дешева была рѣчная дорога, сравнительно съ сухопутной, но барку для хлѣба нужно было купить, бурлаковъ нужно было кормить а крѣпостной крестьянинъ везъ барскій хлѣбъ на своей подводѣ и питался самъ, какъ умѣлъ—барину до этого не было дѣла. Баринъ находилъ, что и за всѣмъ этимъ у мужика все же остается слишкомъ много свободнаго времени, и что это для мужика крайне вредно, не только морально, но и физически. „Отъ праздности крестьяне не только въ болѣзнь приходятъ, но и вовсе умираютъ“, писалъ Татищевъ: „спятъ довольно, ѣдятъ много, а не имѣютъ муціону“. Чтобы обезпечить крестьянину „муціонъ“ въ тѣ мѣсяцы, когда онъ не былъ занятъ ни полевыми работами, ни подводной повинностью, самое простое было выгнать его на заработки въ

городъ. Въ подмосковныхъ губерніяхъ такъ и дѣлалось: по расчету одного новѣйшаго изслѣдователя „въ концѣ XVIII вѣка около 20% всего мужского населенія Ярославской губерніи уходило на заработки на сторону". То же было въ Кашинскомъ уѣздѣ Тверской губерніи, въ Каширскомъ нынѣшней Тульской, и т. д.: экономисты екатерининскихъ и александровскихъ временъ въ одинъ голосъ говорятъ объ огромномъ скопленіи оброчныхъ крестьянъ въ Москвѣ, усматривая въ этомъ даже нѣкоторую опасность для земледѣлія—и уже, конечно, для крестьянской „нравственности". „Гдѣ онъ (крестьянинъ) научается роскоши, гдѣ вольнодумству, гдѣ высокомѣрію, какъ не въ городѣ?" патетически восклицаетъ одинъ изъ нихъ. „По природной своей простотѣ онъ скорѣе, нежели кто другой, по самому первому побужденію къ тому, имѣетъ поползновеніе, а сіе, я думаю, потому больше дѣлается, что онъ живетъ не въ природномъ своемъ мѣстопребываніи, но на сторонѣ, а потому и на волѣ, которая, какъ обыкновенно, всякаго почти портитъ". Чтобы избѣжать такихъ вредныхъ для крестьянъ послѣдствій, болѣе дальновидные помѣщики старались найти имъ работу на мѣстѣ, у себя въ деревнѣ. Самымъ простымъ и болѣе всего ведущимъ къ цѣли способомъ было развитіе въ деревнѣ кустарныхъ промысловъ. Корни этого явленія опять-таки уходятъ въ глубокую старину: изъ одной грамоты XIV вѣка мы узнаемъ, что уже тогда этимъ занимались лучшіе хозяева своего времени, монастыри; „а ленъ дастъ игуменъ въ села и они прядутъ", говоритъ грамота. Въ XVIII столѣтіи это было уже массовое явленіе, и крестьянскій „мануфактурный" трудъ былъ правильно введенъ въ рамки барщиннаго хозяйства нечерноземной полосы. Въ томъ же Кашинскомъ уѣздѣ, гдѣ былъ такъ силенъ отходъ крестьянъ на заработки, не было почти ни одного помѣщичьяго дома, „гдѣ бы не было нѣсколькихъ ткачей для тканія полотенъ, которыя въ Москвѣ продаютъ аршинъ по пятьдесятъ и по шестьдесятъ копѣекъ, многіе помѣщики симъ большіе барыши получаютъ". Полотняное ткачество было здѣсь развито такъ сильно, что своего, мѣстнаго льна иногда не хватало, и его прикупали на ростовской ярмаркѣ. А общее значеніе кре-

постного кустарнаго ткачества достаточно иллюстрируется тѣмъ фактомъ, что русскія полотна въ концѣ XVIII вѣка были предметомъ широкаго сбыта за границу: въ 1793—94 гг. ихъ вывозили до пятнадцати милліоновъ аршинъ, на сумму болѣе четырехъ милліоновъ рублей тогдашнихъ (около 10 милліоновъ р. теперешнихъ). Только распространеніе хлопчатобумажныхъ матерій въ XIX вѣкѣ убило эту важную статью крѣпостного хозяйства.

Кустарничество въ наши дни вытѣсняется фабрикой: отъ крѣпостного кустаря одинъ шагъ былъ до крѣпостной фабрики. Первые образчики крупной промышленности, возникшіе въ Россіи въ XVII вѣкѣ желѣзодѣлательные заводы, работали вольнонаемнымъ трудомъ. Это было возможно, потому что эти заводы въ свое время были исключительнымъ явленіемъ: какъ только, въ связи съ развитіемъ меркантилизма, крупное производство начинаетъ принимать у насъ массовый характеръ, свободныхъ рабочихъ рукъ начинаетъ не хватать, и начинаются поиски суррогатовъ свободнаго рабочаго. Рядомъ указовъ, идущихъ съ петровской эпохи, въ распоряженіе фабрикантовъ отдаются арестанты обоего пола, бродяги, нищіе, проститутки и, наконецъ, „солдатскія, матросскія и разныхъ другихъ служилыхъ людей жены“. Но готовый источникъ несвободной рабочей силы былъ подъ руками—это были крѣпостные крестьяне. Странно было бы все время идти обходными путями и не обратиться къ прямому. Шагъ былъ сдѣланъ уже при Петрѣ В. Закономъ 18 января 1721 г. было разрѣшено „какъ шляхетству, такъ и купецкимъ людямъ“ къ заводамъ „деревни покупать невозбранно, съ позволенія Бергъ-и-мануфактуръ коллегіи, токмо подъ такою кондиціею, дабы тѣ деревни всегда были уже при тѣхъ заводахъ неотлучно“. Послѣдняя оговорка была направлена противъ „купецкихъ людей“: опасались, что эти послѣдніе, подъ предлогомъ заведенія крѣпостныхъ фабрикъ, начнутъ себѣ попросту покупать населенныя имѣнія и тѣмъ, втихомолку, присвоятъ себѣ дворянскую привилегію. Опасенія оправдались—и черезъ 40 лѣтъ, въ 1762 г., былъ изданъ указъ, воспрещавшій купцамъ покупать крѣпостныя деревни подъ какимъ бы то ни было ви-

домъ: но это отнюдь не было упраздненіемъ крѣпостной фабрики—только послѣдняя стала теперь, какъ и крѣпостное имѣніе вообще, исключительно „шляхетскимъ", т.-е. дворянскимъ, дѣломъ. Въ дворянскихъ рукахъ крѣпостная индустрія продолжала процвѣтать, какъ хвастались представители дворянства, еще лучше, нежели въ купеческихъ. „Дворяне, заводя фабрики, весьма умножили разныя рукомесла и трудолюбіе и подали способъ государству довольствоваться тѣми вещами своими, которыя оно прежде отъ другихъ народовъ получало", говорилъ въ 1767 г. Щербатовъ въ Комиссіи для сочиненія новаго уложенія. По его словамъ, съ 1742 по 1767 годъ количество суконныхъ фабрикъ, благодаря дворянскому предпринимательству, съ 16 увеличилось до 76, а полотняныхъ съ 20 до 88. Въ началѣ XIX вѣка въ спискѣ фабрикантовъ мы встрѣчаемъ самыя громкія имена русскаго дворянства—князей: Барятинскаго, Юсупова, Шаховского, Хованскаго, Урусова, Щербатова, Прозоровскаго, гр. Разумовскаго, Безбородку, Салтыкова и т. д. Появились теоретики дворянскихъ фабрикъ съ крѣпостнымъ трудомъ, какъ раньше были теоретики сельскохозяйственной барщины. Можно повѣрить этимъ теоретикамъ, что вотчинная фабрика могла дать помѣщику „втрое или вчетверо" болѣе доходу, нежели самый высокій оброкъ съ его крестьянъ. Но этимъ послѣднимъ дѣло представлялось, конечно, съ обратной стороны. „Въ послѣдніе годы появилось новое несчастье для бѣднаго русскаго мужика—суконныя и другія фабрики", писалъ декабристъ Н. И. Тургеневъ въ своей извѣстной книгѣ о Россіи, изданной при Николаѣ I за границей. „Помѣщики помѣщали сотни крѣпостныхъ, преимущественно молодыхъ дѣвушекъ и мужчинъ, въ жалкія лачуги и силой заставляли работать... Я вспоминаю, съ какимъ ужасомъ говорили крестьяне объ этихъ заведеніяхъ; они говорили: „въ этой деревнѣ есть фабрика" съ такимъ выраженіемъ, какъ если бы они хотѣли сказать: „въ этой деревнѣ чума". На этой „чумѣ" цѣпкомъ держались два производства, одно изъ которыхъ имѣло колоссальное значеніе для русскаго народнаго хозяйства, другое пріобрѣло даже значеніе международное. Первымъ было винокуреніе, сдѣлавшееся съ 1765 года дворянской при-

вилегіей. Водка въ Россіи курилась, конечно, и раньше,— но болѣе или менѣе кустарнымъ способомъ. Первыми остзейскіе дворяне, во многомъ учителя русскихъ (между прочимъ, и розги пришли къ намъ изъ Прибалтійскаго края, на смѣну московскимъ „батогамъ“, т.-е. палкамъ), додумались до мысли, что гораздо выгоднѣе сбывать на рынокъ вино, выкуренное изъ хлѣба, нежели самый хлѣбъ: „одна лошадь свезетъ въ городъ настолько вина, насколько шесть лошадей хлѣба“, писалъ одинъ екатерининскихъ временъ агрономъ остзейскаго происхожденія. Въ Лифляндіи винокуреніе быстро развилось до того, что эта область, въ до-петровскія времена массами вывозившая хлѣбъ, во второй половинѣ XVIII вѣка начала его ввозить для своихъ винокурень. И немудрено: винокуреніе давало помѣщику до 100% чистаго дохода, а общій его сбытъ на рынкѣ доходилъ до 20 милліоновъ рублей на наши деньги — половина всего дохода отъ помѣщичьихъ фабрикъ. Вторымъ были уральскіе горные заводы, не только снабжавшіе желѣзомъ всю Россію, но и вывозившіе его за границу милліонами пудовъ, при чемъ на англійскомъ, напримѣръ, рынкѣ оно шло первымъ сортомъ. Вся уральская руда была въ рукахъ крупнаго дворянства—на первомъ мѣстѣ стояли Строгановы (другая уральская династія, Демидовы, купеческая по происхожденію, скоро одворянилась и слилась со знатью). Ея обработкой было занято болѣе 25.000 крѣпостныхъ уже при Екатеринѣ II, при чемъ вольныхъ рабочихъ на Уралѣ вовсе не было. Крупнѣйшая индустрія тогдашней Россіи основывалась, сплошь и безъ исключеній, на рабскомъ трудѣ

Барщинное хозяйство было наиболѣе прямымъ и непосредственнымъ способомъ выжимать изъ крестьянина „прибавочный продуктъ“, необходимый торговому капиталу. Другая форма, въ которую складывались отношенія помѣщика къ крестьянину при крѣпостномъ правѣ, оброчное хозяйство, тоже было связано съ торговымъ капитализмомъ, но съ другого конца: оброкъ съ крестьянъ былъ наиболѣе простымъ средствомъ добывать наличныя деньги для тѣхъ помѣщиковъ, которые не жили сами въ деревнѣ и непосредственно хозяйства не вели. У всей придворной знати, напримѣръ, имѣнія были на оброкѣ—почему у Екатерины II

и получилась иллюзія, будто оброчные крестьяне въ Россіи преобладаютъ. На самомъ дѣлѣ, они преобладали только въ сѣверныхъ, нечерноземныхъ губерніяхъ, гдѣ при Екатеринѣ II оброчные составляли 55% всѣхъ крѣпостныхъ крестьянъ, а въ серединѣ XIX в.—58, 9%. Здѣсь были губерніи, гдѣ барщинное хозяйство удержалось только въ мелкихъ имѣніяхъ,—это были, преимущественно, губерніи промышленныя или близкія къ столицамъ: такъ, въ 1850-хъ гг., въ Ярославской губерніи, въ имѣніяхъ, содержавшихъ болѣе 100 душъ крестьянъ, на барщинѣ было всего 9% душъ, а во Владимірской даже 8,5%. Напротивъ, въ черноземной полосѣ оброчныхъ было въ XVIII вѣкѣ 26,1%, а въ девятнадцатомъ 28,8%,—почти три четверти крестьянъ были на барщинѣ. Быстрый ростъ оброка въ нечерноземной полосѣ связанъ съ развитіемъ въ Россіи промышленнаго капитализма — оброчные крестьяне Владимірской или Московской губерніи, это фабричные или строительные и т. под. рабочіе. Но было бы ошибкой думать, что съ капитализмомъ торговымъ оброчная система имѣла только, такъ сказать, „потребительную“ связь, доставляя помѣщикамъ деньги для жизни въ городѣ и, косвенно, обогащая этимъ городскихъ торговцевъ, способствуя развитію привоза заграничныхъ товаровъ и т. д. Нѣтъ, оброкъ служилъ и прямо той же цѣли, что и барщина — доставкѣ на рынокъ продуктовъ крестьянскаго труда по минимальной цѣнѣ. Дѣло въ томъ, что никакихъ нормъ, опредѣлявшихъ оброкъ, хотя бы обычныхъ, какъ это было въ Западной Европѣ въ средніе вѣка, въ Россіи не было: помѣщикъ всегда требовалъ себѣ максимумъ того, что можетъ вынести крестьянское хозяйство, и иногда больше максимума. Какъ энергично вели дѣло въ этихъ случаяхъ помѣщики, покажетъ одинъ примѣръ. Въ Московской губерніи была Гуслицкая волость, до 1762 года принадлежавшая къ числу „государевыхъ“: въ этомъ году она была пожалована Натальѣ Лопухиной—извѣстной статсъ-дамѣ Елизаветы Петровны, по приказу этой послѣдней битой кнутомъ и сосланной въ Сибирь, а при ея наслѣдникѣ „амнистированной“. Пять лѣтъ спустя наслѣдники Лопухиной, умершей въ 1763 г., собирали съ этой волости, переводя на деньги и всякіе мелкіе поборы, болѣе 16.000 рублей,—а когда во-

лость была государевой, она платила всего съ небольшимъ 3.000. Помѣщикъ сумѣлъ выжать изъ нея впятеро больше дохода, чѣмъ дворцовое вѣдомство. Аналогичный случай въ Казанской губерніи вызвалъ такое замѣчаніе у губернатора этой послѣдней (тоже помѣщика, значитъ, хорошо знавшаго деревенскія условія): „что же затѣмъ у крестьянина оставаться можетъ къ содержанію домоводства въ порядкѣ?!“ Разумѣется, ничего не оставалось — другими словами, крестьянинъ и въ этомъ случаѣ долженъ былъ весь прибавочный продуктъ, безъ остатка, выбрасывать на рынокъ, чтобы получать деньги на уплату оброка. Отсюда разница между осенними и весеннеми цѣнами на хлѣбъ, хорошо знакомая уже и крѣпостной Россіи. Въ 1770-хъ годахъ во Владимірскомъ уѣздѣ хлѣбъ въ деревнѣ осенью можно было купить за 90 коп. четверть рожь и за 1 р. 80 к. четверть пшеницу. А зимою въ городѣ первая стоила уже 1 р. 60 к. четверть, а вторая 2 р. 30 к. Въ Кашинскомъ уѣздѣ, Тверской губерніи, рожь осенью стоила 1 р. 60 к. четверть, а зимою поднималась до 2 р. 20 к. Явленіе это и сознавалось очень хорошо современниками. Кашинскій корреспондентъ Вольнаго экономическаго общества, приведя только что выписанныя нами цифры, прибавляетъ, что осенняя цѣна „уменьшается противъ весенней цѣны по причинѣ сбору подушныхъ и оброчныхъ денегъ; но весною, когда крестьянинъ небольшое количество родившагося хлѣба съѣстъ, оставя малую часть для посѣва, цѣна возвышается“. Лѣтъ семьдесятъ спустя другой помѣщикъ подтвердилъ и обобщилъ это наблюденіе: „при наступленіи весны и даже еще раньше,—говоритъ онъ,—тотъ же самый крестьянинъ на томъ же самомъ рынкѣ купитъ обратно весь свой хлѣбъ, да еще съ прибавкой... заплатитъ за него вдвое дороже той цѣны, за которую самъ продалъ“. Въ результатѣ, при большой интенсификаціи оброка, для его уплаты не хватало часто всего дохода крестьянина съ его надѣла—отходъ въ городъ на заработки является для него вынужденнымъ: иначе ему нечѣмъ было бы существовать. Такимъ образомъ, въ нечерноземной полосѣ оброчная система приводила къ послѣдствіямъ, совершенно аналогичнымъ пролетаризаціи крестьянства. Тогдашніе помѣщики и это прекрасно пони-

мали, — но въ такого рода пролетаризаціи они не видѣли, по большей части, ничего дурнаго. Цитированный нами кашинскій корреспондентъ Вольн. экон. общества съ укоризною говоритъ о крестьянахъ, которые „все дома сидѣли и почитали за страхъ ходить по землямъ куда-нибудь въ большіе города работать, и тѣмъ доставать себѣ хлѣбъ и деньги. Напослѣдокъ, когда многіе помѣщики зачали ихъ къ тому принуждать, то вступили они въ походъ“... А отъ эпохи опять-таки лѣтъ на семьдесятъ болѣе поздней до насъ дошелъ и образчикъ помѣщичьяго понужденія—до того выразительный, что стоитъ его привести цѣликомъ. „Вы всѣ для меня, крестьяне, равны“, писалъ своимъ крѣпостнымъ одинъ костромской помѣщикъ въ началѣ 30-хъ годовъ: „за что же другіе платятъ болѣе,—гдѣ я живу, по 70 р. ассигнаціями. У насъ, если два тягла на оброкѣ, одинъ отходитъ въ Петербургъ или въ работники, другой остается дома и всѣ исправляетъ работы свои и барскія, и во-время убирается, не имѣя лишняго въ домѣ. А вы лѣтнее все время, все семейство, остаетесь дома... Чѣмъ лѣто лежать всѣмъ дома, не лучше ли вамъ, хотя и кажется трудно по глупости вашей, медвѣдямъ, отойтить, гдѣ есть семейные, въ дальнюю работу...“ Такъ различалась идеологія владѣльца оброчнаго имѣнія отъ идеологіи помѣщика, хозяйничавшаго при помощи барщиннаго труда своихъ крѣпостныхъ: мы видѣли, что послѣдній считалъ пребываніе крестьянъ въ городѣ источникомъ всякихъ нравственныхъ золъ, — первый, наоборотъ, объяснялъ нежеланіе идти въ городъ исключительно мужицкой лѣностью. Дворянство, по отношенію къ крѣпостному праву, не представляло собой однородной массы—мы увидимъ, что во время крестьянской реформы эта разница сказалась съ большой силой и дошла до размѣровъ конфликта между двумя группами помѣщиковъ.

Но для того, чтобы мысль объ этой реформѣ пріобрѣла практическое значеніе, необходима была огромная перемѣна въ идеологіи обѣихъ группъ. Долгое время для объясненія этой перемѣны привлекались къ дѣлу исключительно идеальные факторы: вліяніе просвѣщенія, изящной литературы, проповѣди „лучшихъ представителей“ дворянства и т. под.; получалась, приблизительно, такая картина: помѣщики дер-

жались крѣпостного права пока были тупы, невѣжественны, нравственно неразвиты. По мѣрѣ того, какъ они стали умственно и нравственно развиваться, они все болѣе начали проникаться мыслью, что крѣпостное право есть „мерзость“— потомъ долго держались этой мерзости уже только по привычкѣ, наконецъ, у нихъ хватило духу вовсе отъ нея отказаться. Не говоря уже о томъ, что объясненіе это фактически невѣрно — на принципіальную защиту крѣпостного права выступали самые образованные помѣщики своего времени, въ XVIII в. кн. Щербатовъ, въ началѣ XIX в. Карамзинъ — оно совершенно ненаучно. Основное требованіе науки заключается въ томъ, что каждая перемѣна въ той или другой категоріи явленій должна объясняться, прежде всего, изъ условій этой категоріи: привлекать къ дѣлу постороннія причины можно только тогда, когда въ кругу данныхъ явленій никакого объясненія перемѣны найти нельзя. Крестьянская реформа есть, прежде всего, грандіозный экономическій переворотъ: переходъ отъ крѣпостного хозяйства къ буржуазному, проникновеніе капиталистическихъ отношеній изъ сферы обмѣна въ область производства. Для экономической перемѣны нужно искать, прежде всего, экономическихъ же причинъ: привлекать къ дѣлу, вмѣсто этого, нравственное и умственное развитіе, значитъ уподобляться средневѣковымъ людямъ, которые затменіе луны или солнца объясняли людскими грѣхами. Какія экономическія условія заставили помѣщиковъ придти къ мысли, что вольнонаемный трудъ на пашнѣ будетъ для нихъ выгоднѣе крѣпостного? Для отвѣта на этотъ вопросъ надо, прежде всего, имѣть въ виду, что малая производительность барщиннаго труда отлично сознавалась помѣщиками даже во время расцвѣта барщины. Вполнѣ естественно, что, съ точки зрѣнія помѣщика, дѣло объяснялось крестьянской лѣнью: жалобы на лѣность барщинныхъ крестьянъ мы встрѣчаемъ уже у Татищева, совѣтующаго своему читателю „всего наивящше смотрѣть“, чтобы „лѣтомъ во время работы ни малой лѣности и дальняго покою крестьянамъ происходить не могло“. Представитель слѣдующаго поколѣнія, Рычковъ, въ своемъ наставленіи приказчику, даетъ очень конкретныя указанія

насчетъ тѣхъ „накостей“, какія крестьяне имѣютъ обыкновеніе дѣлать во время барщинной работы: „когда пашутъ, то стараются сдѣлать недопашку и завалить ее пластомъ или рыхлою землею, когда сѣютъ, то зерно мечутъ непорядочно и дѣлаютъ обсѣвки, на которыхъ мѣстахъ хлѣбъ уже не родится и бываютъ прогалины. Во время полотья и жнитва очень много втаптываютъ въ землю хлѣба такъ, что плутовства ихъ распознать невозможно“. Къ „лѣности“, такимъ образомъ, присоединяется здѣсь еще „плутовство“. Принадлежащій къ еще слѣдующему, дальнѣйшему помѣщичьему поколѣнію Швитковъ прямо уже признаетъ, что и „самые дѣятельные и самые промышленные крестьяне часто не весьма усердствуютъ пользѣ своихъ господъ“. Побужденіемъ къ оброчному хозяйству для многихъ дворянъ и было именно то, что оброкъ можно было выколотить при помощи одной „строгости“, а на барщинѣ и строгость не помогала. Русскимъ предшественникамъ Тайлора приходилось слиться со своимъ хозяйствомъ—вставать утромъ на разсвѣтѣ и проводить весь день на припекѣ въ полѣ, съ нагайкой въ рукахъ, а осень на току, гдѣ молотятъ хлѣбъ. При хорошемъ знаніи хозяйственной техники такой хозяинъ могъ выбить изъ своихъ мужиковъ много, но въ такомъ чистомъ видѣ система была примѣнима только въ маленькихъ имѣніяхъ. Оттого-то мелкопомѣстные дворяне и цѣплялись съ такою жадностью за крѣпостное право—и почти всѣ экономически погибли на другой день реформы 19 февраля. Въ крупномъ, даже среднемъ имѣніи довольно рано должна была явиться мысль о созданіи для крестьянъ какихъ-либо иныхъ побужденій къ труду, кромѣ голаго принужденія. Для детальной исторіи помѣщичьяго хозяйства представляютъ огромный интересъ тѣ эксперименты, которые дѣлались въ этомъ направленіи различными помѣщиками первой половины XIX вѣка. Наиболѣе оригинальными изъ нихъ были попытки извѣстнаго славянофила Хомякова, который обрабатывалъ свои поля наемнымъ трудомъ своихъ же оброчныхъ крестьянъ, оброкъ на которыхъ былъ наложенъ въ такомъ размѣрѣ, чтобы они никакъ не могли существовать, не нанимаясь въ батраки къ своему барину, и не менѣе извѣстнаго агронома своего времени Стремоухова, отдававшаго крестьянамъ $^2/_3$

урожая: интенсивность работы получалась такая, по его словамъ, что оставшаяся помѣщику $^1/_3$ была больше того, что можно было получить отъ трехневной барщины „при самомъ строгомъ присмотрѣ“. Въ концѣ-концовъ, къ 50-мъ годамъ, взяло верхъ самое простое рѣшеніе задачи: замѣна крѣпостного работника на барской пашнѣ вольнонаемнымъ. Насколько послѣдовательно была проведена эта мысль и что изъ этого получилось, мы увидимъ въ слѣдующей главѣ. Но прежде, чѣмъ перейти къ перевороту 1861 года, необходимо отвѣтить на вопросъ, который давно уже, навѣрное, поставилъ намъ читатель: что же задерживало переворотъ, разъ его основная идея—невыгодность барщиннаго труда—давно вошла въ сознаніе помѣщиковъ? Для отвѣта на этотъ вопросъ придется нѣсколько осложнить картину, съ которой мы начали нашъ очеркъ крѣпостнаго хозяйства: картину русскаго экспорта. Мы говорили о значеніи, которое имѣлъ вывозъ русскаго сырья за границу, и привели въ примѣръ пшеницу. Но именно съ вывозомъ русскаго хлѣба дѣло обстояло не такъ просто и благополучно, какъ можетъ показаться. Чтобы не тратить много словъ, позволимъ себѣ предложить вниманію читателя небольшую таблицу:

Вывозъ хлѣба изъ Россіи. (тысячи пудовъ).			Цѣны на хлѣбъ на берлинскомъ рынкѣ (въ маркахъ за центнеръ).		
Года.	Пшеница.	Рожь.	Десятилѣтія.	Пшеница	Рожь.
1820	13,873	3,924	1821—30	6,07	4,46
1830	25,506	8,669	1831—40	6.91	5,16
1840	18,091	1,409	1841—50	8,38	6,30
1850	26,166	5,592	1851—60	10,57	8,48
1860	41,911	20,247	1861—70	10,21	7,93

Мы видимъ, что за двадцать лѣтъ, съ 1820 по 1840 годъ, хлѣбныя цѣны въ Западной Европѣ росли очень медленно: въ то же время вывозъ хлѣба изъ Россіи за границу увеличился очень незначительно. Съ 40-хъ годовъ цѣны на хлѣбъ растутъ все выше и выше—все быстрѣе и быстрѣе растетъ русскій хлѣбный вывозъ. И скоро даже небольшое паденіе цѣнъ оказывается не въ силахъ его остановить. Въ эволюціи хлѣбныхъ цѣнъ и заключается отвѣтъ на вопросъ: почему крестьянская реформа задержалась у насъ на 30

лѣтъ—на все царствованіе Николая Павловича, съ 20-хъ по 50-е годы. При низкихъ цѣнахъ на хлѣбъ за границей не окупались издержки вывоза: а разъ русскій хлѣбъ не имѣлъ доступа на міровой рынокъ, помѣщичье хозяйство не имѣло повода расширять производство хлѣба далѣе извѣстныхъ границъ. Даже при барщинномъ хозяйствѣ Тамбовская, напримѣръ, губернія николаевскаго времени страдала отъ перепроизводства хлѣба: какой же былъ смыслъ увеличивать это производство? По разсчетамъ Гакстгаузена, за три года 1834, 1835 и 1836 (читатель замѣтитъ, что средина тридцатыхъ годовъ—какъ разъ разгаръ аграрнаго кризиса) въ Тамбовской губерніи было собрано отъ 80 до 90 милліоновъ четвертей различныхъ хлѣбовъ. Вычитая изъ нихъ 34 милліона, пошедшихъ на сѣмена, на продовольствіе, на винокуреніе, на прокормъ скота, въ запасные магазины и т. под., мы получаемъ остатокъ, по меньшей мѣрѣ, въ 45 милл. четвертей, который могъ бы быть вывезенъ: а на самомъ дѣлѣ, за эти три года вывезено было изъ Тамбовскихъ пристаней по Цнѣ всего $7^1/_2$ милліоновъ четвертей, да еще цнинскими пристанями пользовалась не одна Тамбовская губернія, а и сосѣдніе уѣзды Пензенской и Саратовской. Если бы не періодическіе неурожаи, быстро истощавшіе хлѣбные запасы, накопленный тамбовскій хлѣбъ просто сгнилъ бы и былъ поѣденъ мышами. Неурожаи выравнивали хлѣбный балансъ, но неурожаи сами были результатомъ экстенсивной культуры. Интенсифицировать эту послѣднюю значило, помимо всего прочаго, закрывать послѣднюю дверь, черезъ которую можно еще было спастись отъ кризиса. Картина рѣзко измѣнилась, какъ только кризисъ сталъ проходить. Былъ прямой расчетъ усилить производство до послѣднихъ возможныхъ предѣловъ. Вспоминая старыя времена, безпокоились только объ одномъ: можно ли вести хозяйство въ Россіи наемнымъ трудомъ, найдутся ли работники? Вѣдь при Петрѣ ихъ даже для фабрикъ не удалось найти,—а теперь рѣчь идетъ не о нѣсколькихъ десяткахъ фабрикъ, а о всей земледѣльческой Россіи. Гакстгаузену часто приходилось слышать эти опасенія (естественно было, что прусскій баронъ вращался среди помѣщиковъ) и, подъ вліяніемъ помѣщичьихъ разговоровъ, онъ высказы-

вается за то, что радикальная крестьянская реформа, освобожденіе сразу всѣхъ крѣпостныхъ—рискованная мѣра. Но если бы онъ довѣрялъ своимъ глазамъ больше, нежели разсказамъ помѣщиковъ, онъ могъ бы успокоить своихъ собесѣдниковъ на основаніи своихъ же наблюденій во время путешествія. Ему приходилось видать по дорогѣ не только земледѣльческія казармы и лагери во вкусѣ фонъ-Пирха, а и совсѣмъ другія картины. Въ Никольскомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи онъ—съ огромнымъ интересомъ, какъ онъ самъ признается—наблюдалъ образчики чисто-буржуазнаго хозяйства. Онъ останавливался во дворѣ одного мѣстнаго „крестьянина“, состояніе котораго оцѣнивалось во 100.000 р. ассигнаціями (на теперешнія деньги, принимая во вниманіе измѣненіе цѣнъ, это составитъ тысячъ 75 рублей). У него было „очень обширное хозяйство“. Онъ держалъ восемь батраковъ, въ томъ числѣ 4 годовыхъ, и пять батрачекъ; у него было 8 лошадей и 25 коровъ. Такихъ фермъ было въ уѣздѣ не одна—и всѣ онѣ были „въ очень цвѣтущимъ состояніи“. Никольскій уѣздъ былъ населенъ государственными крестьянами—крѣпостныхъ въ немъ почти не было. Нѣмецкій путешественникъ, видимо, съ крайнимъ любопытствомъ приглядывался къ совершенно новой для него въ Россіи фигурѣ „сельскаго буржуа“—и недаромъ, смотря на него, онъ вспомнилъ о Вестфаліи. Но ему пришлось сейчасъ же познакомиться съ оборотной стороной этой европеизаціи. За столомъ у крестьянина-помѣщика, правда, подавали портвейнъ—да только ничѣмъ на накормили проголодавшагося путника, заставивъ его съ тоскою вспомнить „настоящихъ“ крестьянъ—бѣдныхъ, но гостепріимныхъ...

Итакъ, хозяйство съ наемнымъ трудомъ было возможно и выгодно, въ 1840 годахъ, даже въ нечерноземной полосѣ Россіи. Тамъ, гдѣ производство хлѣба, по климатическимъ условіямъ, было главнымъ мѣстнымъ промысломъ, да еще когда кризисъ прошелъ, и хлѣбныя цѣны „отвердѣли“, оно было необходимо—помѣщикъ съ его привычками тамъ не могъ хозяйничать. Въ Новоузенскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи, одномъ изъ тѣхъ мѣстъ, откуда несся на міровой рынокъ потокъ лучшей въ Европѣ пшеницы, помѣщику, по его собственной оцѣнкѣ, ничего не оставалось дѣлать, какъ сда-

вать землю въ аренду. А тамошніе крестьяне въ это время говорили: „тотъ не мужикъ, у кого на два тягла нѣтъ девяти лошадей“, и нанимали по 50 и по 100 десятинъ земли въ прибавокъ къ своей надѣльной. Пахали здѣсь исключительно плугомъ, при чемъ у зажиточныхъ было плуга по четыре. А вопросъ о рабочихъ рукахъ былъ центральнымъ экономическимъ вопросомъ для всего края. „Если вы хотите видѣть край, гдѣ хозяинъ связанъ по рукамъ и ногамъ, а рабочій диктуетъ ему свои условія, которыя тотъ со смиреніемъ принимаетъ, — пріѣзжайте сюда во время жатвы“, писалъ одинъ новоузенскій помѣщикъ за годъ до крестьянской реформы. И хотя этотъ помѣщикъ не безъ опасенія говоритъ о послѣдствіяхъ освобожденія крестьянъ но это уже „голосъ крови“, въ своемъ родѣ: никакого слѣда крѣпостнаго хозяйства во всей его статьѣ вы не найдете. Хлѣбный экспортъ давно его здѣсь убилъ.

Библіографія.

Чтобы найти яркую и рельефную картину крѣпостного хозяйства, приходится обращаться къ беллетристикѣ; „Пошехонская Старина“ Салтыкова (IX томъ полнаго собранія сочиненій), въ особенности очеркъ „Образцовый хозяинъ“, имѣетъ всю цѣну хорошихъ историческихъ мемуаровъ. Но мемуары все же лишь матеріалъ: въ дѣлѣ разработки матеріала наша научная литература далеко отстала оть беллетристики. Быть можетъ, пробѣлъ будетъ восполненъ давно возвѣщенной, но въ ту минуту, когда пишутся эти строки, еще не вышедшей книгой г. П. Струве „Основные моменты въ развитіи крѣпостного хозяйства“ [1]). Его же журнальныя статьи (въ „Мірѣ Божьемъ“, 1901, X—XII), такъ же, какъ работа кн. Волконскаго: „Условія помѣщичьяго хозяйства при крѣпостномъ правѣ“ (Труды рязанск. учен. архивн. комиссіи, 1897 г., т. XII, в. 2—3) представляютъ собою лишь первоначальныя развѣдки, чрезвычайно цѣнныя въ свое время, когда историко-экономическое пониманіе крѣпостнаго хозяйства совершенно отсутствовало, но далеко не исчерпывающія вопроса. Связь крѣпостнаго хозяйства съ торговымъ капитализмомъ хорошо освѣщена въ цитированной уже книгѣ П. И. Ля-

[1]) Книга г. Струве вышла, когда нашъ „Очеркъ“ былъ уже набранъ. Съ сожалѣніемъ должны констатировать, что наши надежды не оправдались: авторъ просто собралъ, подъ отдѣльной обложкой, свои старыя статьи, снабдивъ, впрочемъ, главную изъ нихъ (названную въ текстѣ ниже) цѣнными фактическими дополненіями. Новаго, болѣе полнаго, изслѣдованія вопроса онъ не далъ.

щенко „Очерки аграрной эволюціи Россіи", т. I. Главнымъ недостаткомъ книги является то, что авторъ, слѣдуя традиціи, прочно укоренившейся въ нашей экономической литературѣ со временъ Кеппена (статистика 40-хъ годовъ), не придаетъ значенія заграничному вывозу, какъ фактору эволюціи крѣпостнаго хозяйства. Кеппенъ для своего времени былъ правъ: какъ разъ въ тѣ годы въ этомъ вывозѣ наступилъ застой, какъ было указано выше въ текстѣ. Но странно въ XX в. на всю полуторавѣковую эволюцію смотрѣть сквозь очки 40-хъ годовъ. Уже для конца этого десятилѣтія взгляды Кеппена оказались устарѣлыми, а для 50-хъ, 60-хъ и т. д. годовъ—тѣмъ болѣе. Наконецъ, обширный матеріалъ читатель найдетъ въ работахъ, посвященныхъ исторіи крестьянства, В. И. Семевскаго „Крестьяне въ царствованіе Екатерины II", т. I., изд. 2-е, исправленное и дополненное, Спб. 1903, и И. И. Игнатовичъ „Помѣщичьи крестьяне наканунѣ освобожденія", Спб. 1902 (есть болѣе новое изданіе). Первый трудъ является классическимъ для исторіи русскаго крестьянства XVIII вѣка, второй носитъ болѣе бѣглый характеръ, но для читателя не-спеціалиста даетъ достаточный и достаточно хорошо подобранный матеріалъ. Надо только имѣть въ виду, что оба автора интересуются не крѣпостнымъ хозяйствомъ, какъ извѣстной стадіей экономическаго развитія, а крестьянствомъ, какъ извѣстной соціальной группой. Соотвѣтствующіе факты у нихъ разбросаны, поэтому, въ различныхъ мѣстахъ и взяты не подъ тѣмъ угломъ зрѣнія, какой нуженъ историку-экономисту. Желающіе имѣть болѣе цѣльную картину хорошо сдѣлаютъ, если прочтутъ цитированныя въ текстѣ „Экономическія правила" Удолова и два „Наказа для прикащика", Рычкова и Болотова: напечатаны въ Трудахъ Вольнаго экономическаго общества, тт. XV и XVI. Никакихъ почти предварительныхъ свѣдѣній для своего пониманія эти работы не требуютъ, но, конечно, онѣ не принадлежатъ къ художественной литературѣ, какъ очеркъ Салтыкова, и удовольствія ихъ чтеніе доставить не можетъ. Для начальной фазы буржуазнаго сельскаго хозяйства см. замѣчательныя „Письма изъ деревни" Кавелина, во II томѣ собранія его сочиненій, стр. 663—688; это, наоборотъ, почти беллетристика, но, какъ и у Салтыкова, основанная на подлинныхъ наблюденіяхъ и потому исторически необычайно цѣнная.

5.

Современный капитализмъ.

Какъ мы видѣли въ предшествующей главѣ, крѣпостное хозяйство ставило росту прибавочнаго продукта довольно тѣсныя границы: иначе говоря, было мало производительно. Мы видѣли также, что фактъ этотъ, болѣе или менѣе отчетливо, болѣе или менѣе смутно, сознавался и руководите-

лями крѣпостного хозяйства, помѣщиками, владѣльцами барщинныхъ имѣній. Пока эти имѣнія, по тѣмъ или другимъ причинамъ, располагали лишь незначительнымъ рынкомъ сбыта, можно было довольствоваться барщиннымъ трудомъ. Расширеніе рынка, открытіе для русскаго хлѣба, съ конца 40-хъ годовъ девятнадцатаго вѣка, рынка международнаго, должно было сдѣлать барщинный трудъ явно невыгоднымъ для помѣщиковъ—поставить вопросъ о ликвидаціи крѣпостнаго хозяйства. Для пониманія крестьянской реформы 1861 года, этого было бы совершенно достаточно: но картина развитія капитализма въ Россіи была бы не полна, если бы мы ограничились только этимъ. Современный капитализмъ зародился у насъ не въ барщинномъ имѣніи, а на фабрикѣ: первымъ типомъ крупнаго капиталистическаго производства было у насъ, какъ и всюду, промышленное производство, а не сельскохозяйственное. Аграрный капитализмъ у насъ, какъ и всюду въ Старомъ свѣтѣ, даже и не достигъ, до настоящихъ дней, своего полнаго развитія: цѣлый рядъ причинъ этому мѣшалъ и мѣшаетъ до сихъ поръ. Промышленный капитализмъ является вездѣ не только самымъ раннимъ, но и самымъ полнымъ и законченнымъ типомъ капиталистическаго производства.

Это послѣднее характеризуется, какъ извѣстно, двумя главными, основными признаками. Во-первыхъ, громадной концентраціей самаго процесса производства: ремесленную мастерскую съ 2—3, максимумъ 10 работниками, смѣняетъ предпріятіе, гдѣ этихъ послѣднихъ 100, 200 даже 1000 человѣкъ. Въ Россіи 1909 г. треть всѣхъ рабочихъ была занята въ предпріятіяхъ, имѣющихъ болѣе 1000 рабочихъ каждое. Но этого признака одного, самого по себѣ, было бы еще недостаточно: въ барщинномъ имѣніи тоже могли работать сразу на полѣ сотни крѣпостныхъ. Но каждый изъ нихъ работалъ на своей лошади, своей сохой или бороной—тѣми самыми, при помощи которыхъ онъ воздѣлывалъ и свое собственное поле. Тысячи рабочихъ современной фабрики работаютъ орудіями, принадлежащими фабриканту: имъ самимъ ничего не принадлежитъ, кромѣ ихъ собственныхъ мускуловъ. Притомъ, эти орудія не имѣютъ никакого отношенія къ домашнему хозяйству рабочаго,

если оно у него имѣется: въ Россіи еще возможны случаи, что отецъ семьи на фабрикѣ состоитъ при электрическомъ моторѣ, а остальные ея члены въ это время обрабатываютъ въ деревнѣ свой надѣлъ при помощи сохи, въ которой „нѣтъ ни одного кусочка желѣза“. Итакъ, полное „открѣпленіе“ рабочаго отъ орудій производства—иначе говоря, полная пролетаризація рабочаго: вотъ—второй основной признакъ капиталистическаго производства. Полнотѣ этой пролетаризаціи нисколько не мѣшаетъ тотъ фактъ, что у отдѣльнаго рабочаго можетъ быть сотня—другая рублей въ сберегательной кассѣ, на черный день, или свой маленькій надѣлъ въ деревнѣ: достаточно, чтобы у него не было ничего собственнаго въ томъ производствѣ, въ которомъ онъ занятъ, и которое даетъ ему средства къ жизни. Идеальный пролетарій, у котораго такъ-таки совсѣмъ ничего нѣтъ, кромѣ ежедневнаго заработка, такая же отвлеченная категорія, какъ и идеальный буржуа, который занятъ исключительно извлеченіемъ предпринимательской прибыли изъ своихъ рабочихъ—и ничѣмъ болѣе. Большинство авторовъ прибавляетъ къ этимъ двумъ признакамъ еще третій: современный рабочій—человѣкъ свободный, работающій по „добровольному“ соглашенію съ хозяиномъ. Но этотъ признакъ требуетъ уже гораздо болѣе значительныхъ оговорокъ. Если подъ свободой понимать отсутствіе юридической обязанности даннаго рабочаго работать непремѣнно на даннаго хозяина, это совершенно правильно: этимъ капиталистическое хозяйство отличается отъ крѣпостного; но не отличается еще отъ ремесленнаго—потому что ремесленный подмастерье тоже не прикрѣпленъ къ данному хозяину—мастеру. Но обыкновенно понимали „свободу“ въ болѣе широкомъ смыслѣ. Такъ какъ впервые объектомъ научнаго наблюденія капиталистическое хозяйство сдѣлалось въ Англіи, а въ этой странѣ очень рано развились начала индивидуальной свободы, то съ капиталистическимъ производствомъ связывали, какъ нѣчто неизбѣжное, политическую свободу рабочихъ. Блестящее развитіе промышленнаго капитализма въ странахъ, не знавшихъ политической свободы, какъ Россія, или знающихъ о ней весьма мало, какъ Японія, совпаденіе расцвѣта капита-

листической промышленности въ той или другой странѣ съ упадкомъ политической свободы (Франція въ дни второй имперіи)—давно разбили эту иллюзію. Капитализмъ автоматически не обезпечиваетъ еще политической свободы—ее и при господствѣ капитализма надобно еще завоевать.

Зато исторически будетъ вполнѣ правильно присоединить еще одинъ признакъ—не наиболѣе, пожалуй, существенный, но наиболѣе показательный, наглядный. Мы указали, что современное капиталистическое производство, это, прежде всего, производство крупное. Притомъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ оно все становится крупнѣе: на англійскихъ бумагопрядильняхъ, напримѣръ, среднее число веретенъ на одну фабрику въ 1850 году составляло 155, а въ 1885 уже 213. Это все возрастающее окрупнѣніе производства не есть какая-либо таинственная врожденная черта капитализма: оно связано съ совершенно опредѣленнымъ матеріальнымъ условіемъ—примѣненіемъ машинъ въ новѣйшемъ производствѣ. Машина тѣмъ экономнѣе, т.-е. тѣмъ производительнѣе, чѣмъ она крупнѣе. Впервые съ этою истиной пришлось познакомиться англійскимъ ремесленникамъ послѣ изобрѣтенія паровой машины. Всѣ попытки сердобольныхъ людей спасти мелкое производство при господствѣ пара имѣли самые жалкіе результаты. Пробовали, напримѣръ, устраивать одинъ центральный паровикъ среди цѣлой деревни ткачей, каждый изъ которыхъ получалъ паровую силу на домъ (т. наз. cottages-factory). За 12 лѣтъ разорилось болѣе 300 такихъ предпріятій, и затѣю пришлось бросить. Когда появились двигатели не паровые (газовые, электрическіе, керосиновые и т. п). надежды защитниковъ мелкаго производства оживились: новый типъ двигателя, казалось, допускалъ дробленіе энергіи въ очень широкихъ размѣрахъ. Памятникомъ этого оживленія въ нашей русской литературѣ остался одинъ очеркъ Глѣба Успенскаго, изображавшій самыми розовыми красками будущій промышленный рай, гдѣ вольные самостоятельные кустари будутъ работать каждый у себя дома, пользуясь электрической энергіей, „напятой“ на сосѣдней станціи. Опытъ и здѣсь очень скоро заставилъ разочароваться. Бюхеръ, въ своей статьѣ объ упадкѣ ремесла въ Германіи, приводитъ

такой расчетъ сравнительной стоимости одной лошадиной силы въ 1 часъ въ зависимости отъ размѣровъ двигателя (переводимъ цѣны на русскія деньги)

	1 сила.	3 силы.	6 силъ.
Паръ	15 коп.	9 коп.	$7^1/_2$ коп.
Электричество . . .	23 „	$18^1/_2$ „	— „
Газъ	12 „	$8^1/_2$ „	$7^1/_2$ „
Керосинъ.	30 „	14 „	11 „

Итакъ, чѣмъ крупнѣе двигатель, тѣмъ дешевле обходится 1 сила: электричество и газъ нисколько не ласковѣе къ ремесленнику, сравнительно съ паромъ. Если капитализмъ не даетъ автоматически свободы, то совершенно автоматически онъ все болѣе и болѣе увеличиваетъ размѣры предпріятій. Съ 1904 по 1909 годъ въ Россіи число рабочихъ на фабрикахъ, имѣвшихъ менѣе 100 рабочихъ, уменьшилось, имѣвшихъ отъ 100 до 500 рабочихъ увеличилось лишь весьма незначительно—а число фабричныхъ въ предпріятіяхъ болѣе, чѣмъ съ 1000 рабочихъ каждое, возросло на 20%. Въ эти годы застоя мелкое производство въ Россіи сократилось, среднее застыло на одномъ уровнѣ, а крупное продолжало расти, какъ ни въ чемъ не бывало: настолько выгодны для него были условія конкуренціи.

Крупное промышленное производство существовало въ Россіи задолго до нашего времени: на отдѣльныхъ мануфактурахъ петровскаго времени бывало по 700, 800, даже по 1000 рабочихъ. Но современный капитализмъ въ Россіи ведетъ начало не отъ этихъ петровскихъ мануфактуръ: онѣ, напротивъ, почти всѣ исчезли въ теченіе XVIII вѣка, вмѣсто нихъ народились новыя, и также исчезли. Причиной такой недолговѣчности отчасти былъ спекулятивный характеръ предпріятій. При Петрѣ, напримѣръ, въ одной Москвѣ возникло цѣлыхъ пять шелковыхъ мануфактуръ: въ расчетѣ на дешевизну шелка-сырца, на очень выгодныхъ условіяхъ получившагося прямо изъ Персіи, у насъ надѣялись завалить всю Европу русскими шелковыми товарами. Попытка оказалась очень наивной: по качеству русскія шелковыя ткани далеко уступали западно-европейскимъ, и наши шелкоткацкія фабрики лопнули одна за другой. Но одною

этой причиной объяснить дѣла нельзя. Изслѣдователи отмѣчали любопытный фактъ: на мѣстѣ погибшихъ мануфактуръ XVIII вѣка во многихъ мѣстахъ у насъ возникли кустарные промыслы. Кустарное ткачество полотенъ въ Шуйскомъ уѣздѣ ведетъ свое начало отъ основанной въ петровскія времена фабрики Тамеса, въ селѣ Кохмѣ. Главнымъ центромъ льняного ткачества вообще является село Великое, Ярославскаго уѣзда, но раньше кустарей мы находимъ тамъ фабрику Затрапезнаго. Повидимому, особенное значеніе имѣли помѣщичьи фабрики, гдѣ рабочіе набирались принудительно изъ опредѣленнаго района, и гдѣ почти все взрослое мужское населеніе должно было пройти черезъ мануфактурную выучку. Полотняное ткачество села Никольскаго, напримѣръ, той же Ярославской губ., обязано своимъ возникновеніемъ вотчинной фабрикѣ Салтыковыхъ: фабрика ихъ закрылась въ первые годы XIX вѣка, и съ этого времени „въ крестьянскихъ избахъ всего окружающаго района быстро распространяется „самостоятельное“ кустарное ткачество“. Одинъ изслѣдователь 30-хъ годовъ даже всю льняную промышленность ярославскаго района сводилъ къ вліянію помѣщичьихъ фабрикъ—преувеличеніе, которое самою своею возможностью ясно показываетъ, насколько фактъ былъ распространенъ.

Но тутъ необходимо на минуту остановиться,—ибо читателя, навѣрное, уже поразили два факта. Во-первыхъ, крупное производство, оказывается, можетъ спасовать передъ мелкимъ, да еще производство капиталистическаго типа передъ ремесленнымъ, какимъ обычно представляется намъ кустарное. А во-вторыхъ, вѣдь это ремесленное кустарное производство есть результатъ дальнѣйшаго развитія „народныхъ“ промысловъ, исконно вѣковъ существовавшихъ въ той или другой мѣстности и только расширившихся съ теченіемъ времени, по мѣрѣ расширенія рынка. Кустари такъ и зовутъ иногда свой промыселъ „искобиной“: „искобинѣ“ искаженное „исконно бѣ“, т.-е. „всегда было“. Насколько можно полагаться на „крѣпкую народную память“, этотъ вопросъ, впрочемъ, разрѣшить всего легче. Сукнодѣлы Владимірской губерніи вполнѣ искренно считаютъ свой промыселъ исконнымъ въ этой мѣстности: „тыщи лѣтъ назадъ

наши прадѣды и прапрадѣды работали перстъ,—говорятъ они,—и насъ обучили". Но мы имѣемъ точныя свѣдѣнія, что первое прядильное колесо было занесено сюда однимъ крестьяниномъ, Савеліемъ Селезнемъ, во второй половинѣ XVIII столѣтія, изъ Москвы, гдѣ Селезень работалъ на фабрикѣ. Обучившись у Селезня, мѣстные прядильщицы и чесальщики артелями стали отходить въ голодные годы на заработки въ Москву; позже они стали брать матеріалъ отъ московскихъ фабрикантовъ и пряли уже у себя на дому. Сложнѣе два другіе вопроса. Убѣжденіе, что кустарное производство есть такой же органическій продуктъ народной жизни, какъ и сельская община, далеко не столь твердо теперь, какъ было оно въ 90-хъ годахъ: по окончательно разбитымъ этотъ предразсудокъ не приходится считать и нынѣ, какъ это имѣетъ мѣсто и по отношенію къ общинѣ. И теперь нельзя считать „само собою разумѣющимся", что общинное землевладѣніе возникло подъ давленіемъ помѣщичьихъ интересовъ въ сравнительно новое время — въ XVII—XVIII вѣкахъ: хотя, мы видѣли, помѣщики начала XIX столѣтія еще отчетливо сознавали этотъ фактъ. И теперь не будутъ, поэтому, безполезными нѣсколько примѣровъ, иллюстрирующихъ то положеніе, кустарное производство есть особая разновидность крупнаго капиталистическаго производства — русская параллель той формѣ этого послѣдняго, которая въ Англіи получила названіе „домашней системы". Во-первыхъ, дѣйствительно ли, какъ правило, кустарные промыслы развились изъ домашняго производства крестьянъ? Вѣдь, владимірскіе суконодѣлы могутъ быть и исключеніемъ, ихъ примѣръ доказываетъ только, что на воспоминанія самихъ кустарей [1]) нельзя полагаться. Но

[1]) Слово „кустарь" принято объяснять искаженіемъ нѣмецкаго Künst, Künstler; объясненіе это едва ли вѣрно: въ дѣловомъ языкѣ и въ мѣстныхъ говорахъ первой половины XIX в. оно имѣетъ и болѣе распространенную форму „кустарникъ". Если можно понять исчезновеніе носового звука въ средней слова, то откуда могло взяться чисто русское окончаніе? Притомъ, одинъ изъ авторовъ того времени прямо указываетъ, что это — не терминъ, а насмѣшливое прозвище, данное мелкому домашнему промышленнику фабрикантомъ. Фабриканты (начала XIX в., не забудемъ этого) постоянно жаловались на конкуренцію кустарей и объясняли ее, во-первыхъ, тѣмъ, что названіе ка-

вотъ что говоритъ о кустарныхъ промыслахъ подмосковнаго района историкъ русской фабрики. „Самымъ распространеннымъ ткацкимъ промысломъ центральной Россіи является бумажное ткачество. Хлопчатая бумага — иноземный продуктъ, въ Россіи никогда не добывавшійся; ситцы начали выдѣлываться въ Россіи въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ въ концѣ XVIII вѣка; въ началѣ они были дороги (бумажная пряжа по цѣнѣ почти равнялась шелковой) и употреблялись только высшими классами общества. То же слѣдуетъ сказать и о шелкоткацкомъ промыслѣ. И этотъ промыселъ возникаетъ въ центральной Россіи (преимущественно въ Московской губерніи) только въ XVIII в., и шелковыя ткани отнюдь не были предметомъ крестьянскаго потребленія. Если мы возьмемъ списокъ различныхъ промысловъ, зарегистрированныхъ земскими статистиками, то во многихъ случаяхъ уже по самому характеру промысла вполнѣ очевидно, что промыселъ этотъ не возникъ изъ домашняго производства. Возьмемъ, напримѣръ, патронный промыселъ (клееніе гильзъ для папиросъ), дающій занятіе въ Московской губерніи 8 тысячамъ работницъ. Вѣдь нельзя же думать, что крестьяне выдѣлывали папиросныя гильзы сначала для собственнаго употребленія, а затѣмъ стали пускать ихъ въ продажу? То же можно сказать и о шитьѣ лайковыхъ перчатокъ (этимъ промысломъ занято въ Московской губ. болѣе 3 тысячъ работницъ): когда же крестьяне носили лайковые перчатки? Или, напримѣръ, позументное ткачество — выдѣлка офицерскихъ и солдатскихъ погоновъ, галуновъ и т. д. Развѣ это предметы крестьянскаго потребленія?“ Всего изъ 141 тысячи крестьянъ, занятыхъ въ Московской губ. въ мелкомъ производствѣ, не менѣе 82 тыс., т.-е. 59%, заняты въ промыслахъ, которые никакъ не могутъ быть выведены изъ условій первоначальнаго, „натуральнаго“, хозяйства. Но обратимся къ промысламъ,

---

нимались промыслами, не платя гильдейскихъ пошлинъ, а во-вторыхъ — ихъ недобросовѣстностью въ работѣ. Примѣняясь къ этому объясненію, можно толковать прозвище такъ, что „кустарь“ — тотъ, кто промышляетъ украдкой, незаконно, „изъ-за куста“. Можетъ быть, тутъ оказало свое вліяніе и знакомое московскимъ документамъ XVI—XVII вв. названіе мошенника вообще — „кустаря“.

которые по внѣшности имѣютъ вполнѣ „крестьянскій“ характеръ. Возьмемъ, напримѣръ, сапожное производство: существованіе сапога на Руси засвидѣтельствовано лѣтописью для временъ Владиміра Святого. Оставимъ Московскую губернію—она столичная, и этою особенностью можетъ объясняться характеръ ея промысловъ. Возьмемъ сердцевину нашего черноземнаго района, Курскую губернію. Здѣсь очень распространенъ сапожный промыселъ: и, казалось бы, гдѣ искать большей „искобины“, нежели на этой исторической окраинѣ русской земли? Но мѣстные статистики, люди совершенно безпристрастные и не зараженные зловреднымъ „марксизмомъ“, очень категорически заявляютъ, что о сапожномъ промыслѣ до конца XVIII вѣка здѣсь ничего не было слышно. Были, конечно, отдѣльные сапожники, какъ и всюду, но промысла не было. Главнымъ типомъ „народнаго производства“ здѣсь было тогда „винокуреніе“ и тѣсно связанный съ нимъ бондарный промыселъ. Объясняется это тѣмъ, что тогда южные уѣзды нынѣшней Курской губерніи причислялись къ Малороссіи и пользовались правомъ свободно гнать вино, что въ остальной Россіи составляло прерогативу однихъ дворянъ. Народное производство поддерживалось здѣсь, очевидно, сбытомъ водки (тайно, контрабаднымъ путемъ, конечно) въ сосѣднія великорусскія губерніи, гдѣ торговля виномъ составляла казенную монополію и была въ рукахъ откупщиковъ. Въ это время куряне „прямо-таки лопатой загребали золото“, по словамъ старожиловъ. Но въ 1773 г. право свободнаго винокуренія было отнято у украинскихъ губерній, и винокуры, какъ и бондари, обратились въ сапожниковъ. Такая метаморфоза „народнаго производства“ можетъ ошеломить съ перваго взгляда: не стали же крестьяне вмѣсто водки употреблять сапоги? Но ларчикъ легко откроется, если прибавить, что сапоги носили не тѣ, кто ихъ шилъ, и даже не ихъ сосѣди. Одинъ наблюдатель 1860-хъ гг., священникъ Левицкій, далъ намъ такую картину тогдашняго сапожнаго производства Курской губерніи, которая удовлетворяетъ самымъ строгимъ требованіямъ экономиста-историка. „Все кожевенное сапожное производство ведется здѣсь по подряду“, пишетъ этотъ изслѣдователь. „Здѣсь не дѣлается

такъ, чтобы каждый кожевенникъ-сапожникъ, выдѣлавши кожи и пошивши сапоги, продавалъ ихъ у себя на базарѣ или на ближайшихъ ярмаркахъ. Ольшанскихъ (Ольшанка — центръ курскаго сапожнаго производства того времени) кожевенно-сапожныхъ издѣлій на мѣстѣ стороннему покупателю и пріобрѣсти невозможно, — развѣ только у самого торговца, и то по высокой цѣнѣ. Происходитъ это оттого, что всѣ производители работаютъ круглый годъ не для себя и не изъ своего матеріала, а исключительно для торговцевъ и по ихъ заказамъ". „Что же касается подрядчиковъ, то сами они не имѣли у себя на дому кожевенныхъ и сапожныхъ заведеній. Они только привозили сюда сырыя кожи, закупая ихъ цѣлыми партіями въ далекой Украинѣ, въ Екатеринославской, въ Херсонской губ., въ Области войска Донского, и затѣмъ, по пріѣздѣ домой, отдавали ихъ производителямъ въ работу"

Итакъ, не курскій сапожникъ-кустарь постепеннымъ расширеніемъ производства создалъ для себя рынокъ, а рынокъ создалъ курскаго кустаря. Въ 40—60-хъ годахъ, когда всѣ украинскія ярмарки были завалены здѣшнимъ сапожнымъ товаромъ, хозяйственное положеніе кустаря было довольно сносное. Но создавшій его рынокъ и погубилъ его, когда измѣнились условія этого рынка. Съ проведеніемъ Курской желѣзной дороги въ Украину хлынулъ кимрскій и московскій сапогъ, своими качествами сразу же забившій мѣстное производство. „Крупные капиталисты-подрядчики, ворочавшіе прежде всѣмъ производствомъ и державшіе въ немъ постоянно по 10—30 тысячъ рублей, бросили это занятіе и взялись за коммерческія предпріятія другого рода: обратили свои капиталы въ хлѣбную и земельную торговлю, такъ какъ это оказалось болѣе выгоднымъ". Съ уходомъ капиталовъ „народное производство" сразу рухнуло. Отжившій отъ земледѣлія, не имѣвшій большею частью даже земли, кустарь долженъ былъ или стать сельскимъ рабочимъ-пролетаріемъ, продавать свой трудъ въ мѣстныхъ крупныхъ экономіяхъ, или уйти, куда глаза глядятъ, обыкновенно, дальше на югъ, гдѣ еще была надежда примѣнить свои промышленные навыки. Въ Ольшанкѣ, которую описывалъ въ 60-хъ гг. свящ. Левицкій, считалось 508 семей,

занятыхъ кожевенно-сапожнымъ производствомъ: въ 1888 г., когда ту же Ольшанку описывалъ Добротворскій, тамъ осталось всего 230 семей сапожниковъ.

Итакъ, побѣда кустаря надъ „фабрикой“ отнюдь не была побѣдой до-капиталистическаго мелкаго производства надъ крупнымъ капиталистическимъ: это была борьба двухъ различныхъ формъ промышленнаго капитализма. Точнѣе говоря, это была борьба промышленнаго капитализма въ собственномъ смыслѣ этого слова съ торговымъ. Почему послѣдній — форма болѣе ранняя, болѣе архаическая, какъ будто — оказался сильнѣе? Мы недаромъ только что поставили въ кавычки „фабрику“: всѣ сокрушенныя кустаремъ крупныя предпріятія держались ручнымъ трудомъ — были мануфактурами въ точномъ смыслѣ этого слова. Но преимущества мануфактуры передъ домашнимъ производствомъ вовсе не такъ велики. Ихъ видятъ, обыкновенно, въ томъ, что въ мануфактурѣ допустимо очень большое и очень сложное раздѣленіе труда: производство одной вещи разбивается на нѣсколько мелкихъ процессовъ, каждый изъ которыхъ сосредоточивается въ рукахъ одного рабочаго, такъ что фабрикатъ на пути къ окончательной отдѣлкѣ проходитъ нѣсколько рукъ. Но, во-первыхъ, эти процессы могутъ производиться и въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ: шварцвальдскіе часы — характерный образчикъ западно-европейскаго кустарнаго производства — никогда не дѣлаются цѣликомъ однимъ ремесленникомъ; одна семья, или даже одна деревня, занимается обтачиваніемъ колесиковъ или сборкой внутренняго механизма, другая приготовляетъ только коробки для часовъ, третья расписываетъ циферблаты. А во-вторыхъ, число этихъ рукъ вовсе не особенно велико: классическая булавочная мануфактура, использованная, какъ примѣръ, Адамомъ Смитомъ, дѣлила все производство булавокъ не болѣе, чѣмъ на 10 частей. Чтобы оцѣнить, какъ еще не далеко ушла въ этомъ направленіи мануфактура, возьмемъ примѣръ изъ области машиннаго производства: механическая обувь есть результатъ 64 различныхъ процессовъ надъ сырымъ матеріаломъ, а машинное производство часовъ состоитъ изъ 370 самостоятельныхъ процессовъ. Такого сложнаго мастерства до-

мой не перенесешь, а большинство мануфактурныхъ производствъ легко это допускало. Лишній разъ мы убѣждаемся, какое громадное значеніе для развитія современнаго капиталистическаго производства имѣютъ машины. Если прибавить къ этому, что въ отношеніи производительности между ручнымъ трудомъ и машиннымъ невозможна никакая конкуренція (достаточно привести одинъ примѣръ: въ XVIII в., при ручномъ производствѣ, для очистки 1 фунта хлопка отъ сѣмянъ требовался цѣлый рабочій день; благодаря изобрѣтенію въ 1793 г. машины для этой цѣли, стало возможно очищать въ одинъ рабочій день 100 фунт.), то мы поймемъ, когда долженъ былъ пробить смертный часъ „домашнему производству“: когда въ данной отрасли промышленности машины окончательно брали верхъ надъ ручной работой. Это прекрасно сознавали современники описываемыхъ нами фактовъ. Около 50-хъ годовъ прошлаго вѣка въ нашихъ промышленныхъ кругахъ начинаютъ слышаться жалобы на плохую работу и „недобросовѣстность“ кустарей. Послѣдніе становятся, очевидно, не нужны. Почему же? Одинъ авторъ-фабрикантъ даетъ на это опредѣленный отвѣтъ: „одно средство избавиться отъ всѣхъ этихъ непріятностей,—говоритъ онъ,—механическія ткацкія заведенія“. Въ 1846 году появилась въ Россіи первая механическая бумаготкацкая фабрика: въ это время большинство ткачей работало еще на дому. Двадцать лѣтъ спустя такихъ фабрикъ было уже 42: только $^2/_5$ ткачей продолжали работать на дому, остальные на фабрикѣ. Къ концу 70-хъ годовъ на домашнюю промышленность приходилось уже только четверть рабочихъ, занятыхъ въ бумаготкацкомъ производствѣ — три четверти работали на фабрикахъ. Одинъ статистикъ [illegible] писалъ: „въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ еще двадцать лѣтъ тому назадъ почти во всякомъ крестьянскомъ домѣ работали миткаль — въ настоящее время тамъ нѣтъ ни одного миткалеваго стана“.

Изъ этого примѣра видно, однако же, что машинное производство развивалось въ Россіи, въ первой половинѣ XIX вѣка, довольно медленно. Въ самомъ дѣлѣ, первая паровая фабрика вообще появилась у насъ еще въ концѣ XVIII сто-

лѣтія. Это былъ петербургскій машиностроительный заводъ Бэрда, существующій и до сихъ поръ (заводъ Франко-Русскаго общества). Онъ строилъ паровыя машины, пароходы и бралъ на себя оборудованіе фабрикъ. Послѣдней цѣли служила также казенная Александровская мануфактура, основанная въ 1798 году: отъ нея получали машины первыя русскія механическія прядильни, которыя появились въ 1808 году, а къ 1812 ихъ насчитывалось уже болѣе десятка. Въ первой четверти XIX в. русскій промышленный капитализмъ переживалъ періодъ сильнаго подъема. „Не только многіе богатые коммерсанты и дворяне, но изъ разнаго состоянія люди приступили къ устройству фабрикъ и заводовъ разнаго рода, не щадя капиталовъ и даже входя въ долги", писалъ въ 1820-хъ годахъ авторъ одной докладной записки, носившей витіеватое заглавіе: «Патріотическое разсужденіе московскаго коммерсанта о внѣшней россійской торговлѣ». „Разсужденіе" доказывало необходимость для Россіи покровительственной системы и высокихъ таможенныхъ пошлинъ. Достовѣрность его фактическихъ показаній подтверждается съ разныхъ сторонъ — въ томъ числѣ изъ источниковъ, не имѣющихъ ничего общаго ни съ россійскимъ патріотизмомъ, ни съ россійскою коммерціей. Въ 1811 г. французскій посланникъ Коленкуръ доносилъ Наполеону, что въ Россіи открывается одна фабрика за другой—то суконная, то шелкопрядильная, то свеклосахарный или винокуренный заводъ. Въ 1812 году въ Россіи считалось 2332 фабрики, въ 1814—уже 3253, въ 1828—5244. Особенно росло хлопчатобумажное производство—и на это была вполнѣ опредѣленная причина. До начала XIX вѣка Россію, какъ и весь европейскій континентъ, снабжала хлопчатобумажными тканями Англія. Въ 1806 году Наполеонъ, желая подорвать англійскую промышленность, установилъ такъ наз. континентальную блокаду: торгъ съ Англіей былъ запрещенъ какъ во Франціи, такъ и во всѣхъ союзныхъ съ ней и зависѣвшихъ отъ нея странахъ. По Тильзитскому миру 1807 года Россія должна была присоединиться къ „континентальной блокадѣ": ввозъ англійскихъ товаровъ къ намъ почти прекратился. Но хлопокъ въ сыромъ видѣ получался не изъ Англіи, а изъ Америки—

и ввозъ его въ Россію сталъ расти съ головокружительной быстротой: отъ полумилліона фунтовъ въ 1809 году онъ дошелъ почти до 10 милліоновъ фунтовъ къ 1811-му. Въ это время ни одна европейская страна не ввозила столько хлопка, какъ Россія (германскій, напримѣръ, ввозъ немного превышалъ два милліона фунтовъ). Такъ какъ „разнаго состоянія люди" не имѣли своихъ крѣпостныхъ, подобно старымъ суконнымъ и полотняннымъ фабрикантамъ или желѣзозаводчикамъ, то на вновь основывавшихся хлопчатобумажныхъ фабрикахъ преобладали вольнонаемные рабочіе: въ 1825 году изъ 210 тысячъ рабочихъ на русскихъ фабрикахъ и заводахъ 114 тысячъ, болѣе половины, были нанятые. Ростъ заработной платы въ это время служитъ еще новымъ доказательствомъ промышленнаго подъема. Въ первые годы XIX вѣка вольнонаемный рабочій получалъ въ Россіи отъ 6 до 10 рублей въ мѣсяцъ. Въ 30-хъ годахъ, по словамъ одного офиціальнаго изданія, „хорошій ткачъ шелковыхъ матерій" могъ пріобрѣсти въ Москвѣ по 3—4 рубля въ день. Правда, что этотъ рубль — ассигнаціонный — сильно упалъ въ цѣнѣ и стоилъ теперь 27—28 копескъ; правда и то, что офиціальный авторъ, вѣроятно, прикрашивалъ дѣйствительность; но если даже произвести соотвѣтственный учетъ на цѣнѣ рубля и понизить, кромѣ того, показанія этого автора вдвое, мы все же получимъ увеличеніе заработной платы, по крайней мѣрѣ, на 50% (10 и 15 рублей въ мѣсяцъ). Наблюденія надъ колебаніями заработной платы въ отдѣльныхъ предпріятіяхъ даютъ увеличеніе, за первые двадцать лѣтъ XIX столѣтія, на 25%. По словамъ знакомаго намъ Гакстгаузена „ни въ одной странѣ заработная плата (фабричныхъ рабочихъ) не достигала такой высоты, какъ въ Россіи". „Даже денежная заработная плата въ Россіи, въ общемъ, выше, чѣмъ въ Германіи. Что же касается до реальной платы, то преимущества русскаго рабочаго передъ заграничнымъ въ этомъ отношеніи еще значительнѣе" — потому, конечно, что всѣ съѣстные припасы въ Россіи 40-хъ годовъ стоили гораздо дешевле, чѣмъ въ Германіи.

Здѣсь мы имѣемъ не только яркій симптомъ роста русской промышленности въ царствованіи Александра и Нико-

ловичей, но и объясненіе сравнительной медленности этого роста и долговѣчности кустарныхъ промысловъ. Въ самомъ дѣлѣ, „вольные“ рабочіе русскихъ фабрикъ въ началѣ XIX столѣтія, были, въ дѣйствительности, крѣпостными крестьянами, отпущенными по оброку. Встрѣчались, конечно, между ними и государственные крестьяне: были и рабочіе, прикрѣпленные къ фабрикамъ (т. наз. „посессіонные“). Но непроизводительность фабричной барщины была еще болѣе общимъ мѣстомъ, нежели барщины полевой. Свеклосахарные заводы, работавшіе крѣпостнымъ трудомъ, давали едва 3% чистаго дохода; тогда какъ Гакстгаузенъ купцы, примѣнявшіе на фабрикахъ вольный трудъ, увѣряли, что въ Россіи никто не станетъ затрачивать капитала на промышленное предпріятіе, если оно даетъ менѣе 20—25% барыша: и по отношенію къ купеческимъ фабрикамъ это была правда. Въ то время какъ въ Англіи въ 30—40 годахъ на каждаго работника выплавлялось въ годъ 312½ пуд. чугуна, у насъ на Уралѣ, гдѣ работники были крѣпостные, всего 144 пуда. Если въ сельскомъ хозяйствѣ могли быть споры относительно вольнонаемнаго труда, тутъ даже и споровъ быть не могло. Недаромъ наши фабриканты-помѣщики были первыми господами, которые ввели заработную плату для своихъ крѣпостныхъ рабочихъ, фабриканты-купцы, владѣвшіе своими фабричными на „посессіонномъ“ правѣ [1]), поспѣшили избавиться отъ посессіонныхъ рабочихъ при первой возможности. Эту возможность имъ доставилъ законъ 18 іюля 1840 г.,—вызванный многочисленными ходатайствами и петиціями самихъ фабрикантовъ. Въ этихъ петиціяхъ фабриканты жаловались министерству финансовъ—въ вѣдѣніи котораго они находились—что „производство на фабрикахъ работы посессіонными людьми не только неудобно, но и наноситъ постоянно важные убытки“, что „производить работы посредствомъ посессіонныхъ фабричныхъ, коихъ содержаніе сравнительно съ вольнонаемными обходится слишкомъ дорого“,

[1]) „Посессіонные“ рабочіе были прикрѣплены къ фабрикѣ, но работали все же недаромъ, а за плату, размѣръ которой, въ виду ихъ закрѣпощенности, всецѣло опредѣлялся, разумѣется, произволомъ владѣльца.

„совершенно не выгодно". Эта „совершенная невыгодность" крѣпостного труда и приводила къ тому, что еще до закона 1840 года болѣе половины (54%) рабочихъ на русскихъ фабрикахъ были вольнонаемные. Но „вольнонаемный", повторяемъ, не значитъ „вольный": вольнонаемные были тѣ же оброчные крѣпостные крестьяне, по большей части. Въ ихъ заработной платѣ заключался оброкъ, который они должны были платить своему барину. Косвенно, фабрикантъ, такимъ образомъ, обязанъ былъ выплачивать помѣщику, подъ видомъ заработной платы рабочимъ, часть его поземельной ренты: вотъ секретъ высокихъ заработныхъ платъ первой половины XIX столѣтія. Поперекъ дороги развитію обрабатывающей промышленности стояло крѣпостное право. Его упраздненіе было необходимо въ интересахъ развитія „современнаго" капитализма въ Россіи на мѣсто болѣе ранняго капитализма торговаго. А такъ какъ—мы это увидимъ впослѣдствіи—современный капитализмъ въ Россіи до начала XX столѣтія гораздо больше опирался на привозный, западно-европейскій, капиталъ, нежели на результаты мѣстнаго „накопленія"—туземное накопленіе до послѣдняго времени росло въ Россіи медленнѣе, нежели нашъ промышленный капитализмъ—то находитъ себѣ извѣстное оправданіе странная и, на первый взглядъ, совершенно нелѣпая легенда, циркулировавшая среди мелкихъ помѣщиковъ послѣ Севастопольской войны. Легенда эта гласила, будто секретной статьей Парижскаго мира 1856 г. Александръ II обязался, между прочимъ, дать въ Россіи свободу крестьянамъ. Само собою разумѣется, что фактически ничего подобнаго никогда не было—никакихъ секретныхъ статей этого рода парижскій трактатъ въ себѣ не содержалъ. Но онъ закрѣпилъ побѣду надъ николаевской Россіей буржуазной капиталистической Европы: тотчасъ послѣ Крымской войны начался притокъ въ Россію заграничныхъ капиталовъ—основанное въ 1857 г. „Главное общество россійскихъ желѣзныхъ дорогъ" было созданіемъ парижскаго банкира Перейры. „Освобожденіе" труда въ Россіи было логическимъ послѣдствіемъ этого факта—мужика нужно было открѣпить отъ барина и, хотя отчасти, отъ земли, чтобы создать „ре-

„рвную армію“ пролетаріата, безъ которой не можетъ существовать капиталистическое производство. И недаромъ въ числѣ чествовавшихъ Александра II за его освободительную инициативу, на московскомъ банкетѣ 28 декабря 1857 г., мы на первомъ мѣстѣ встрѣчаемъ виднѣйшаго тогда представителя русскаго капитализма—откупщика Кокорева.

Мы понимаемъ теперь, почему обслуживавшій интересы промышленниковъ „Журналъ Мануфактуръ и Торговли“, первое изъ официальныхъ изданій, началъ развивать въ 1830 годахъ идею о преимуществахъ „вольнаго“ труда передъ барщиннымъ, натверживая своимъ читателямъ мысль, что „всякая работа, въ которой принужденіе есть единственная пружина, никогда не будетъ производиться успѣшно“. И мы видимъ, гдѣ эта идея должна была встрѣтить наибольшее себѣ противодѣйствіе. Не среди владѣльцевъ барщинныхъ деревень: эти послѣдніе давно на опытѣ проѣрили эту идею. Только низкія цѣны на хлѣбъ мѣшали имъ сдѣлать послѣдній шагъ. Но по мѣрѣ роста ихъ сознательности росло и число попытокъ хозяйничать по-новому. Тутъ любопытно совпаденіе двухъ рядовъ явленій: размноженіе въ Россіи обществъ сельскаго хозяйства, съ одной стороны, случаевъ примѣненія сельскохозяйственныхъ машинъ, съ другой. Въ 1765 г. было основано Вольное экономическое общество въ Петербургѣ; и съ тѣхъ поръ до 1819 года въ собственной Россіи не возникло ни одного общества этого рода. Въ этомъ году основано Московское общество сельскаго хозяйства, въ 1828 г. южно-русское (въ Одессѣ), въ 1832 г.—ярославское, въ 1838 г.—пензенское, въ 1839 г.—казанское, въ 1847 г.—лебедянское, въ 1849 г.—калужское, въ 1858 г. смоленское и симбирское. Параллельно съ этимъ въ 1832 году возникаетъ въ Москвѣ первый въ Россіи заводъ для изготовленія сельскохозяйственныхъ машинъ—знаменитая фирма Бутеноп; до 1860 г. ея было продано своихъ издѣлій на милліонъ слишкомъ рублей; въ концѣ 50 годовъ она выпустила первые въ Россіи локомобили—въ иллюстрированныхъ изданіяхъ тѣхъ лѣтъ можно видѣть рисунки этого удивительнаго изобрѣтенія, съ восторженными описаніями. Все это кажется очень

наивно и некрупно теперь, когда локомобили въ Россіи считаются десятками тысячъ, а десятками милліоновъ рублей годичное производство земледѣльческихъ машинъ и орудій: восемьдесятъ лѣтъ назадъ знаменательно было уже то, что мѣсто мужицкихъ мускуловъ стали занимать паръ и желѣзо. Не менѣе знаменательна была и другая перемѣна. Крѣпостное хозяйство, мы видѣли, держалось на крестьянскомъ инвентарѣ—отсюда заботы барщинныхъ помѣщиковъ о сохраненіи въ неприкосновенности крестьянскаго тягла. Къ половинѣ XIX столѣтія помѣщики находятъ выгоднымъ для себя снабжать крестьянъ своимъ инвентаремъ—въ Харьковской, напримѣръ, губерніи передъ 1861 годомъ до половины крестьянъ не имѣли своихъ воловъ и лошадей и получали ихъ отъ помѣщика. А послѣдній зато отбиралъ у крестьянина большую часть его надѣльной земли: въ Полтавской губерніи около $^2/_3$ крѣпостныхъ, въ Черниговской $^1/_3$, въ ту же эпоху, не имѣли и десятины пахатной земли. Земля въ барщинномъ имѣніи начинаетъ цѣниться дороже, чѣмъ обрабатывавшіе ее крестьяне: такъ невысока была, въ глазахъ тогдашняго помѣщика, цѣнность крѣпостнаго работника. Любопытный образчикъ этихъ новыхъ отношеній и взглядовъ приводитъ въ своей статьѣ только что упомянувшійся нами Кокоревъ. „Я недавно купилъ въ Орловской губерніи 2.200 десятинъ земли, безъ крестьянъ, у гр. Р. за 100.000 р. сер.,—разсказывалъ онъ,—и отдалъ эту землю въ аренду за 9000 р. въ годъ, тогда какъ имѣніе съ крестьянами никогда не можетъ дать такихъ процентовъ. Въ той же губерніи мнѣ предлагаетъ кн. О. 3.500 десятинъ земли по той же расцѣнкѣ, какъ я купилъ у гр. Р., но я не могъ на это согласиться потому только, что на этой землѣ живутъ 500 крестьянъ, значитъ, и нѣтъ возможности пріобрѣсти эту землю купцу, а владѣніе подъ чужимъ именемъ никому не по нутру. Надобно вамъ сказать, что за 500 лицъ крестьянъ никакой не полагалось цѣны". Кн. О., такимъ образомъ, весьма не прочь былъ бы просто прогнать на всѣ четыре стороны „500 лицъ крестьянъ", обитавшихъ въ его имѣніи,—но, на его бѣду, устарѣвшее законодательство, не признававшее освобожденія безъ земли

мѣшало ему это сдѣлать. Что ходъ мыслей кн. О. долженъ былъ быть именно такой, и что онъ отнюдь не представлялъ собою исключенія среди своихъ собратій, черноземныхъ помѣщиковъ, показываетъ одно дошедшее до насъ письмо одной помѣщицы, какъ разъ той же Орловской губерніи, о которой трактовала и статья Кокорева. „Въ Орловской губерніи земля очень цѣнна,—говорится въ этомъ письмѣ,—ибо ненаселенное имѣніе считается вдвое выгоднѣе населеннаго, а работники дешевы"; дворяне охотно согласятся „взять всю землю себѣ". „Здѣшніе помѣщики до того ослѣплены, что не видятъ возможной опасности въ конечномъ разореніи народа... Говорятъ, что именно дорога власть сослать въ Сибирь по капризу, отдать въ солдаты, высѣчь и проч. Но сослать и отдать въ солдаты стоитъ денегъ, а безъ земли можно просто безъ расходовъ уморить съ голоду, выславъ со всею семьей изъ дому. Слѣдовательно, власть казнить остается при помѣщикахъ".

Итакъ, тѣ помѣщики, у которыхъ крестьяне были на барщинѣ,—т.-е. тѣ, которые сами вели хозяйство въ своихъ имѣніяхъ (а къ такимъ принадлежало большинство помѣщиковъ черноземной полосы), передъ 1861 годомъ ничего не имѣли противъ освобожденія крестьянъ. Оговорку надо сдѣлать только по отношенію къ самымъ мелкопомѣстнымъ—владѣльцамъ десятковъ „душъ", которые эксплуатировали личность своихъ крѣпостныхъ, продавая ихъ въ рекруты въ болѣе богатыя имѣнія, торгуя „на выводъ" крестьянскими дѣвушками и т. под.: эти, конечно, потерпѣли бы убытокъ отъ упраздненія самого „крѣпостного права", въ тѣсномъ смыслѣ слова. Но соціальное значеніе этой группы было ничтожно—никакого вліянія она не имѣла и ничему помѣшать не могла. Для болѣе же крупныхъ вопросъ шелъ не о томъ, освобождать или не освобождать, а о томъ „съ землей или безъ земли?" Около этого долженъ былъ бы разгорѣться бой, если бы въ Россіи всѣ имѣнія покрупнѣе были на барщинѣ. Если въ исторіи „освобожденія" оказались „крѣпостники", то потому, что въ Россіи большое количество имѣній было на оброкѣ (цифры мы приводили выше, стр. 131), и въ нечерноземной полосѣ такихъ

имѣній было большинство. На первый взглядъ это звучитъ парадоксомъ—оброчныя имѣнія представляются намъ болѣе близкими къ свободѣ, менѣе крѣпостными, чѣмъ барщинныя: недаромъ Онѣгинъ „яремъ барщины старинной оброкомъ легкимъ замѣнилъ", чѣмъ и стяжалъ благословенія своихъ „рабовъ". Правда, „легкій" оброкъ существовалъ больше въ литературѣ: на практикѣ, во времена Пушкина оброкъ въ 60 рублей (ассигнаціями) съ тягла считался „еще не великимъ"—и крестьяне многоземельныхъ имѣній могли съ нимъ справиться; а это на наши деньги около 45 рублей съ годъ съ семьи, гдѣ могло быть не больше 2—3 взрослыхъ работниковъ. Только, если имѣніе было малоземельное, крестьянамъ приходилось иногда прибѣгать, для уплаты оброка, къ экстреннымъ мѣрамъ, въ родѣ воровства сосѣдняго казеннаго лѣса, а помѣщику, для взысканія—къ продажѣ крестьянскихъ коровъ и лошадей. Но за всѣмъ тѣмъ, оброчное хозяйство, чисто экономически, было ближе къ свободному крестьянскому хозяйству, нежели барщинное: и именно потому, что здѣсь крѣпостного п р а в а было гораздо больше, чѣмъ крѣпостного х о з я й с т в а, юридическую границу было труднѣе перестушить. „Особенно заботитъ меня имѣніе новоторжское", писалъ, при первыхъ слухахъ о крестьянской реформѣ, одинъ помѣщикъ нечерноземной полосы: „потому что о н о о б р о ч н о е и запашки (барской) въ немъ нѣтъ... з е м л я н и ч е г о н е с т о и т ъ, и крестьяне ходятъ всѣ въ Петербургъ, слѣдовательно, платятъ оброкъ не за землю"... Что бы сталъ дѣлать помѣщикъ этого имѣнія послѣ освобожденія его крестьянъ по „черноземному" образцу, т.-е. даромъ, но безъ земли? Завелъ бы барскую запашку на землѣ, которая „ничего не стоила" и, очевидно, при обычномъ экстенсивномъ хозяйствѣ никакого дохода давать не могла? А чтобы завести интенсивное хозяйство, нуженъ былъ капиталъ. Передъ владѣльцами оброчныхъ имѣній оставалось два выхода: или добиваться полученія капитала путемъ выкупа у нихъ, казною, самихъ крѣпостныхъ—этой дорогой предполагалъ идти авторъ только что цитированнаго мною письма. Онъ проектируетъ такой расчетъ: „у помѣщика 100 душъ, каждая душа работаетъ 100 дней, итого 10.000 дней. Считая рабочій день по 20 коп.,

100 душъ даютъ 2.000 р. Крестьянамъ будетъ предоставлено право внести помѣщику капиталъ, который, считая 6%, далъ бы такой доходъ, слѣдовательно 33.000 рублей". Расчетъ, какъ видимъ, весьма „умножительный"—крестьянская душа фактически работала въ Петербургѣ, а не въ новоторжскомъ имѣніи, и, съ экономической точки зрѣнія, „выкупать" ей было рѣшительно нечего. Но безъ этого помѣщикъ оброчнаго имѣнія при реформѣ потерялъ бы все—вотъ почему расчета новоторжскаго помѣщика, съ различіями въ оттѣнкахъ, держались всѣ „либералы" нечерноземной Россіи, начиная съ шедшихъ въ авангардѣ освободительной арміи тверскихъ дворянъ. Такой же выкупъ, въ сущности, личности крестьянина, лежалъ въ основѣ и знаменитаго проекта Кавелина. Но „либералы" за деньги пытались продать крестьянамъ, по крайней мѣрѣ, настоящую свободу. Была другая группа оброчныхъ помѣщиковъ, политически несравненно болѣе вліятельная, которая рѣшала вопросъ консервативнѣе. „Знатные и богатые помѣщики", употребляя терминологію одной официальной записки 1859 года, желавшіе „создать у насъ поземельную аристократію, подобно англійской", разсчитывали просто напросто сохранить выгодную для нихъ экономическую комбинацію, поступившись только, въ угоду времени, юридической терминологіей. Они соглашались, чтобы крестьяне были объявлены свободными,—но требовали, чтобы они не получили, при этомъ, пахатной земли, во-первыхъ, и были прикрѣплены къ этой, не перешедшей въ ихъ собственность, землѣ, во-вторыхъ. Къ этимъ двумъ пунктамъ—обезземеленію и прикрѣпленію къ землѣ крестьянъ одновременно—сводился, въ основныхъ чертахъ, проектъ „освобожденія", выработанный въ 30-хъ годахъ Киселевымъ—и онъ же легъ въ основу знаменитаго рескрипта 20 ноября 1857 г., съ котораго официально началась крестьянская реформа Александра II. По этому рескрипту, въ собственность къ крестьянамъ поступали только ихъ у с а д ь б ы—надѣлы же переходили только въ ихъ п о л ь з о в а н і е, причемъ первая уступка дѣлалась „въ видахъ предотвращенія вредной подвижности и бродяжничества въ сельскомъ населеніи". Нѣтъ надобности говорить, что и проектъ, и рескриптъ возникли именно въ

средѣ „знатныхъ и богатыхъ помѣщиковъ“, которые засѣдали въ николаевскихъ секретныхъ комитетахъ по крестьянскому дѣлу и въ „Главномъ комитетѣ“ 1857 года. Среди нихъ были люди, лично близкіе къ Александру II и пользовавшіеся громаднымъ придворнымъ вліяніемъ; соціальной же опорой этого вліянія служилъ тотъ фактъ, что почти половина дворянскихъ земель была именно въ рукахъ такихъ владѣльцевъ. По 10-й ревизіи (1857—1859 гг.) 44% всѣхъ крѣпостныхъ принадлежали помѣщикамъ, владѣвшимъ каждый болѣе, чѣмъ 500 душъ—а сами эти помѣщики составляли всего 4% дворянъ-землевладѣльцевъ. 37% были въ собственности помѣщиковъ, имѣвшихъ отъ 100 до 500 душъ каждый—и составлявшихъ 20% всей дворянской массы. И лишь 19% принадлежали мелко-помѣстнымъ владѣльцамъ, менѣе, чѣмъ со 100 душами каждый, а эти владѣльцы давали $^3/_4$ всего числа помѣщиковъ. Мы видимъ, какъ соціально притяжна была группа, заинтересованная въ сохраненіи неприкосновеннымъ крѣпостного права: но и средніе помѣщики располагали немного болѣе, чѣмъ третью всей дворянской собственности. Большинство этой послѣдней, если не абсолютное, то относительное, принадлежало „знатнымъ и богатымъ“: экономически совершенно естественно, что крестьянская реформа приняла такой видъ, какой былъ нуженъ имъ—остальныя группы должны были удовлетвориться уступками, но цѣликомъ того, что имъ было нужно, не получили. Главною изъ этихъ уступокъ была нарѣзка крестьянамъ земли въ собственность—мѣра, въ нечерноземной полосѣ Россіи безусловно необходимая для помѣщиковъ всѣхъ разрядовъ: „знатные и богатые“ возставали здѣсь противъ нея исключительно по своему экономическому невѣжеству. По словамъ же одного изъ лучшихъ знатоковъ вопроса въ то время, Кошелева, освобожденіе по проекту знати „разорило бы въ край половину помѣщиковъ, т.-е. почти всѣхъ, имѣющихъ свои земли въ промышленныхъ губерніяхъ, ибо крестьяне, лишенные своей вѣковой осѣдлости, ушли бы въ страны болѣе хлѣбородныя“. Помѣщики, собиравшіеся переходить къ интенсивному хозяйству, потеряли бы при этомъ своихъ батраковъ: но и тѣ крупные землевладѣльцы, которые сами

хозяйничать не собирались, а искали въ „освобожденныхъ“ крестьянахъ прочныхъ и невольныхъ (именно потому и прочныхъ, что невольныхъ) арендаторовъ, также лишились бы всѣхъ своихъ доходовъ. Дальнѣйшей уступкой въ пользу средняго землевладѣнія нечерноземной полосы (уступкой, само собою разумѣется, нисколько не задѣвавшей интересовъ „знатныхъ и богатыхъ помѣщиковъ“) была преувеличенная, почти двойная оцѣнка тѣхъ земель, которыя отошли къ крестьянамъ—т.-е. тѣхъ надѣловъ, какими владѣли крестьяне при крѣпостномъ правѣ. Рыночная стоимость всѣхъ этихъ надѣловъ составляла въ 60 годахъ 180 милліоновъ рублей, а получили за нихъ помѣщики 342 милліона. Въ ихъ рукахъ оказался, такимъ образомъ, капиталъ въ 162 милліона рублей на переходъ къ интенсивному хозяйству. Обыкновенно эта цифра цитируется, какъ образчикъ жадности помѣщиковъ—и, само собою разумѣется, объ ихъ безкорыстіи она не свидѣтельствуетъ. Но благодаря тому, что реформу вели не помѣщики-хозяева, а группа, не заинтересованная въ полученіи капитала на хозяйство, съ крестьянъ взяли меньше, чѣмъ предполагалось прожектерами этого лагеря. Мы сейчасъ видѣли, что крестьянская земля была оцѣнена почти в д в о е выше ея дѣйствительной стоимости: другими словами, въ каждомъ рублѣ выкупной платы только 50% или, собственно, за землю—остальнымъ крестьянинъ выкупалъ свою „душу“. Но по расчету Кавелина крестьянская „душа“ въ нечерноземной полосѣ стоила в т р о е дороже крестьянской земли: если бы установить выкупные платежи по этому расчету, крестьянину пришлось бы платить 25% за землю и 75% за „душу“, т.-е. заплатить помѣщикамъ не 342, а около 700 милліоновъ рублей. Что кавелинскія вычисленія не съ неба упали, а были взяты изъ практики, показываютъ расцѣнки крестьянскаго надѣла, проводившіяся „губернскими комитетами“ нечерноземныхъ губерній во время крестьянской реформы. Комитеты эти, состоявшіе, какъ извѣстно, исключительно изъ дворянъ, въ большинствѣ выбранныхъ мѣстными помѣщиками, а въ меньшинствѣ назначенныхъ правительствомъ, цѣнили крестьянскую землю гораздо дороже, чѣмъ „редакціонныя комиссіи“, составлявшіяся изъ чиновниковъ и дво-

рянъ, назначенныхъ правительствомъ. Ярославскій, напримѣръ, комитетъ, оцѣнивалъ крестьянскіе надѣлы своей губерніи, смотря по мѣстности, отъ 166 до 270 рублей, а комиссіи не считали возможнымъ назначить больше 75—166 рублей. Между тѣмъ, и комиссіи цѣнили не самую землю, по ея рыночной стоимости, а выводили стоимость крестьянскаго надѣла изъ платимаго крестьянами оброка, капитализируя его изъ 6% —т.-е. помножая на $16\frac{2}{3}$. Но мы знаемъ, что оброкъ въ нечерноземной Россіи крестьяне платили не за землю—оброкъ былъ выше дохода съ земли. Помѣщики желали, однако же, получить слишкомъ вдвое выше даже этой повышенной оцѣнки. Только тогда, по ихъ расчету, у нихъ оказался бы въ рукахъ капиталъ, достаточный для перехода къ интенсивному хозяйству. Но „знатные и богатые“ ихъ собратья не думали ни о какомъ интенсивномъ хозяйствѣ—они цѣнили въ освобождаемомъ крестьянинѣ будущій источникъ земельной ренты, будущаго арендатора барской земли, и не видѣли никакой выгоды для себя въ томъ, чтобы разорить этого будущаго „фермера“ окончательно. Экономическая отсталость тѣхъ, что стояли во главѣ крестьянской реформы, оказалась на руку крестьянамъ. Владѣльцы большихъ оброчныхъ имѣній лучше знали жизнь двора и петербургскихъ канцелярій, нежели деревенское хозяйство. Имъ казалось, что они оберегли интересы помѣщика какъ не надо лучше, и что слышавшіеся изъ деревни вопли средняго землевладѣльца свидѣтельствуютъ только о строптивости этого послѣдняго. На самомъ же дѣлѣ, помимо своего сознанія и вѣдома, они помѣшали ему провести реформу такъ, какъ это было нужно помѣщикамъ, и оставили мужику больше, нежели этого требовали дворянскіе интересы.

Если, такимъ образомъ, даже двѣ группы оброчныхъ помѣщиковъ не могли столковаться между собою, еще глубже должно было оказаться противорѣчіе между „знатными и богатыми“, владѣльцами оброчныхъ имѣній и владѣльцами барщинныхъ имѣній черноземной полосы. На поверхностный взглядъ можетъ показаться, что обѣ группы стремились къ одному и тому же: къ обезземеленію своихъ крестьянъ. Но это было бы недоразумѣніе: обезземеленіе каждая изъ нихъ

понимала по-своему. Барщинному помѣщику нуженъ былъ безземельный батракъ, который бы не имѣлъ своего хозяйства и экономически вынужденъ былъ наниматься работать въ барской экономіи: сельскій пролетарій, однимъ словомъ. Лэндлорду англійскаго типа, привыкшему жить оброкомъ со своихъ крѣпостныхъ, такой пролетарій былъ совершенно не нуженъ, а по воспоминаніямъ о нѣкоторыхъ событіяхъ въ Западной Европѣ (1848 годъ былъ въ свѣжей памяти) онъ былъ ему страшенъ. Онъ не желалъ дать крестьянину земли въ собственность, чтобы тотъ вынужденъ былъ арендовать барскую землю. Но, чтобы арендовать эту послѣднюю, крестьянинъ непремѣнно долженъ былъ сохранить свое хозяйство—свой инвентарь и, хотя небольшой, клочокъ земли—ибо нельзя же было представить себѣ сельскаго хозяина съ инвентаремъ, висящаго въ воздухѣ. Вотъ отчего первоначальные руководители крестьянской реформы и соглашались оставить крестьянину даже весь его прежній надѣлъ, но не на правахъ собственности, а лишь „въ пользованіе“, т.-е. за тотъ же оброкъ, но увѣковѣченный подъ именемъ „установленныхъ закономъ повинностей“. Когда выяснилось, что, во имя интересовъ самихъ же дворянъ нечерноземной полосы, надо поступиться принципомъ дворянской „собственности“ (крестьяне сами всегда считали свои надѣлы своей, крестьянской, собственностью—такъ что противоположная точка зрѣнія составляла, именно, дворянскую особенность), надѣлъ согласились „уступить“ крестьянамъ и совсѣмъ, а не только „въ пользованіе“. При этомъ его сильно обрѣзали, правда, отнявъ у крестьянъ отъ 20 до 40% ихъ земли, по разнымъ черноземнымъ губерніямъ различно (максимумъ въ Самарской—44%, минимумъ въ Курской—22%), и оцѣнили на 20% дороже его дѣйствительной стоимости (по рыночнымъ цѣнамъ земля стоила 284 милліна руб., а заплатили за нее крестьяне 342 милліона), но черноземный крестьянинъ все же сохранилъ свой надѣлъ и свое хозяйство. Того, что было нужно черноземному помѣщику, безземельнаго батрака, онъ не получилъ—и опять-таки крестьянина спасла экономическая отсталость тѣхъ, кто велъ реформу: „знатнымъ и богатымъ помѣщикамъ“ былъ нуженъ арендаторъ, а не батракъ

Не можетъ быть сомнѣнія, что въ крестьянофильской политикѣ придворныхъ и высшихъ бюрократическихъ круговъ извѣстную роль игралъ прямой политическій расчетъ. Опасенія крестьянской революціи настойчивѣе всего слышались изъ этихъ круговъ. Съ другой стороны, либерализмъ передовыхъ помѣщиковъ—либерализмъ, отлично сочетавшійся съ крайней жадностью по отношенію къ крестьянской землѣ и къ крестьянскому грошу—долженъ былъ возбудить противъ нихъ вражду тѣхъ, кто составлялъ правительство, т.-е. именно „знатныхъ и богатыхъ“. Во внѣшней исторіи крестьянской реформы конфликтъ на этой почвѣ играетъ очень видную роль—не учитывая его, нельзя понять многихъ шаговъ правительства. Но уже въ основѣ этого конфликта лежала не политическая случайность, а глубокая экономическая логика. Прогрессивный помѣщикъ, надѣявшійся вести хозяйство на буржуазныхъ началахъ, былъ и политически ближе къ буржуазіи, нежели къ старому, феодальному дворянству: недаромъ изъ рядовъ этихъ прогрессивныхъ помѣщиковъ раздались первыя требованія безсословнаго суда, безсословнаго земства,а позже, въ отдѣльныхъ случаяхъ, даже и требованіе отмѣны дворянскихъ привилегій. При консервативности русской промышленной буржуазіи до начала XX столѣтія (причины этой консервативности мы сейчасъ увидимъ) либеральный помѣщикъ, „лѣвый земецъ“, сдѣлался у насъ даже типомъ буржуазной оппозиціи вообще. Но и независимо отъ этого конфликта, поведеніе владѣльцевъ большихъ оброчныхъ имѣній не могло быть инымъ—тутъ была экономическая логика еще болѣе глубокая. Они стремились сохранить какъ можно больше изъ крѣпостного хозяйства, пожертвовать какъ можно меньшимъ. Но крѣпостное хозяйство помѣщика держалось на крестьянскомъ тяглѣ—на самостоятельномъ крестьянскомъ хозяйствѣ. Кто хотѣлъ вообще спасти старину, долженъ былъ спасать и тягло, и всячески предотвращать образованіе сельскаго пролетаріата. Руководители крестьянской реформы, творившіе волю правительства, это самое и дѣлали. И, чтобы не оставалось сомнѣнія, что они руководятся не интересами крестьянина, какъ мелкаго земельнаго собственника, а именно экономическимъ консерватизмомъ, вмѣстѣ съ тягломъ они спасли и пере-

несли въ по-реформенную Россію другое учрежденіе, нѣкогда спеціально созданное для обезпеченія того же крѣпостного хозяйства: поземельную общину. Какія бы чаянія и ожиданія ни связывала съ этимъ учрежденіемъ тогдашняя радикальная интеллигенція, сами дѣятели крестьянской реформы смотрѣли на него со строго „исторической“ точки зрѣнія. „Общинное устройство теперь, въ настоящую минуту, для Россіи необходимо“, писалъ Александру II генералъ Ростовцевъ, предсѣдатель редакціонныхъ комиссій: „народу нужна еще сильная власть, которая замѣнила бы власть помѣщика. Безъ міра помѣщикъ не собралъ бы своихъ доходовъ, ни оброкомъ, ни трудомъ, а правительство своихъ податей и повинностей“. Тутъ была та же логика, что и въ сохраненіи въ деревнѣ другого устоя крѣпостного хозяйства — тѣлесныхъ наказаній. Все должно было остаться, по возможности, по старому—перемѣны не должны были выходить изъ области словъ или, въ крайнемъ случаѣ, писаной бумаги. Это не былъ лозунгъ всего дворянства, какъ часто думали: передовое дворянство готово было идти навстрѣчу буржуазнымъ отношеніямъ гораздо радикальнѣе, чѣмъ это случилось. Но это былъ лозунгъ руководящей группы, отъ которой зависѣлъ „ходъ и исходъ крестьянскаго вопроса“.

Для „знатныхъ и богатыхъ“ результатъ реформы получился именно тотъ, какой былъ имъ нуженъ. Крупнѣйшее землевладѣніе и послѣ 19 февраля 1861 г. осталось господствующимъ, какъ оно было до него. По статистикѣ 70-хъ годовъ 10% помѣщиковъ, владѣвшихъ каждый болѣе, чѣмъ 1.000 десятинъ земли, принадлежало $^{3}/_{4}$ всей дворянской земельной собственности, при чемъ $^{3}/_{5}$ этой крупной собственности было въ рукахъ крупнѣйшихъ владѣльцевъ, имѣвшихъ болѣе 5.000 десятинъ на каждаго. Наоборотъ, тремъ четвертямъ всей дворянской массы принадлежало всего 14% общаго количества дворянской земли. Гибли и разорялись именно мелкопомѣстные—крупныя имѣнія, за индивидуальными исключеніями, благополучно дожили до 1905 года. Арендныя цѣны росли, какъ и предсказывалъ въ свое время Кокоревъ, и съ начала 60-хъ до начала 80-хъ годовъ поднялись въ $2^{1}/_{2}$—$3^{1}/_{2}$ раза, мѣстами даже и го-

раздо больше, въ 8—10 разъ. „Арендаторъ“ оказывался гораздо выгоднѣе „оброчнаго мужика“—и хлопотъ съ нимъ было меньше. Сохраненіе крестьянскаго тягла оказалось очень мудрой мѣрой,—освобожденный отъ обработки барской земли крестьянинъ могъ лучше заняться своей землей, и урожайность крестьянской пашни, какъ надѣльной, такъ и арендованной, повысилась: по семи черноземнымъ губерніямъ средняя урожайность въ эпоху реформы была 3,8, а въ 70-хъ годахъ—4,7. На душу населенія въ эпоху реформы приходилось 3,32 четверти чистаго сбора, а въ 1870—79 гг.—3,88 четв. Зато надежда тѣхъ среднихъ помѣщиковъ, которые мечтали объ интенсивномъ хозяйствѣ, развѣялась, какъ дымъ, особенно въ нечерноземной полосѣ. Уцѣлѣвшее крестьянское хозяйство оказалось грознымъ конкурентомъ помѣщичьяго—и конкуренція эта давала себя чувствовать самыми различными и подчасъ неожиданными способами. Расчетъ на дешевыя рабочія руки оказался миѳическимъ—руки въ деревнѣ были дешевы, когда былъ неурожай, т.-е. когда и на барской пашнѣ дѣлать было нечего: при хорошемъ урожаѣ крестьянамъ было достаточно работы на своихъ надѣлахъ, и они „ломили“ цѣну, отъ которой баринъ приходилъ въ ужасъ. Оборотнаго капитала было мало—полученныя за крестьянскіе надѣлы выкупныя свидѣтельства были проѣдены въ переходный періодъ, въ то же время „знатные и богатые“ не позаботились организовать дешеваго казеннаго кредита для своихъ среднеземельныхъ собратій—даже существовавшія въ крѣпостное время кредитныя учрежденія были закрыты; частный же кредитъ, при огромномъ спросѣ на капиталы для постройки желѣзныхъ дорогъ, былъ непомѣрно дорогъ (не менѣе 7% годовыхъ номинально—фактически еще болѣе). Наконецъ, самое проведеніе желѣзныхъ дорогъ, мѣра, о которой прогрессивные помѣщики и ихъ представители въ литературѣ хлопотали уже съ конца 30-хъ годовъ, дало совершенно неожиданные результаты. Ближайшая цѣль—оживленіе сношеній съ европейскимъ рынкомъ и поднятіе хлѣбныхъ цѣнъ—была, правда, этимъ достигнута: вывозъ хлѣба съ 8.780.000 четвертей въ концѣ 50-хъ годовъ поднялся до 18.154.000 четвертей въ концѣ 60-хъ; четверть пшеницы под

нялась съ 5—6 руб. до 8, четверть ржи съ 2 руб. 50 коп. или 3 руб. до 4—5. Но отъ этого выиграли не тѣ губерніи и не тѣ слои населенія, которые возлагали на желѣзныя дороги такія большія надежды. Съ проведеніемъ юго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, главнымъ образомъ, линіи Орелъ—Царицынъ (1870 годъ), за границу хлынулъ поволжскій хлѣбъ. Ранѣе отсюда вывозились, въ виду дороговизны транспорта, только самые цѣнные сорта хлѣба—пшеница-бѣлогурка, напримѣръ, теперь пошла и русская пшеница, и даже рожь. Въ результатѣ, въ то время, какъ въ Саратовѣ хлѣбныя цѣны поднялись на 100%, въ Орлѣ онѣ поднялись только на 66%, а въ Рыбинскѣ даже только на 50. Между тѣмъ, въ нижнемъ Поволжьѣ земля продолжала еще давать урожаи при очень экстенсивномъ хозяйствѣ, безъ большихъ предварительныхъ затратъ,—тогда какъ въ нечерноземной полосѣ экстенсивное хозяйство уже не давало урожаевъ: конкуренція была немыслима. И въ довершеніе своихъ бѣдъ, какъ разъ отъ проведенія желѣзныхъ дорогъ, помѣщикъ центральной Россіи потерялъ главное свое преимущество, всей выгодности котораго онъ и не сознавалъ при крѣпостномъ правѣ: монополію сбыта хлѣба на рынкѣ. Только располагая сотнями даровыхъ крестьянскихъ подводъ, можно было доставить хлѣбъ туда, гдѣ стояли выгодныя цѣны—на одинъ изъ главныхъ рынковъ. Теперь, гдѣ была желѣзнодорожная станція, тамъ былъ и рынокъ; изъ любого захолустья хлѣбъ шелъ безъ перегрузки въ Ригу или Одессу. Вмѣстѣ съ желѣзною дорогой появились рои мелкихъ агентовъ, которые покупали хлѣбъ у кого угодно—у помѣщика, у крестьянина, у мелкаго мѣстнаго скупщика. Прежде мужикъ долженъ былъ терпѣливо дожидаться, пока продастъ свой хлѣбъ баринъ, да еще возить барскій хлѣбъ въ городъ на своей лошади—теперь баринъ долженъ былъ равняться подъ „мужицкія“ цѣны. Но мужикъ, не знавшій наемнаго труда и интенсифицировавшій свое хозяйство при помощи своихъ мускуловъ—которые онъ, въ простотѣ души, считалъ даровыми—всегда могъ продавать хлѣбъ дешевле помѣщика. Въ результатѣ всего этого помѣщичье хозяйство средней Россіи послѣ крестьянской реформы стало чуть ли не болѣе

еще экстенсивнымъ, чѣмъ былъ ранѣе. „Почти всѣ владѣльцы нашего околотка оставались, какъ и крестьяне, при прежнихъ сельскохозяйственныхъ порядкахъ, которые были еще пригодны, пока пашни дѣлали хорошіе урожаи безъ удобренія, и существовалъ крѣпостной трудъ, но которые съ истощеніемъ почвы и при вольнонаемномъ трудѣ ведутъ къ неизбѣжному разоренію",—писалъ Кавелинъ о Тульской губерніи начала 70-хъ годовъ. „Мѣсто прежняго расчета, и, если хотите, своего рода теоріи, заступила рутина, въ которой никто не отдаетъ себѣ отчета, которой слѣдуютъ только по привычкѣ". „Послѣ Положенія (19 февраля) прошло уже 12 лѣтъ,—писалъ въ то же время о Смоленской губерніи Энгельгардтъ,—но система хозяйства осталась у большинства все та же. Сѣютъ по-старому рожь, на которую нѣтъ цѣнъ и которую никто не покупаетъ, чуть у крестьянъ порядочный урожай, овесъ, который у насъ родится очень плохо; обрабатываютъ поля по-старому, нанимая крестьянъ съ ихъ лошадьми и орудіями; косятъ также плохіе лужки, скотъ держатъ, какъ говорится, для навоза, кормятъ плохо и считаютъ скотъ хорошо выдержаннымъ, если коровъ по веснѣ не приходится подымать". Оба автора даютъ явленію субъективное объясненіе, т.-е. объясняютъ дѣло лѣностью, инертностью, непредусмотрительностью помѣщиковъ, которые не хотятъ „стряхнуть" съ себя крѣпостническихъ привычекъ. На самомъ дѣлѣ, явленіе было объективно необходимо: крупное земледѣльческое хозяйство могло держаться въ средней Россіи только при томъ искусственномъ подчиненіи ему мелкаго, которое и называлось крѣпостнымъ правомъ. Какъ только оба хозяйства, мелкое и крупное, стали въ одинаковыя условія конкуренціи, мелкое при данной обстановкѣ должно было взять верхъ. Оставалось поступить наоборотъ: поставить крупное хозяйство въ зависимость отъ мелкаго, т.-е. отдавать барскую пашню въ аренду крестьянамъ. Большинство помѣщиковъ такъ и дѣлало и, пока на хлѣбномъ рынкѣ держались „твердыя" цѣны, кое-какъ выпутывалось изъ затрудненій. Настоящій кризисъ начался лишь тогда, когда цѣны на международномъ хлѣбномъ

рынкѣ упали[1]): тогда уже никакимъ путемъ, даже посредствомъ отдачи въ аренду, нельзя было извлекать дохода изъ своихъ земель, и понадобились мѣры политическія, извѣстныя подъ именемъ „контръ-реформъ“ Александра III. Но прежде чѣмъ перейти къ нимъ, надо посмотрѣть, какіе результаты дало паденіе крѣпостного права для развитія современнаго капитализма внѣ области аграрныхъ отношеній.

Пролетаризованный работникъ нуженъ былъ не только владѣльцамъ черноземныхъ имѣній: онъ нуженъ былъ также и фабриканту. Задержавъ пролетаризацію крестьянства, „знатные и богатые“ помѣщики разрушили надежды не только своихъ среднеземельныхъ собратій, но и промышленной буржуазіи. Подъ первымъ впечатлѣніемъ реформы 19 февраля русская обрабатывающая промышленность не только не пошла впередъ гигантскими шагами, но едва ли не попятилась назадъ. Количество выплавленнаго въ Россіи чугуна съ 1860 по 1867 годъ упало съ $20^1/_2$ милліоновъ пудовъ до $17^1/_2$ милліоновъ; количество обработаннаго на русскихъ фабрикахъ хлопка застыло за этотъ же періодъ времени почти на одной цифрѣ—около 3 милл. пудовъ. Въ самую первую минуту даже расчетъ на пониженіе заработной платы казался лопнувшимъ. Получивъ земельные надѣлы, въ нечерноземной полосѣ довольно порядочные по размѣрамъ, всѣ тѣ оброчные крестьяне, которыхъ загнала на фабрики барская воля (мы помнимъ, какъ заботились помѣщики о развитіи отхожихъ промысловъ), а не ихъ собственный интересъ, поспѣшили оттуда уйти. Фабрикантамъ, чтобы удержать остальныхъ, пришлось повысить заработную плату—и если послѣ этого она опять скоро начала прогрессивно падать, то не столько въ связи съ тѣми или другими результатами крестьянской реформы, сколько благодаря введенію машинъ, глав-

[1]) Цѣна гектолитра пшеницы во франках.

Годы.	Франція.	Англія.	Пруссія.	Италія.	Соед. Штаты.
1862—71	20,67	21,96	22,98	21,03	20,17
1891—900	16,80	12,11	15,48	17,88	8,97

шихъ вшизъ заработную плату и до 19 февраля [1]). Въ то же время, сохранивъ въ деревнѣ до-буржуазныя отношенія, главнымъ образомъ, общину съ ея круговой порукой, реформа не оправдала надеждъ и на расширеніе внутренняго рынка. До 19-го февраля этотъ послѣдній туго развивался, между прочимъ, и потому, что крестьянство барщинныхъ имѣній, почти не видя денегъ (гдѣ бы оно ихъ заработало?), поневолѣ жило въ условіяхъ полу-натуральнаго хозяйства—старалось ничего почти не покупать, удовлетворяя свои, искусственно пониженныя до минимума, потребности, своими, домашними, средствами. Фабрика обслуживала городскую Россію и оброчное крестьянство, жившее отхожими промыслами. Послѣ 19-го февраля въ этомъ отношеніи дѣло мало измѣнилось. Черноземный крестьянинъ на своемъ „кошачьемъ“ надѣлѣ попрежнему сводилъ свои потребности къ минимуму и не оставлялъ пріобрѣтенной въ крѣпостное время привычки покупать какъ можно меньше. Съ этой точки зрѣнія, любопытно сравнить бюджеты крестьянъ Воронежской губерніи—типичной черноземной—80-хъ годовъ прошлаго столѣтія: въ то время какъ у крестьянъ-„собственниковъ“, т.-е. получившихъ надѣлы, денежная часть составляла менѣе половины бюджета, у крестьянъ-„дарственниковъ“, фактически-пролетаризованныхъ [2]), деньгами покрывалось три четверти бюджета; лишь четверть того, что они потребляли, они извлекали изъ собственнаго хозяйства. Мы видимъ, какія преграды развитію денежнаго хозяйства въ деревнѣ ставило пресловутое „освобожденіе крестьянъ съ землей“, которымъ такъ хвастались творцы реформы 19-го февраля и ихъ поклонники: т.-е., въ

---

[1]) Мѣсячная заработная плата въ селѣ Ивановѣ:

	Около 1850 года.	Около 1860 года.
набойщика	6—12 р.	5— 8 р.
механическаго ткача .	12—16 р.	10—13 р.
ткача ручного	3 р. 50 к.—4 р.	3 р.—3 р. 50 к.

[2]) Въ видѣ „поправки“ къ реформѣ помѣщикамъ было предоставлено право ликвидировать свои отношенія къ крестьянамъ, уступивъ имъ даромъ ½ надѣла, безъ выкупа—т.-е. фактически ихъ обезземеливъ.

дѣйствительности, сохраненіе крестьянскаго тягла, ибо земли-то какъ разъ крестьянамъ было дано въ обрѣзъ.

Совершенно естественно, что въ первыя десятилѣтія послѣ реформы промышленный капиталъ въ Россіи росъ довольно медленно. Изъ общей суммы капиталовъ акціонерныхъ предпріятій, возникшихъ въ Россіи между 1861 и 1873 гг., всего 1.115. 600.000 руб., только 128,9 милл. р. было вложено въ различныя промышленныя предпріятія (въ томъ числѣ на прядильныя и ткацкія фабрики приходилось только 6 милліоновъ), тогда какъ въ банки и кредитныя учрежденія было вложено 226,9 милл. р., а въ постройку желѣзныхъ дорогъ 698,5 милл. р. Мы видимъ, кто больше всего выигралъ отъ реформы: давній и вѣрный союзникъ крупнаго феодальнаго землевладѣнія, торговый капиталъ. Ибо созданіе сѣти желѣзныхъ дорогъ, крупнѣйшее капиталистическое предпріятіе по-реформенной Россіи, въ первую голову служило интересамъ именно торговаго капитала. Этимъ интересамъ отвѣчалъ, прежде всего, планъ сѣти, какъ онъ возникъ еще въ концѣ 50-хъ годовъ: по этому плану „непрерывнымъ черезъ 26 губерній желѣзнымъ путемъ“ должны были соединиться „три столицы (Петербургъ, Москва и Варшава), главныя судоходныя рѣки наши, сосредоточіе хлѣбныхъ нашихъ избытковъ, и два порта на Черномъ и Балтійскомъ моряхъ, почти весь годъ доступные (Либава и Ѳеодосія): облегчится симъ образомъ вывозъ заграничный, обезпечится привозъ и продовольствіе внутреннее“. Отъ этого плана были потомъ частичныя уклоненія, но основная его идея—соединеніе хлѣбородныхъ губерній съ вывозными портами—проводилась неуклонно. Хлѣбные грузы составили главную категорію русскихъ желѣзнодорожныхъ грузовъ, и % ихъ все росъ: въ 1870 году они составили 27,5% всей массы товаровъ малой скорости, а въ 1876 г. уже 42%. На отдѣльныхъ дорогахъ хлѣбъ достигалъ 73 и даже 88% всѣхъ грузовъ. Въ то же время облегченіе „хлѣбныхъ нашихъ избытковъ“, путемъ выбрасыванія все большихъ и большихъ массъ хлѣба за границу, производилось съ такою же неуклонной правильностью. Понятіе объ этомъ можетъ дать слѣдующая табличка, гдѣ сопоставлены: ростъ желѣзнодо-

рожной сѣти, ростъ нашего хлѣбнаго вывоза и % отношеніе этого вывоза къ чистому сбору хлѣбовъ

Годы.	Длина желѣзн. дор.	Вывозъ (тыс. четв.)	% отнош. къ сбору.
1871— 5	10.202 вер.	22.483	12,2
1876—80	17.626 —	32.185	18,0
1881— 5	21.155 —	33.441	17,0
1887—90	24.229 —	46.585	22,0
1891— 6	27.093 —	50.345	22,0

Такъ какъ населеніе все это время росло (по послѣдней, 10-й, ревизіи до-реформенной эпохи въ Россіи считалось 74 милліона жителей, а по переписи 1897 года оказалось 130 милліоновъ), то, несмотря на ростъ производства хлѣба (со 184 милл. четвертей въ пятилѣтіе 1871—75 гг. до 288 мил. четв. за пятилѣтіе 1890—95 гг.), остатка на душу населенія за вывозомъ получалось все меньше и меньше: въ 1870 году этотъ остатокъ былъ 2,4 четверти, а въ 1895 менѣе 2 четвертей (1,99). При этомъ пудъ пшеницы въ началѣ этого періода стоилъ 1 р. 44 коп., а въ концѣ только 74; пудъ ржи упалъ съ 78 коп. до 54. Основная задача крѣпостного хозяйства—доставка на рынокъ все большаго и большаго количества все болѣе и болѣе дешеваго хлѣба вполнѣ удовлетворительно разрѣшалась, такимъ образомъ, и послѣ реформы, какъ до нея. Только работа выжиманія изъ крестьянина прибавочнаго продукта, ранѣе выполнявшаяся индивидуально каждымъ отдѣльнымъ помѣщикомъ, теперь была централизована: мѣсто помѣщичьихъ оброка и барщины заняли теперь правительственныя *подати*. По извѣстнымъ вычисленіямъ проф. Янсона, въ 70-хъ годахъ, прямые налоги всякихъ наименованій составляли отъ 120 до 200% чистаго дохода съ крестьянскаго надѣла въ черноземной полосѣ, и отъ 200 до 270% въ нечерноземной. Крестьянинъ *вынужденъ* былъ для покрытія податей продавать свой хлѣбъ, едва онъ поспѣлъ, какъ можно скорѣе и не стѣсняясь цѣной: отсюда общеизвѣстный фактъ, что *осеннія* цѣны на хлѣбъ въ Россіи, тотчасъ послѣ урожая, всегда ниже весеннихъ: въ среднемъ (по даннымъ за 1888—1900 года) на 10%, но иногда и гораздо болѣе.

Но такъ какъ теперь, послѣ 19 февраля, крестьянинъ былъ

юридически свободенъ, то эффектъ дѣйствія податного пресса былъ нѣсколько иной, чѣмъ пресса барщинно-оброчнаго. Этотъ послѣдній разорялъ крестьянство, опуская его жизненный уровень до минимума въ барщинныхъ имѣніяхъ, часто и ниже минимума въ оброчныхъ: но, какъ общее правило, онъ не лишалъ крестьянина его хозяйственной самостоятельности—на тяглѣ держалась вся система, съ исчезновеніемъ тягла исчезла бы и она. Реформа сохранила тягло, но теперь на мѣстахъ некому было о немъ заботиться. Администрація, взыскивавшая подати, зависѣла не отъ положенія крестьянъ на мѣстѣ, какъ зависѣлъ отъ него помѣщикъ въ своемъ бюджетѣ, а отъ петербургскихъ настроеній: помѣщику важно было свести концы съ концами, а чиновнику важно было угодить начальству. Находились же администраторы, которые на уплату податей продавали не только крестьянскій скотъ, но и крестьянскія постройки. То, чего такъ старалось избѣгнуть правительство императора Александра II въ 1861 году, пролетаризація крестьянства, подъ вліяніемъ податной политики этого самаго правительства, шла медленно, но неуклонно, и притомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ быстрѣе. За промежутокъ съ 1888 по 1893 годъ въ девяти центральныхъ черноземныхъ губерніяхъ число лошадей, главнаго рабочаго скота, у крестьянъ упало на 931 тысячу, при общемъ числѣ, въ началѣ періода, въ 4 съ небольшимъ милліона: т.-е. уменьшилось почти на 25%. А число лошадныхъ дворовъ, т.-е. дворовъ, способныхъ къ самостоятельному хозяйству, „тяголъ" въ старомъ, крѣпостномъ, смыслѣ, упало на 116,8 тысячъ изъ неполныхъ $2^1/_2$ милліоновъ—на 4,5%. Фактическій ростъ пролетаріата былъ, конечно, гораздо сильнѣе, чѣмъ можно подумать, имѣя въ виду только эти цифры. Во-первыхъ, пролетаризація имѣло мѣсто не только въ земледѣльческой полосѣ, но и въ центральныхъ промышленныхъ губерніяхъ: хотя, характернымъ образомъ, пролетаризація этого рода, увеличеніе числа безлошадныхъ дворовъ, слабѣе выражена въ промышленномъ районѣ, чѣмъ въ земледѣльческомъ. Въ первомъ населеніе менѣе зависѣло отъ хлѣбнаго рынка. А во-вторыхъ, значительная доля населенія на черноземѣ фактически была обезземелена, какъ мы знаемъ, еще во

время реформы, благодаря „дарственному“ надѣлу. Если причислить къ „дарственникамъ“ всѣхъ, получившихъ „низшіе“ надѣлы, доходъ съ которыхъ, по Янсону, былъ втрое ниже казенныхъ податей, то процентъ пролетаризованныхъ на черноземѣ въ 1861 году поднимется до 20—25%, всего крѣпостного населенія. Этого было мало, чтобы снабдить батраками всѣ имѣнія, до 19 февраля состоявшія на барщинѣ, но, само по себѣ безотносительно, это была крупная цифра. Изслѣдователи конца XIX вѣка опредѣляли, приблизительно, количество пролетаріевъ въ Россіи цифрою 10 милліоновъ; перепись 1897 года насчитала 9.156.080 человѣкъ, живущихъ наемнымъ трудомъ,—блестяще подтвердивъ такимъ образомъ гадательный расчетъ изслѣдователей-марксистовъ. Около половины этого количества, 5 милліоновъ, приходилось на сельскій пролетаріатъ. Но другая половина должна была находить приложеніе своему труду въ промышленности. Промышленный капиталъ не могъ бы теперь пожаловаться на недостатокъ рабочихъ рукъ. Но накопившейся, вопреки всѣмъ предвидѣніямъ и мѣрамъ предосторожности, резервною арміей труда воспользовался не столько русскій капиталъ, сколько капиталъ заграничный. Завоеваніе Россіи европейскимъ (главнымъ образомъ, французско-бельгійскимъ) капиталомъ составляетъ одинъ изъ существеннѣйшихъ моментовъ въ исторіи развитія „современнаго“ капитализма въ Россіи: безъ него не было бы той русской промышленности, которую мы, видимъ сейчасъ. Дѣло въ томъ, что какъ разъ въ то время, когда сталъ расти понемногу русскій пролетаріатъ и расширяться, благодаря, отчасти, именно пролетаризаціи крестьянства, внутренній рынокъ, русское туземное накопленіе, наоборотъ, пошло медленнѣе. Такъ какъ единственнымъ товаромъ, который сбывала Россія, былъ хлѣбъ, то накопленіе капитала въ Россіи тѣсно связано съ хлѣбными цѣнами: а онѣ къ концу XIX столѣтія, какъ мы видѣли, стали рѣзко падать. Только когда съ самыхъ послѣднихъ лѣтъ этого вѣка, цѣны на хлѣбъ начали вновь „крѣпнуть“, стало расти и наше туземное накопленіе:

Годы.	Накопленіе туземн. капитала (милліоны рублей).	Цѣнность русск. вывоза (тоже).	Цѣна ржи на берлинск. рынкѣ (въ маркахъ за тонну).
1893—96	103,7	631,4	122,5
1897—900	111,8	700,5	141,2
1901—904	209,4	907,4	138,0
1905—908	339,1	1053,3	173,0

Но довольно долго туземное накопленіе не могло догнать притока иностраннаго капитала въ Россію:

Годы.	Капиталъ туземный (милл. рублей).	Капиталъ заграничный (милл. рублей).
1893—96	103,7	144,9
1897—900	111,8	450,7
1901—904	209,4	181,6
1905—908	339,1	370,7
1909—911	913,1	284,0

Какъ видимъ, только въ самые послѣдніе годы современный капитализмъ въ Россіи сталъ опираться, почти исключительно, на русскіе капиталы. Задолго до этого русская обрабатывающая промышленность уже росла въ гигантской пропорціи. Выплавка чугуна въ Россіи съ 31 милліона пудовъ въ 1885 г. поднялась до 87 милліоновъ въ 1895 и до 166 милл. пудовъ въ 1905; въ 1910 она составляла болѣе 185 милліоновъ пудовъ. Количество переработаннаго хлопка съ 8 милл. пуд. въ 1890 г. до 16 милліоновъ въ 1900 и до 22 милл. п. въ 1910. Въ то же время самый типъ производства становится все болѣе и болѣе „современнымъ". Кустарь все больше уступаетъ мѣсто фабрикѣ. Въ 1866 году изъ всего числа рабочихъ, занятыхъ въ хлопчатобумажномъ производствѣ, приблизительно $^3/_5$, 95 тысячъ, работали на фабрикѣ—остальные 66 тысячъ у себя на дому; въ 1895 году на 242 тысячи фабричныхъ приходилось уже только 20 тысячъ кустарей. Въ новѣйшее время это таяніе „домашней системы" идетъ еще быстрѣе: въ 1904 году домашнихъ рабочихъ считалось еще 90 тысячъ человѣкъ, къ 1909 ихъ число сократилось до 75 тысячъ. При этомъ фабрика прямо и непосредственно вытѣсняетъ кустарное производство. „Вновь открытыя фабрики выстроились въ тѣхъ же районахъ, гдѣ раньше дѣйствовали раздаточныя конторы"

(откуда кустари получали пряжу), пишетъ владимірскій фабричный инспекторъ въ своемъ отчетѣ за 1906 годъ, „и ручные ткачи, кустари создали главный контингентъ рабочихъ этихъ фабрикъ. Обученіе и пріобрѣтеніе навыка къ механическому ткачеству миткалей, требуя не болѣе 4—6 недѣль, не могло служить препятствіемъ къ такому переходу, который, въ виду вдвое большаго заработка механическихъ ткачей сравнительно съ ручными, былъ для нихъ крайне желательнымъ". Но и мелкая паровая ткацкая фабрика, возникающая на мѣстѣ кустарной „свѣтелки" (иногда буквально на томъ же мѣстѣ: построятъ рядомъ со свѣтелкой сарай для паровичка, и „фабрика" готова) является лишь переходнымъ типомъ: ее самое быстро вытѣсняетъ предпріятіе гигантъ, съ сотнями и тысячами рабочихъ. Въ 1909 году болѣе трети всѣхъ рабочихъ въ промышленныхъ заведеніяхъ, подчиненныхъ фабричному надзору, было занято въ предпріятіяхъ, имѣвшихъ болѣе 1000 рабочихъ каждое (672 тысячи изъ 1788 тысячъ); если взять соотвѣтствующую цифру 1904 года за 100, то 1909 годъ дастъ 120—тогда какъ вообще число фабричныхъ рабочихъ за это время увеличилось только на 7%.

Вопросъ о томъ, что вызвало притокъ иностранныхъ капиталовъ въ Россію, начиная съ конца 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія, лежитъ внѣ предѣловъ исторіи русской культуры. На него, впрочемъ, едва ли можно отвѣтить одинаково для всѣхъ странъ, ввозившихъ къ намъ свои „сбереженія". Такъ, для Франціи, которой принадлежала львиная доля ввоза, рѣшающимъ условіемъ было совпаденіе краха ея колоніальной политики (неудача тонкинской экспедиціи 1883 года) со слабымъ развитіемъ ея собственной индустріи: по выплавкѣ чугуна еще въ 1900 году Франція стояла на одномъ изъ послѣднихъ мѣстъ въ Европѣ, притомъ ниже Россіи. Съ тѣхъ поръ ея металлическое производство увеличилось въ полтора раза, она уже давно обогнала Россію, въ то же время ея колоніальная политика вновь приняла благопріятный оборотъ (захватъ Марокко). По старой памяти за капиталами еще обращаются и теперь въ Парижъ: но найти свободныя деньги иногда теперь легче въ Москвѣ или Петербургѣ. Но это объясненіе, годное для

Франціи, не годится, напримѣръ, для Бельгіи. Общими для всѣхъ европейскихъ странъ условіями была необыкновенная дешевизна капиталовъ на Западѣ въ 90-хъ годахъ (деньги можно было достать, подъ наиболѣе солидное обезпеченіе изъ 3%, — французская трехпроцентная рента стояла выше номинальной цѣны, тогда какъ теперь, напримѣръ, она расцѣнивается въ 85—87 за сто), съ одной стороны, и необыкновенная высота русскихъ таможенныхъ пошлинъ, съ другой: русскій тарифъ 1891 года пошлину на чугунъ, напримѣръ, поднялъ съ 7 коп. за пудъ до 45—52 коп., на бумажную пряжу съ 4 р. 81 к. до 7 р. 20 к. Это создавало для русскихъ предпринимателей исключительно выгодныя условія и сулило имъ такіе барыши, какихъ нигдѣ уже въ Европѣ получить было пельзя: понятно, стремленіе многихъ французовъ, бельгійцевъ и нѣмцевъ стать „русскими“ предпринимателями. Повышеніе таможенныхъ пошлинъ отчасти было предпринято сознательно, именно съ цѣлью привлечь въ Россію иностранные капиталы: но отчасти это было автоматическимъ послѣдствіемъ работы того налоговаго пресса, о которомъ говорилось выше; жали со всѣхъ сторонъ, и въ области прямыхъ налоговъ и въ области косвенныхъ: должно было подняться и таможенное обложеніе.

Въ 1891 году прессъ казался завинченнымъ такъ туго, что странѣ, повидимому, грозила смерть отъ задушенія въ самомъ близкомъ будущемъ. Неурожай этого года, о которомъ, по наслышкѣ, знаетъ и теперь всякій, представлялся началомъ агоніи. На дѣлѣ оказалось, однако же, что русское народное хозяйство способно вынести и еще большее давленіе. Гнетъ казался максимальнымъ для низкихъ хлѣбныхъ цѣнъ: стоило начать подниматься этимъ послѣднимъ, и даже въ крестьянскомъ хозяйствѣ (а уже изъ него ли не выкачивали въ десятки рукавовъ?) стали возможны прогрессивныя тенденціи. Ужъ около 1900 года деревянная соха на черноземѣ была вытѣснена желѣзнымъ плугомъ, и крестьяне, до тѣхъ поръ неуклонно терявшіе лошадей, стали ихъ прикупать: „вся рабочая сила накинулась на хлѣбопашество“, писалъ одинъ современный наблюдатель. Но крестьянство, въ районѣ старой крѣпостной Россіи, было такъ

крѣпко сжато, что здѣсь далеко дѣло пойти не могло. Гораздо рѣзче сказывались новыя тенденціи въ хозяйствѣ помѣщичьемъ или у крупнаго крестьянства русскихъ окраинъ, въ родѣ Новороссіи, Кубанской области и т. под. Самымъ главнымъ показателемъ перехода къ капиталистическому строю въ этой области было потребленіе сельскохозяйственныхъ машинъ. Еще въ 1876 году ихъ продавалось въ Россіи на сумму менѣе 4 милліоновъ рублей ежегодно: къ 1890-му эта цифра выросла больше, чѣмъ вдвое, до $7^1/_2$ милліоновъ; а по даннымъ за 1912 годъ Россія потребляетъ ежегодно сельскохозяйственныхъ машинъ на 110 милліоновъ рублей: за двадцать лѣтъ капитализмъ въ сельскомъ хозяйствѣ выросъ въ 15 разъ. За то же время (1876—1912 гг.) производство сельскохозяйственныхъ машинъ въ Россіи увеличилось въ 23 раза (съ 2, 3 милл. р. до 56 милліоновъ). Не однѣ только гигантскія фабрики позволяютъ говорить о Россіи, какъ о капиталистической странѣ: деревня также переходитъ къ буржуазному типу хозяйства. Юридическое упраздненіе общины (начавшееся отмѣной круговой поруки въ 1904 году и продолжавшееся законодательствомъ 1906—10 гг. о выдѣлахъ изъ общины ея отдѣльныхъ членовъ) было одною изъ сторонъ этого перехода: но для буржуазнаго хозяйства мало однихъ отрицательныхъ мѣръ—на мѣсто стараго права, экономически уже немыслимаго, должно стать новое. Какъ проходилъ у насъ процессъ приспособленія правовой оболочки къ мѣнявшимся экономическимъ условіямъ, это мы увидимъ въ слѣдующихъ главахъ „Очерка“.

Библіографія.

Дать сколько-нибудь полный обзоръ существующей литературы по „современному капитализму“ въ Россіи еще менѣе возможно, нежели исчерпать литературу по крѣпостному праву. Ограничиваемся главнѣйшимъ. Вопросу въ цѣломъ посвящена извѣстная книга Вл. Ильина „Развитіе капитализма въ Россіи“ (СПБ. 1899—есть нов. изд.). Книга трактуетъ именно о „современномъ“ капитализмѣ: болѣе раннія фазы капиталистическаго развитія не затронуты, и даже характеристика новѣйшихъ фазъ взята въ очень узкой хронологической рамѣ, за 70—90-е гг. Для промышленнаго капитализма предшествующаго времени см. не менѣе извѣстную „Русскую фабрику въ прошломъ и настоящемъ“ М. Туганъ-Барановскаго (т. I, СПБ., 1900 г., — 2-е изданіе: есть 3-е),—гдѣ, за-

оборотъ, историческая часть гораздо сильнѣе главъ, посвященныхъ новѣйшему времени. Что касается крестьянской реформы, то юбилей 19 февраля, въ 1911 г., вызвалъ къ жизни чрезвычайно обширную литературу, опирающуюся, за немногими исключеніями, на давно извѣстный печатный матеріалъ, и не сходящую съ традиціонной точки зрѣнія на реформу, какъ на ударъ мечомъ сверху по гордіеву узлу: насколько этотъ взглядъ живучъ, показываетъ повтореніе его, въ очень упрямой формѣ, въ цитированной на стр. 139, книгѣ г. Струве. Архивная разработка вопроса только что начинается: между тѣмъ, лишь она можетъ внести нѣчто существенно новое. Пока этого не случилось, мы не далеко ушли отъ старой работы покойнаго И. Иванюкова „Паденіе крѣпостного права въ Россіи“ (М. 1882—есть новое изданіе), которую и приходится рекомендовать начинающимъ, какъ вполнѣ удовлетворительную внѣшнюю исторію реформы: внутреннюю же нужно считать просто еще не написанной. Для аграрныхъ отношеній послѣ реформы см. П. П. Маслова „Аграрный вопросъ въ Россіи“ (нѣсколько изданій). Роль желѣзныхъ дорогъ обстоятельно разсмотрѣна въ названной неоднократно работѣ П. И. Лященко „Очеркъ аграрной эволюціи Россіи“, т. I. Для положенія иностраннаго капитала въ русск. хозяйствѣ см. книгу д-ра Ischhanian „Die auswärtigen Elemente in d. russischen Volkswirtschaft“, Berlin 1913, а также ст. С. Н. Прокоповича въ „Современникѣ“ 1912, іюль. Обширный статистическій матеріалъ по исторіи народнаго хозяйства въ Россіи въ новѣйшее время см. въ соотв. отдѣлахъ статьи Россія“ словаря Брокгауза и Ефрона (полутомы 54—55 и 4-й дополн.)

ОТДѢЛЪ II.

Государственный строй.

1.

Военно-финансовая организація.

Хозяйственныя отношенія, которыя мы разсматривали въ первомъ отдѣлѣ нашего очерка, представляютъ собою нѣчто текучее, изъ дня въ день мѣняющееся. Разглядѣть на этой, вѣчно волнующейся, поверхности нѣкоторыя постоянныя, опредѣленныя, теченія можно, только оглядываясь назадъ на событія, a posteriori. Современники этихъ постоянныхъ тенденцій обычно не замѣчаютъ. Происходящія на каждомъ шагу перемѣны кажутся имъ случайными. Но жить подъ гнетомъ случайности никому не пріятно: первое, и довольно естественное, стремленіе всякаго человѣка—изъ подъ этого гнета выбиться. А такъ какъ естественныя нормы общественной жизни остаются неизвѣстными, то люди стремятся создать нормы искусственныя: это и есть то, что мы называемъ „законами“, „правомъ“. Искусственность эта растетъ по мѣрѣ приближенія къ нашимъ временамъ, по мѣрѣ того, какъ хозяйство становится сложнѣе, жизненныя отношенія запутаннѣе. Первобытные люди принимаютъ, обыкновенно, какъ норму, то, что постоянно случается: древнѣйшее право это обычное право. Если отрѣшиться на минуту отъ мысли, что на свѣтѣ „все течетъ“, все ежеминутно мѣняется, и завтрашній день не будетъ уже вполнѣ похожъ на сегодняшній: а мысль эта далеко не такъ ясна первобытному человѣку какъ современному, и первобытный

человѣкъ отчасти правъ, потому что на раннихъ ступеняхъ развитія перемѣны, дѣйствительно, совершаются гораздо медленнѣе и незамѣтнѣе, чѣмъ въ наши дни — если отрѣшиться отъ эволюціонной точки зрѣнія, то обычное право окажется самымъ близкимъ къ праву естественному. Эта естественность обычнаго права дѣлаетъ то, что для поддержанія его не нужно никакихъ искусственныхъ средствъ: и до сихъ поръ въ тѣхъ мелкихъ дѣлахъ, гдѣ все рѣшается еще обычаемъ,— ну, хотя бы при игрѣ въ шашки, напримѣръ,—никому не придетъ въ голову обращаться къ суду, полиціи и тому подобнымъ охранителямъ закона. Хранителемъ обычая въ первобытномъ обществѣ было все племя: нарушитель обычая наталкивался на такой моральный бойкотъ, что ему оставалось только уйти или подчиниться. Но вотъ сталкиваются два племенные обычая, одно племя покоряетъ другое. Является вопросъ, чей же обычай сильнѣе? Разумѣется, обычай побѣдителя: но для побѣжденныхъ онъ не имѣетъ никакой внутренней принудительной силы. Ихъ можно заставить повиноваться этому чуждому обычаю, но нельзя заставить въ него вѣрить. Племени-побѣдителю придется устроить какую-нибудь внѣшнюю, механическую, такъ сказать, организацію. На первыхъ порахъ, господство выражается въ томъ, что господа, побѣдители, отбираютъ въ свою пользу часть продуктовъ, производимыхъ побѣжденнымъ: собирать дань самый простой способъ властвовать. Въ языкѣ это сохранилось до нашихъ дней: подданный, это тотъ, кто „подъ данью“, кто платитъ дань. Итакъ, цѣль первоначальной принудительной организаціи, какъ надо догадываться, была финансовая: принужденіе впервые понадобилось для сбора налоговъ побѣдителями съ побѣжденныхъ. А для того, чтобы достигать этой цѣли, приходилось, фактически или только въ видѣ угрозы, повторять актъ завоеванія: если не рубить мечомъ снова, то, по крайней мѣрѣ, показывать мечъ. Древнѣйшій сборщикъ податей всегда человѣкъ военный; древнѣйшій способъ сбора податей хожденіе князя съ дружиною, т.-е. со своими военными слугами, на „полюдье“. Первоначальная, древнѣйшая, принудительная организація—военно-финансовая. И если не въ смыслѣ фактической точности, то съ точки зрѣ-

нія исторической логики лѣтопись глубоко права, пріурочивая „начало русскаго государства“ къ появленію на Руси норманновъ. Вполнѣ возможно, что у насъ были зачатки „государственности“ и раньше норманновъ: лѣтопись упоминаетъ о туземныхъ князьяхъ у древлянъ. Ибо суть дѣла, конечно, не въ норманнахъ, а въ подчиненіи одного племени другимъ, а это могло случаться и между славянскими племенами. Вѣроятнѣе всего, однако, что тутъ слово „князь“ имѣло иное значеніе. Но варяжское нашествіе самый крупный случай племенного завоеванія, какой мы встрѣчаемъ на зарѣ нашей исторіи: притомъ норманны завоевали всѣ племена восточныхъ славянъ; такъ что общерусской государственной организаціи, во всякомъ случаѣ, положили начало они [1]).

Основу этой организаціи составляла упомянутая сейчасъ княжеская „дружина“, „своимъ появленіемъ положившая начало русскому государству“, по справедливому опредѣленію новѣйшаго историка Кіевской Руси. Князья были только предводителями этой дружины, безъ ея согласія ничего не предпринимавшими [2]). Въ ближайшую къ намъ эпоху, единственно доступную изученію, дружина уже не имѣла племенного норманскаго характера: составъ ея былъ международный, въ самомъ обширномъ смыслѣ слова, съ крупной долей восточныхъ степныхъ инородцевъ. Но имена древнѣйшихъ дружинниковъ, до насъ дошедшія, показываютъ, что ядро ея составляли, нѣкогда, варяги. Дружина была конным войскомъ: на русской равнинѣ морской викингъ сталъ наѣзднико̀мъ, какъ сталъ онъ конным рыцаремъ на равнинахъ сѣверо-западной Франціи и Англіи. Въ этомъ было стратегическое превосходство дружины надъ мѣстнымъ, славянскимъ племеннымъ ополченіемъ, воями, которыхъ „сгоняли пѣшцѣ“, а если съ лошадьми, то для обоза.

---

[1]) Читатель видитъ, что мы не придаемъ никакого историческаго значенія лѣтописной легендѣ о призваніи первыхъ варяговъ править Русью. Легенда эта (или странствующее сказаніе, аналогичныя легенды мы встрѣчаемъ и у другихъ народовъ) попала въ лѣтопись очень поздно, вѣроятнѣе всего, уже въ XII в., со спеціальной цѣлью облагородить княжескую династію и возвысить моральное значеніе княжеской власти вообще.

[2]) Подробнѣе объ этомъ см. ниже, отдѣлъ „Центральная власть“.

Выше мы уже указывали, что въ древнѣйшій періодъ лошадей у населенія было и не очень много, такъ что у иностранцевъ явилось представленіе, будто лошадей на Руси имѣетъ только князь. Это представленіе находитъ себѣ поддержку и кое въ какихъ извѣстіяхъ нашей лѣтописи. Въ 1068 г., когда княжескія дружины были разбиты половцами, и въ Кіевѣ была паника, кіевляне требовали у князя „оружія и коней“: значитъ, своихъ коней, по крайней мѣрѣ боевыхъ, у кіевлянъ не было. Съ другой стороны, изъ показанія лѣтописи, пріуроченнаго къ еще болѣе раннему времени (княженію Владиміра Св.), мы узнаемъ, что уголовные штрафы,—виры, платившіяся князю (о нихъ см. ниже — отдѣлъ „Судъ“), должны были идти, главнымъ образомъ, на покупку коней и оружія: кони опять являются княжескимъ достояніемъ по преимуществу. При господствѣ исключительно холоднаго оружія и отсутствіи военной дисциплины въ современномъ смыслѣ этого слова, перевѣсъ конницы надъ пѣшимъ ополченіемъ былъ громаденъ. Чтобы нагляднѣе представить себѣ дѣло, мы должны сравнивать не кавалерію съ пѣхотой, а взять, напримѣръ, драгуновъ или казаковъ, съ одной стороны, и уличную толпу, съ другой: тогда мы поймемъ, какимъ образомъ съ небольшими дружинами (максимальныя дружины отдѣльныхъ князей не выходили изъ первой тысячи) потомки варяжскихъ конунговъ могли „володѣть“ сотнями тысячъ славянскаго населенія. Только при столкновеніяхъ съ тоже конными ополченіями степныхъ кочевниковъ дружины одной оказывалось мало, и князьямъ приходилось привлекать къ дѣлу городскіе полки, устроенные и организованные, какъ нужно думать, по образу дружиннаго ополченія и, прежде всего, тоже конные. Вооруженное купечество: вотъ та сила, которая являлась ближайшимъ резервомъ дружины въ „національныхъ“ войнахъ того времени, въ походахъ на половцевъ, напримѣръ. Если мы припомнимъ характеръ торговли древнѣйшей эпохи, торговли „разбойничьей“, намъ не понадобится большого напряженія мысли, чтобы понять, почему торговый классъ древней Руси былъ организованъ по-военному, почему купцы дѣлились на сотни, подобно позднѣйшимъ казакамъ, и имѣли во главѣ „тысяцкаго“,

т.-е. полковника. Военное значеніе древне-русскаго города намъ еще понадобится впослѣдствіи: имъ объясняется, ближайшимъ образомъ, независимая, иногда даже командующая, позиція городского вѣча по отношенію къ князю. Пока для насъ важно, что, будучи ближайшимъ товарищемъ дружины въ военномъ строю, городъ не былъ объектомъ дружинной дѣятельности: городъ, какъ правило, дани не платилъ; если на городъ накладывалась дань, это имѣло такое же значеніе, какъ современная военная контрибуція. Дань платилась смердами, крестьянами, и для нихъ это положеніе казалось до такой степени естественнымъ, что на языкѣ лѣтописи „смердъ“ и „данникъ“ синонимы. Въ деревнѣ конное рыцарство, у насъ, какъ и на западѣ Европы, было силой абсолютно, внѣ всякаго возможнаго сравненія, преобладающей. И, если не считать прямыхъ грабежей, съ одной стороны, уголовныхъ штрафовъ, съ другой, древне-русская деревня была главнымъ источникомъ, откуда пополнялась княжеская казна. Пользуясь методомъ переживаній, мы можемъ составить себѣ весьма наглядное представленіе о древнѣйшей дани и способахъ ея собиранія. Въ глухихъ уголкахъ Полѣсья долго послѣ кіевской эпохи, подъ властью уже литовскихъ князей, въ XV, даже XVI вв., сохранились тѣ самыя финансовыя отношенія, обрывки которыхъ тамъ и сямъ мелькаютъ передъ нами въ Русской Правдѣ и лѣтописяхъ: между тѣмъ, какъ для литовской Руси мы имѣемъ уже довольно богатый документальный матеріалъ. Чрезвычайно архаична, прежде всего, самая дань, въ ея конкретной формѣ: подчиненные литовскимъ князьямъ полѣшуки платили ее медомъ, знакомство съ которымъ предковъ теперешняго населенія Европы мы можемъ прослѣдить, какъ мы помнимъ, за предѣлы даже арійской древности. Но эта „медовая дань“ обросла уже болѣе новыми наслоеніями, къ ней прибавилась въ литовской Руси (судя по нѣкоторымъ указаніямъ лѣтописи, уже и въ кіевской) дань „грошовая“, по литовско-русской терминологіи ,т.-е. денежная. Затѣмъ, въ литовской Руси это былъ уже только старый обычай, въ кіевской самая серьезная, главная часть дани, населеніе обязано было доставлять князю и его слугамъ мѣха и воскъ. Сохранился

и древній терминъ полюдье, „полюдованье“, для обозначенія экспедиціи за данью. Какъ въ древнѣйшее время племена восточныхъ славянъ, такъ и литовско-русскіе данники XVI в., собирать дань обязаны были сами. „Медовые“ и „серебряные“ старцы, отдаленные потомки племенныхъ старшинъ какихъ-нибудь древлянъ или радимичей, обязаны были заготовить все уложенное количество меду, воску, денегъ и мѣховъ ко времени появленія въ волости „ѣздока“, непремѣнно военнаго человѣка, дружинника, посланнаго княземъ для сбора дани. Онъ ѣздилъ изъ волости въ волость, кормясь на счетъ населенія и на его подводахъ. Но если дань платили исправно, онъ не смѣлъ оставаться въ волости больше, чѣмъ было необходимо нужно: онъ пріѣзжалъ къ обѣду и, переночевавши, на другой день послѣ обѣда уѣзжалъ, увозя съ собою собранныя населеніемъ деньги и припасы. Только въ томъ случаѣ, если послѣдніе поступали медленно и неисправно, на волость посылали „лежня“, карательную экспедицію, въ видѣ дружинника, который долженъ былъ „лежать“ въ волости, жить тамъ, на счетъ населенія, пока то не исправится и не заплатитъ, что слѣдуетъ. Въ XVI в. и въ Полѣсьѣ все это мелко и обыденно: но древнѣйшія экспедиціи этого рода къ могучимъ племенамъ обросли легендой въ народной памяти, и лѣтопись даетъ намъ трагическую иллюстрацію къ смѣшноватому на первый взглядъ обычаю, разсказывая, какъ князь Игорь заплатилъ головой за попытку „полежать“ у древлянъ.

Въ сѣверо-восточной Руси не сохранилось такихъ выразительныхъ остатковъ кіевской старины, какъ въ западной, вѣроятнѣе всего, потому, что въ основу московскихъ податныхъ порядковъ легла татарская финансовая организація, стершая или, по крайней мѣрѣ, закрывшая все предшествовавшее. Одной этой финансовой организаціи было бы достаточно, чтобы опровергнуть ходячее мнѣніе, будто татарское нашествіе было разгромомъ культурной страны дикими кочевниками. Татары, во-первыхъ, были родоначальниками русской податной статистики: они начали съ того, что „положили въ число“, переписали все податное населеніе показавъ этимъ, что ихъ интересовало не только то,

сколько **нужно** взять дани, но и сколько ея **можно** взять. Древне-русскіе князья съ ихъ дружинниками, повидимому, знали только двѣ нормы—размѣры собственнаго аппетита и обычай: вопросъ о „платежеспособности“ населенія передъ ними не вставалъ. Поэтому и дань ими накидывалась сразу на цѣлую область, жители которой разверстывали податную тяготу между собою, какъ хотѣли и умѣли. Татарская работа была гораздо тоньше. Въ основу податной разверстки они положили отдѣльное хозяйство, „соху“, т.-е. двухъ работниковъ, такъ объясняетъ одинъ старинный текстъ. Впослѣдствіи, **соха** приравнивалась тремъ работникамъ. Созданное татарскими переписями „сошное письмо“ провожаетъ насъ черезъ всю московскую исторію, до XVII вѣка. Московское правительство разработало эту систему, до большой виртуозности, какъ мы сейчасъ увидимъ: предшествовавшіе же московскимъ царямъ удѣльные князья сѣверо-восточной Руси, кажется, и не пытались поправлять своихъ учителей, исходя изъ татарской статистики, какъ изъ чего-то установленнаго однажды навсегда. Такъ какъ за аккуратность сбора татарской дани отвѣчали именно князья, то они тщательно наблюдали, чтобы „письменные“ или „численные“ люди не уходили изъ того княженія, гдѣ застала ихъ татарская перепись. „А численныхъ людей блюсти намъ за одинъ“, говорятъ между-княжескіе договоры: и о томъ же наставляютъ князья своихъ наслѣдниковъ, въ своихъ духовныхъ грамотахъ. Это была своеобразная круговая порука не населенія (та существовала своимъ чередомъ), а его „хозяевъ“—порука въ нерушимости татарской старины. Принять къ себѣ „численнаго“ человѣка изъ чужого удѣла значило спутать статистическія основанія татарской дани, а основанія эти свято береглись даже послѣ того, какъ дань давно перестали платить татарамъ, и она поступала уже въ карманы самихъ князей. Нѣтъ спора, что и при сборѣ своей дани—сосуществовавшей, само-собою разумѣется, съ татарскою—князья руководились тою же сошною раскладкою. Организація взиманія, раздѣленіе платящаго населенія на **сотни**, съ сотниками во главѣ (которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ военными дѣленіями и военными начальниками купеческаго ополченія), по всей вѣроятности, тоже татар-

скаго происхожденія. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, терминологія оказалась еще долговѣчнѣе „сошнаго письма“: и „цоцкай“ чеховскаго разсказа до нашихъ дней напоминаетъ намъ, какъ прочно строили „дикіе монголы“. Увеличили ли они податное бремя, лежавшее на „смердахъ“, своими финансовыми мѣропріятіями? Въ одномъ отношеніи, несомнѣнно, да: въ до-татарской Руси платило одно крестьянство—въ татарское „число“ писались горожане и сельчане одинаково; даже Великій Новгородъ, какъ ни было ему тягостно и обидно, сталъ данникомъ. Тяжеле ли стала дань сельскаго населенія, у насъ нѣтъ матеріаловъ, чтобы судить объ этомъ вопросѣ, если не считать неопредѣленныхъ жалобъ лѣтописей на тяжесть татарской дани, да возстаній населенія, какъ подтвержденія этихъ жалобъ: но возстанія шли, обычно, изъ городовъ. Ясно одно, что къ дани татары прибавили еще новые налоги, оказавшіеся не менѣе долговѣчными, чѣмъ „сошное письмо“: то были „ямъ“ и „тамга“. Зачатки таможенныхъ сборовъ, пошлинъ съ провозимыхъ товаровъ, мы встрѣчаемъ и до татаръ—подъ именемъ мыта (откуда классическій „мытарь“ и названіе села „Мытищи“, подъ Москвою). Тамга была попыткою обложить товары пошлиною не случайно, по тѣмъ или другимъ мѣстнымъ условіямъ—потому, напримѣръ, что въ данномъ пунктѣ былъ мостъ или переправа,—а всюду, гдѣ они продавались, на всѣхъ рынкахъ: это была попытка централизаціи таможенныхъ пошлинъ по всей Руси, и этой попытки опять хватило надолго; татарская тамга перестала собираться только въ XVII вѣкѣ. Нѣтъ надобности прибавлять, что уже съ XV она шла не въ пользу татарскаго хана. Но наиболѣе выразительнымъ памятникомъ организаціонной дѣятельности монголовъ остался ямъ: татары первые устроили въ Россіи, насчетъ и средствами мѣстнаго населенія, правильныя почтовыя сообщенія. Они, повидимому, пользовались ямскою повинностью сначала исключительно для своихъ надобностей: русскіе ямщики обязаны были возить татарскихъ чиновниковъ. Но примѣръ и тутъ оказался чрезвычайно кстати: по образцу татарскаго яма была организована ямская гоньба всей московской Руси, и только, опять-таки, въ XVII в. у насъ появилась почта на западно-европейскій образецъ.

Древнѣйшія основы русской финансовой организаціи были, такимъ образомъ, результатами двухъ завоеваній. Они отвѣчали военнымъ потребностямъ, но не самой Россіи, а ея завоевателей. Два слѣдующіе этапа въ развитіи этой организаціи, реформы середины XVI-го и начала XVIII вв., тоже непосредственно отражаютъ собою военные интересы, но уже туземные. Господство чужого племени смѣнилось господствомъ класса — если придираться къ этнографическому его составу, тоже не совсѣмъ „своего“: по подсчету Ключевскаго, въ рядахъ московскаго дворянства XVI—XVII вв. „русскія“, т.-е. велико-русскія, фамиліи составляли всего 33%, „нѣмецкихъ“, т.-е. западно-европейскихъ („варяжскихъ“, сказали бы въ кіевское время), было 25%, а восточныхъ, „татарскихъ“—17%. Какъ бы то ни было, политически это не было чужеземное владычество. Какъ мы уже видѣли въ первомъ отдѣлѣ (см. стр. 62 и сл.), командующее положеніе этой разноплеменной массы имѣло своей основой крупное землевладѣніе. Такъ какъ земля первоначально обрабатывалась или своими руками, или рабскимъ трудомъ, то крупнымъ землевладѣльцемъ раньше всего становился тотъ, у кого было много рабовъ, а больше всего ихъ бывало у военныхъ людей, у тѣхъ же дружинниковъ, тѣмъ болѣе у князей: первыми крупными землевладѣльцами и были, поэтому, князья и дружинники. Мы видѣли, въ связи съ какими хозяйственными процессами произошла демократизація этой массы землевладѣльцевъ въ XVI в. Одной изъ сторонъ этой демократизаціи было то, что право носить оружіе и пользоваться имъ, военная „служба“, стала при Грозномъ доступна каждому землевладѣльцу крупнѣе крестьянина. Это было именно право или, если угодно, привилегія: повинностью военная служба стала только гораздо позже, къ концу XVII вѣка. Къ этому послѣднему моменту дворянство успѣло обжиться въ своихъ помѣстьяхъ и неохотно шло въ ряды новой, регулярной арміи, съ ея томительной муштрой и принижающей дворянское достоинство дисциплиной. Прадѣды бѣгавшихъ отъ службы петровскихъ помѣщиковъ, наоборотъ, любили войну: періодъ наиболѣе активной внѣшней политики Грознаго, борьба за Ливонію, приходится какъ разъ на то время,

когда у власти стояли наиболѣе демократическіе слои дворянской массы, на время опричнины. Но, конечно, они вели войны не за свой собственный счетъ—какъ и прежніе дружинники, ихъ соціальные предки, они имѣли въ виду разбогатѣть на войнѣ, а не разориться изъ-за нея. Военные расходы должно было нести на себѣ населеніе не вооруженное, тяглое. Расходы эти настолько увеличились, что ни дани, ни тамги, ни яма, ни поборовъ, унаслѣдованныхъ отъ варяговъ, ни оставленныхъ въ наслѣдство татарами, уже не хватало: отсюда середина XVI в. ознаменована установленіемъ цѣлаго ряда новыхъ налоговъ, самыя названія которыхъ чрезвычайно характерны. Мы встрѣчаемъ тутъ стрѣлецкую подать, пищальныя деньги (пищаль—старинное фитильное ружье) ямчужныя деньги (ямчугъ—селитра), полоняничныя деньги. Наиболѣе, пожалуй, любопытна послѣдняя подать, введенная постановленіемъ Стоглаваго собора 1551 г.: спеціальный налогъ для выкупа плѣнниковъ могъ явиться только, какъ отраженіе той острой нужды въ рабочихъ рукахъ, которая въ ту же эпоху повела и къ установленію крѣпостного права. При чемъ работники были нужны, конечно, помѣщикамъ, а платили „полоняничную“ подать, какъ и другія, разумѣется, крестьяне. Остальные налоги едва ли нуждаются въ поясненіяхъ: ихъ названія точно показываютъ, въ чемъ было дѣло. Въ половинѣ XVI в. приходилось отъ холоднаго оружія переходить къ огнестрѣльному—стрѣльцы были у насъ первой пѣхотой, вооруженной „огненнымъ боемъ“. Но содержать приходилось не только ихъ, служилые землевладѣльцы тоже не имѣли въ виду служить даромъ и,—одни чаще, другіе рѣже—получали за службу отъ государя „жалованье“. Необходимость снабдить этимъ послѣднимъ огромную, сравнительно, массу народа—служилое ополченіе въ концѣ XVI в. считало до 70.000 человѣкъ—привело къ самой крупной финансовой реформѣ Грознаго: уничтоженію кормленій. Пока дружина была немногочисленна, князья предоставляли дружинникамъ самимъ выбирать свое „жалованье“ съ плательщиковъ. Та или другая волость давалась „въ кормленіе“ тому или другому дружиннику. Послѣдній въѣзжалъ туда со своими слугами, замѣнявшими ему мелкихъ финансовыхъ

и полицейскихъ агентовъ, и собиралъ всѣ причитавшіеся князю доходы—судебные штрафы, таможенныя и иныя пошлины, разные другіе налоги, часть, обыкновенно половину, отсылая въ княжескую казну, остальнымъ „кормясь“ самъ. Кормленщика довольно удачно—въ смыслѣ литературной метафоры удачно—сравнивали съ арендаторомъ современнаго крупнаго имѣнія: только роль хозяйственныхъ статей играли различныя отрасли „государственнаго“ дохода. Кормленщицкое правленіе постоянно вызывало жалобы мѣстнаго населенія, и тѣмъ больше, чѣмъ экономически развитѣе была та или другая мѣстность. Кормленщикъ былъ не столько вреденъ этому населенію, сколько совершенно и очевидно безполезенъ: заботясь о своемъ карманѣ, онъ „ходилъ и своего прибытка смотрѣлъ“, по выраженію одного тогдашняго документа; ни на что другое онъ не обращалъ вниманія. Между тѣмъ, общество уже не представляло собою въ московской провинціи однородной массы, связанной прочнымъ племеннымъ обычаемъ. Оно разслаивалось на классы. Землевладѣлецъ не довольствовался уже трудомъ своихъ холоповъ и начиналъ крѣпостить крестьянина. Зараждавшаяся торговая буржуазія начинала эксплуатировать выдѣлившихся изъ крестьянской массы ремесленниковъ. Этимъ „организаторамъ народнаго труда“ нуженъ былъ элементарный полицейскій порядокъ—а кормленщики и его не могли обезпечить. Вотъ отчего, одновременно съ повышеніемъ соціальнаго значенія буржуазіи и переходомъ политической власти изъ рукъ бояръ въ руки дворянъ, царь Иванъ Васильевичъ Грозный „кормленіями пожаловалъ всю землю“. Кормленщики были выведены изъ волостей, и собиравшіеся ими разнообразные доходы были замѣнены круглою суммой *денежнаго* ежегоднаго оброка, доставлявшагося выборными отъ населенія въ Москву, царскимъ казначеямъ. Въ то же время полицейско-судебныя обязанности и полномочія были возложены на мѣстныхъ помѣщиковъ (объ этихъ *губныхъ учрежденіяхъ* см. ниже, главу „Судебная организація“). Хотя реформа (такъ наз. „земская реформа Грознаго“) не имѣла повсемѣстнаго характера, не коснувшись болѣе отсталыхъ областей, тѣмъ не менѣе только съ этого времени можно говорить, съ нѣкоторымъ правомъ,

о „финансахъ московскаго государства“: раньше была княжеская казна, но обще-государственнаго финансоваго управленія не было, и большая часть мѣстныхъ сборовъ до центральной кассы никогда не доходила. Для самого правительства Ивана Грознаго главнымъ во всемъ дѣлѣ было увеличеніе дохода, чего оно и не думало скрывать, мотивируя, въ уставныхъ земскихъ грамотахъ, реформу тѣмъ, что „наши дани и оброки“ отъ плохого кормленщицкаго управленія „сходятся не сполна“. Въ Москвѣ виднѣе всего была непосредственная нужда въ деньгахъ, созданная новой военной организаціей; на мѣстахъ представляли себѣ дѣло сложнѣе, и очень характерно, что въ „земской реформѣ Грознаго“ провинція руководила Москвою: кормленія были отмѣнены по челобитьямъ мѣстнаго населенія, которое само же и предложило планъ новой финансовой организаціи. Москвѣ оставалось только согласиться.

„Реформъ Грознаго“ хватило, приблизительно, на сто лѣтъ: до середины слѣдующаго, XVII-го, столѣтія мы не встрѣчаемъ ничего принципіально новаго. Основанія же самой податной раскладки были, все это время, еще старше и Грознаго: татарская „соха“ дожила до первыхъ Романовыхъ. Но это не значитъ, чтобы экономическая эволюція прошла безслѣдно для русскихъ финансовъ. Присматриваясь ближе, мы видимъ, что подъ прежними формами—можно бы даже сказать „подъ прежними словами“—скрывается совершенно новое содержаніе. Татарская соха была единицей хозяйства: когда мы читаемъ, что въ XVII вѣкѣ на соху клалось столько-то посадскихъ (городскихъ) дворовъ, мы чувствуемъ, что, кромѣ звуковъ, тутъ нѣтъ уже ничего, напоминающаго ордынское „число“. Московская соха XVI—XVII столѣтій не единица хозяйства, а только единица обложенія: экономическое же содержаніе, соотвѣтствующее этой финансовой формѣ, можетъ быть весьма различное. Даже тамъ, гдѣ терминологія еще всего ближе къ экономической дѣйствительности, въ деревнѣ, въ кругу аграрныхъ отношеній, соха второй половины XVI в. не имѣетъ никакой связи съ количествомъ рабочей силы. Соха—это извѣстное количество четвертей земли, количество мѣнявшееся, въ зависимости отъ того, о какой землѣ шла

рѣчь: о монастырской, дворцовой или помѣщичьей, хорошей, средней, „худой“ или „добре худой“. „Четверть земли“ это четверть сѣва—та площадь, на которую высѣвалась ¼ ржи, тогдашняя четверть, составлявшая ровно половину нынѣшней. На десятину сѣялось, обыкновенно, 2 четверти зерна, почему впослѣдствіи (въ XVIII в.) четверть и приравнивалась полудесятинѣ. По руководству податной раскладки середины XVI в. (такъ наз. „книгѣ сошнаго письма“), въ соху клалось „доброй земли“ 800 четвертей, если она была помѣщичья, и 600 если она была монастырская: монастырь былъ обложенъ на 30% выше нежели дворянинъ; „худой земли“ считали на соху 1200 четвертей у помѣщика и 800 у монастыря. Это были нормы, установившіяся, повидимому, въ эпоху финансовыхъ реформъ Грознаго. Они намѣчали только начало дворянскихъ привилегій: въ 90-хъ годахъ XVI в. барская пашня въ помѣщичьихъ имѣніяхъ была совершенно изъята изъ податной раскладки, а въ первой половинѣ XVII-го „соха“ для помѣщичьихъ земель была замѣнена новой раскладочной единицей, „живущей четвертью“. Буквально, это названіе обозначало дѣйствительно распаханную землю въ противоположность всей вообще площади имѣнія,—гдѣ могъ быть и перелогъ, и „дикое поле“, земля заброшенная или никогда еще не пахавшаяся. Такъ какъ послѣ смуты количество перелога въ опустошенныхъ областяхъ Россія очень увеличилось, то предлогомъ—замѣнить счетъ на сохи счетомъ на живущія четверти, послужили именно опустошенія, произведенныя смутой. Но классовое значеніе этой мѣры становится для насъ совершенно ясно, когда мы сравнимъ положеніе „черныхъ земель“ русскаго сѣвера, гдѣ не было помѣщиковъ и крѣпостного права, и помѣщичьей средней Россіи при новой системѣ обложенія. „Съ одной четверти, т.-е. съ полудесятины—черносошный крестьянинъ русскаго сѣвера долженъ былъ платить столько же, сколько землевладѣлецъ остальной Россіи платилъ съ 7—10 крестьянскихъ дворовъ“, говоритъ историкъ русскаго государственнаго хозяйства: такъ какъ и „живущая четверть“ очень скоро утратила значеніе реальной, конкретной мѣры пахатной земли, и стала условной единицей обложенія, какъ ея предшественница,

„соха“. Только въ нее клали уже не самое землю, а дворы сидѣвшихъ на землѣ крестьянъ; послѣдніе все больше и превращались въ „капиталъ“ помѣщичьяго имѣнія, и цѣнность послѣдняго стали опредѣлять уже количествомъ дворовъ, въ ожиданіи еще болѣе реалистическаго и простого счета, на крестьянскія души.

Переходъ отъ татарской сохи въ 3 работника къ московской во столько-то четвертей земли отмѣтилъ собою переворотъ въ сельскохозяйственной техникѣ: смѣну подсѣчнаго земледѣлія, когда землю не имѣло смысла мѣрять единицами площади, ибо на ней не оставались и ея было, сколько хочешь, перелогомъ и трехпольемъ, когда землю уже приходилось мѣрять, такъ какъ количество ея было уже ограничено. Переходъ отъ сошнаго счета къ подворному отмѣтилъ перемѣну въ положеніи крестьянина, ставшаго частью живого помѣщичьяго инвентаря. Въ обоихъ случаяхъ мы не выходимъ еще изъ области аграрныхъ отношеній. Но съ XVII в. все болѣе и болѣе даетъ чувствовать свое вліяніе торговый капиталъ: нельзя ожидать, чтобы эта новая стадія экономическаго развитія не отразилась на военно-финансовой организаціи. Наиболѣе непосредственно торговый капитализмъ далъ себя почувствовать двумя неудачными финансовыми мѣропріятіями: соляной пошлиной 1646 г. и мѣдными рублями. Первая открыла собою серію попытокъ положить въ основу бюджета вмѣсто прямыхъ налоговъ, какъ это было испоконъ вѣку, со временъ варяжской дани, налоги косвенные: предвосхитить то, что осуществилось, какъ извѣстно, въ наши дни, когда прямые налоги составляютъ не болѣе 8% государственнаго дохода, а косвенные 21%, а вмѣстѣ съ „регаліями“ (винной монополіей и т. д.) значительно болѣе половины. Царскій указъ предписывалъ „со всее земли и со всякихъ людей наши доходы, стрѣлецкіе и ямскіе деньги сложити и заплатити..... тѣми соляными пошлинными деньгами“. Соляная пошлина была при этомъ повышена вчетверо. Для того, чтобы понять экономическое значеніе мѣры, нужно вспомнить, что торговля солью приняла крупно-капиталистическій характеръ раньше, чѣмъ какимъ бы то ни было другимъ предметомъ первой необходимости: въ XVII в. уже сотни тысячъ,

если не милліоны, пудовъ соли сосредоточивались въ однѣхъ рукахъ. Переносъ на соль всѣхъ государственныхъ налоговъ давалъ крупному капиталу случай къ спекуляціямъ въ совершенно неслыханныхъ до тѣхъ поръ размѣрахъ, тѣмъ болѣе, что и сборъ соляной пошлины, какъ всѣхъ косвенныхъ налоговъ, были, конечно, въ рукахъ крупныхъ капиталистовъ, съ московскими гостями во главѣ (см. выше стр. 97). Но капиталъ размахнулся шире, чѣмъ могъ захватить. Легко было повысить сразу цѣну на соль въ нѣсколько разъ, труднѣе было организовать торговлю солью на новыхъ началахъ: народныя массы остались безъ главнаго предмета питанія, соленой рыбы, и взбунтовались. Затѣю пришлось бросить — соляная пошлина не прожила и двухъ лѣтъ. Нѣсколько лѣтъ спустя была сдѣлана другая попытка предвосхитить далекое будущее. Удачная порча серебряной монеты — иностранныя деньги перечеканивались въ русскіе рубли съ „прибылью“, доходившей до 50%, при чемъ на внутреннемъ рынкѣ это, по крайней мѣрѣ въ первое время, замѣтно не отразилось — навела на мысль выпустить деньги, совершенно лишенныя самостоятельной цѣнности, покупная сила которыхъ обезпечивалась бы исключительно поставленнымъ на монетѣ правительственнымъ штемпелемъ. Мѣра не была такъ дика, какъ это казалось нѣкоторымъ новѣйшимъ историкамъ, не представлявшимъ себѣ иныхъ отношеній, кромѣ сложившихся въ наши дни въ Европѣ. На самомъ дѣлѣ, матеріалъ денегъ довольно безразличенъ—все можетъ служить деньгами, отъ раковинъ (нѣкогда самая распространенная валюта во всѣхъ тропическихъ странахъ) до кусковъ камня включительно. Несомнѣнно, что если бы мѣдныхъ рублей было начеканено столько, сколько требовалось оборотами тогдашняго московскаго рынка, они были бы не хуже всякихъ другихъ ассигнацій съ принудительнымъ курсомъ, — а такими ассигнаціями большія страны, въ томъ числѣ и Россія, жили впослѣдствіи десятилѣтіями при условіяхъ гораздо болѣе развитаго хозяйства. Но тогдашній крупный капиталъ и здѣсь ухватился прежде всего за спекулятивную сторону дѣла. Пользуясь своимъ финансовымъ вліяніемъ, московскіе гости скупали мѣдь и превращали ее въ монету, не стѣсняясь количествомъ. Въ результатѣ, мѣд-

ная копейка (наиболѣе ходячая тогда монета — рубль былъ счетной единицей) упала до $^1/_{17}$ цѣны копейки серебряной. Всѣ рыночныя цѣны повысились въ той же пропорціи — а жалованье служилыхъ людей осталось прежнее. Одного этого было бы достаточно, чтобы финансовое нововведеніе провалилось: бунтъ, вспыхнувшій изъ-за „мѣдныхъ рублей“,— въ которомъ видное участіе приняли мелкіе служилые—былъ скорѣе поводомъ, нежели причиной ихъ отмѣны.

Но попытка завести ассигнаціи не только технически связана съ торговымъ капитализмомъ — она была результатомъ его вліянія и въ чисто-политическомъ отношеніи. Мѣдные рубли стали чеканить потому, что нужны были деньги для войны съ Польшей и Швеціей: но ничто не можетъ быть характернѣе для новой эпохи русскаго народнаго хозяйства, какъ большія войны XVII вѣка. Мимоходомъ мы уже касались этого вопроса въ главѣ „торговый капитализмъ“. Сѣверная война Петра В. не свалилась съ неба—она была лишь заключительнымъ звеномъ цѣлаго ряда попытокъ захватить въ русскія руки торговые пути на западъ: только эти попытки имѣли на первыхъ порахъ такіе же результаты, какъ мѣдные рубли и соляная подать. Военная реформа XVII—XVIII вв., закончившаяся созданіемъ въ Россіи постоянной арміи по европейскому образцу, косвенно, такое же дѣло торговаго капитала, какимъ мѣдные рубли были прямо — только дѣло болѣе удачное: а эта военная реформа повела къ ряду финансовыхъ реформъ, поставившихъ русское государственное хозяйство на тѣ рельсы, по которымъ оно катилось до 1861 года (а отчасти катится и до днесь), / отмѣченныхъ, опять-таки, уже непосредственной печатью торговаго капитализма. Военно-финансовую исторію Россіи со временъ Алексѣя Михайловича до Николая I приходится разсматривать, какъ одинъ, цѣльный отдѣлъ. Рекрутчина, подушная подать и откупа являются такими же характеристическими мѣтками этого отдѣла, какъ „служилые люди“ и „сошное письмо“ для предшествующаго.

Дворянское ополченіе, составлявшее основу русской военной организаціи до Смутнаго времени включительно, уже въ первой половинѣ XVII в. годится только для оборонительной службы. Его собираютъ для того, чтобы сторожить

южную, степную границу отъ татарскихъ набѣговъ. А когда пристепная полоса, непрерывно колонизировавшаяся, достаточно заселилась, его (съ 1640-хъ гг., примѣрно) перестаютъ собирать и для этой цѣли, предоставивъ оборону мѣстнымъ силамъ. Въ государственномъ бюджетѣ уже Михаила Ѳедоровича эта старая московская армія играетъ незначительную роль: она стоила не дороже 130.000 рублей тогдашнихъ — менѣе милліона теперешняго, ежегодно. Нѣсколько дороже (до 145 тыс. руб.) стоили стрѣльцы — главная полицейская сила эпохи, столь обильной бунтами, являвшимися отпоромъ закрѣпощаемаго крестьянства и эксплуатируемаго мелкаго ремесла помѣщику и крупному капиталисту. Стрѣлецкое войско, если не появившееся, то получившее окончательное устройство при Грозномъ, представляло собою городскую часть служилаго ополченія, какъ помѣщики — сельскую. Стрѣльцы не были похожи на современныхъ солдатъ, живущихъ на всемъ готовомъ и, по отношенію къ хозяйству, являющихся только потребителями. У каждаго стрѣльца было свое хозяйство — это были, по большей части, мелкіе ремесленники и торговцы. Спеціалистами военнаго дѣла они были лишь отчасти, и чѣмъ дальше, тѣмъ меньше. Въ 1630-хъ гг. они годились уже больше для ловли „разбойниковъ“ (имя, въ то время охватывавшее чрезвычайно разнообразныхъ нарушителей существующаго порядка, какъ и имя „воровъ“ — равнозначительное теперешнему „злоумышленники“), или для укрощенія уличнаго бунта. На войну шли теперь солдатскіе полки, вымуштрованные по западно-европейскому образцу и смѣнившіе въ полѣ стрѣльцовъ, какъ помѣщичьи ополченія смѣнили рейтары (кирасиры) и драгуны. Эта настоящая, военная армія стоила гораздо дороже прежней. По одной смѣтѣ второй половины XVII стол. одни „рейтары“ должны были обойтись въ 400.000 рублей: только одинъ родъ оружія новой арміи стоилъ въ три раза дороже всей арміи стараго типа. Общій расходъ по „военному министерству“ выросъ за XVII в. вдвое, если не втрое (275 тысячъ и 700 тыс. руб.). По отношенію къ общей суммѣ бюджета 1680 г. (1.125 тыс. руб.) военные расходы составляли болѣе 60%: таково цифровое выраженіе активной политики

торговаго капитала. Въ 1701 г. армія Петра В. стоила уже болѣе 1.800 тыс. руб. и поглощала болѣе 80% всего бюджета: къ 1705 г. первая цифра поднялась до 3.200 тысячъ, что по отношенію къ общей массѣ расходовъ составляло уже 95%. Такъ какъ отъ 2 до 3% бюджета тратилось на дипломатію и не менѣе этой цифры приходилось на „финансовыя операціи", т.-е. на расходы для того, чтобы добыть денегъ, то выходитъ, что внѣшняя политика исчерпывала почти весь бюджетъ. Надо было откуда-нибудь достать средства на покрытіе двойныхъ, если не тройныхъ расходовъ: военная реформа опять вела за собою финансовую.

Мы видѣли, какъ торговый капиталъ сначала пытался достать денегъ на новые расходы. Въ государственномъ хозяйствѣ онъ прибѣгнулъ къ тѣмъ пріемамъ, какими увеличивалъ свою частную прибыль: къ спекуляціи. Но въ области широкой спекуляціи онъ былъ слишкомъ мало опытенъ — дѣло кончилось крахомъ. Изъ каталога спекуляціонныхъ средствъ вошло въ нравы одно, самое простое — порча монеты. Изъ этого источника петровское правительство еще въ 1701—2 гг. извлекало болѣе, чѣмъ по 700 тыс. прибыли въ годъ. Но именно энергія, съ которой велась „операція", быстро изсушила источникъ: въ 1709 г. прибыли на перечеканки монеты было уже немного болѣе 150 тыс. руб., потому что вся полноцѣнная монета прежняго чекана была уже испорчена — а спуститься прямо до мѣдныхъ, или почти мѣдныхъ, рублей боялись. Ближайшимъ слѣдующимъ средствомъ, послѣ спекулятивныхъ мѣръ, была эксплуатація плодовъ чужой спекуляціи — эксплуатація торговаго барыша. Такой смыслъ имѣли знакомыя намъ пятинныя деньги — 20% налога съ торговаго оборота: къ этому средству прибѣгли тотчасъ послѣ смуты и примѣняли его неустанно въ теченіе всего XVII в. За двадцать пять лѣтъ только, съ 1654 по 1680 г. „дважды собиралась пятая деньга, пять разъ 10-я, одинъ разъ 15-ая" [1]). Съ перваго взгляда можетъ показаться, что торговый капиталъ, въ данномъ случаѣ, облагалъ самого себя: мы уже знаемъ,

[1]) П. Милюковъ „Госуд. хозяйство Россіи и реформа Петра В.", стр. 77.

что этого не было. Раскладка „пятой деньги“ поручалась самымъ крупнымъ капиталистамъ государства—московскимъ гостямъ — а платить приходилось мелкому провинціальному купечеству, которое и бѣжало отъ налога въ разныя стороны. Подать носила, такимъ образомъ, опредѣленный классовый характеръ и доканчивала то, что было начато торговою конкуренціей: концентрацію капитала, поглощеніе мелкихъ торговыхъ предпріятій крупными. По мѣрѣ завершенія процесса, разоренія провинціальнаго купечества, изсякалъ и этотъ источникъ. Эксплуатацію мелкаго капитала приходилось дополнить эксплуатаціей всего свободнаго населенія. Окладъ стрѣлецкой подати съ „сохи“ въ 1630 г. составлялъ 95 рублей — а въ 1670 г. 822 руб. Старый военный налогъ выросъ почти въ 9 разъ. Въ 1679 г. и была сдѣлана первая попытка — объединить всѣ старые прямые налоги (дань, ямскіе, полоняничныя и т. д.) въ одной военной подати: подворная стрѣлецкая подать этого года, по 1 руб. 30 коп. съ двора, должна была замѣнить всѣ ихъ. Прообразъ будущей подушной подати Петра В. былъ данъ, такимъ образомъ, за 40 лѣтъ до ея введенія. Но, хотя и подворная, новая стрѣлецкая подать собиралась, какъ и старая, посошная, только съ городовъ и сѣверныхъ уѣздовъ, гдѣ не было крѣпостныхъ. Раскладка новой подати, весьма характерно, была поручена гостямъ. Высосавъ мелкій торговый и ремесленный людъ, высасывая свободное сѣверное крестьянство, торговый капиталъ подошелъ теперь вплотную къ самой крупной послѣ него силѣ страны. Передъ нимъ оставались только помѣщики съ ихъ крѣпостными: тронуть этихъ послѣднихъ значило тронуть самихъ помѣщиковъ. Для того, чтобы рѣшиться на это, нуженъ былъ большой подъемъ: его дала Сѣверная война. Положить въ равный со всѣми податной окладъ не только крѣпостныхъ крестьянъ, но и холоповъ, до тѣхъ поръ не платившихъ никакихъ податей, рѣшилось только правительство Петра В. Въ 1717 г. Петръ приказалъ разсчитать „со сколькихъ работныхъ персонъ можетъ содержанъ быть одинъ человѣкъ пѣшій со всѣмъ, что къ нему надлежитъ, въ годъ, также конный, лошади, палатки, телѣги и прочее“. Въ слѣдующемъ году была назначена первая поголовная перепись

населенія—а въ 1722 г., въ виду недостаточности результатовъ переписи, ея пересмотръ—ревизія, давшая, дѣйствительно, на милліонъ душъ больше, чѣмъ сама перепись. Такъ какъ дальнѣйшія переписи, по мѣрѣ увеличенія населенія, являлись провѣркою провѣрки, то названіе „провѣрки", „ревизіи", такъ и осталось за переписями „податного" населенія вплоть до ихъ отмѣны (послѣдняя ревизія была въ 1857 г.). По табели 1720 г. петровская армія стоила уже 4 милліона рублей: одинъ кавалеристъ 40 р. $50^1/_2$ коп., а одинъ пѣхотинецъ — 28 р. $52^1/_2$ коп. Считая, приблизительно, 5 милліоновъ душъ населенія (считались только „работныя персоны", подъ чѣмъ разумѣли мужчинъ—но всякаго возраста, для простоты), на каждую „душу" приходилось 80 копеекъ подушной подати: въ такомъ размѣрѣ она и была введена указомъ 11 января 1722 г.

Уже черезъ годъ она была понижена до 74 коп.; а немедленно по смерти Петра—до 70. Предлогомъ было то, что первая ревизія дала больше 5 милліоновъ податного населенія (5.570 тысячъ душъ). Фактическая причина была другая—она вскрывается исторіей подушной подати за весь XVIII вѣкъ. Помѣщичій крестьянинъ, обложенный въ 1725 г. 70-копеечной податью, семьдесятъ лѣтъ спустя, въ 1794 г. платилъ всего рубль: между тѣмъ, цѣна денегъ за это время упала въ 4 раза, и рубль 1794 года равнялся четвертаку 1725 г. Норма подушныхъ для черносошныхъ, не помѣщичьихъ, свободныхъ крестьянъ и приспособлялась къ измѣненіямъ въ цѣнѣ денегъ: въ 1725 г. онъ платилъ 1 р. 10 к.—въ 1794 г. 4 рубля. Подушная подать помѣщичьихъ крестьянъ въ теченіе всего XVIII в. уменьшалась фактически: и это уменьшеніе, начавшееся на другой день послѣ введенія самой подати, было результатомъ дворянской реакціи, очень скоро послѣ смерти Петра принявшей такія острыя формы (попытка ограничить самодержавіе въ 1730 г.), что не считаться съ нею не могло ни одно правительство XVIII вѣка. Вопреки довольно распространенному мнѣнію, всѣ эти правительства не были „дворянскими"—т.-е. средне-помѣщичьими: какъ и правительство Петра В., они были коалиціями крупнѣйшей земельной знати съ крупнымъ торговымъ капиталомъ. Но

отъ дворянъ зависѣли всѣ они — а весна торговаго капитализма, давшая такой пышный цвѣтъ въ реформахъ начала XVIII в., не повторялась болѣе [1]). Приходилось придумывать такія формы эксплуатаціи народнаго труда, которыя не очень задѣвали бы интересы непосредственнаго эксплуататора, владѣльца крѣпостныхъ душъ.

Размѣръ тяжести, которая упала на этого послѣдняго тотчасъ послѣ введенія подушной подати, иллюстрируется двумя цифрами: въ знакомомъ намъ бюджетѣ 1680 г. прямые налоги составляли 33,7%, въ бюджетѣ на 1724 г. они дали уже 55,5%, въ томъ числѣ 54,1% приходилось на подушную подать. Семьдесять лѣтъ спустя эта послѣдняя давала только 38% государственнаго дохода, падая иногда, въ теченіе восемнадцатаго столѣтія, и до 33%; за то питейные, соляные и таможенные сборы составляли, въ бюджетѣ этой эпохи, не менѣе 40% — а иногда до 45. Въ этомъ числѣ одни питейные сборы заполняли 25% всего бюджета. Типичнымъ финансовымъ предпріятіемъ для этой эпохи и является винный откупъ. За время съ 1724 по 1765 г. питейные сборы болѣе чѣмъ утроились — въ то время, какъ подушныя не увеличились даже въ два раза. Въ 1767 г. окончательно введена откупная система продажи вина: и съ этого года по 1796 г. питейный доходъ утроился номинально, а фактически, принимая во вниманіе паденіе цѣны ассигнаціоннаго рубля, увеличился болѣе, чѣмъ въ два раза. Къ началу царствованія Александра II (при которомъ отмѣнены были откупа) въ Россіи не только абсолютно, но и относительно выпивалось всемеро болѣе вина, чѣмъ за сто лѣтъ ранѣе: при Елизаветѣ Петровнѣ, офиціально, расходъ вина составлялъ 14 ведеръ на 100 жителей Россійской имперіи, въ 1858 г. этотъ расходъ составлялъ 87 ведеръ на 100 жителей. Какъ бы сильно ни было развито въ предшествующемъ столѣтіи „корчемство“ (тайное винокуреніе и тайная продажа водки), однимъ этимъ объяснить разницы нельзя: тѣмъ болѣе, что корчемство имѣло мѣсто конечно, и въ XIX в., хотя бы и въ меньшихъ размѣрахъ. Суть дѣла, очевидно, въ томъ, что умѣнье

[1]) Подробнѣе обо всемъ этомъ см. ниже — въ 3-й главѣ настоящаго отдѣла.

спаивать народъ за время дѣйствія откупной системы сдѣлало большіе успѣхи. И какъ ему было этихъ успѣховъ не сдѣлать, когда, со введеніемъ откуповъ, населеніе было всецѣло отдано въ руки торговцевъ водкою? Право курить вино и пользоваться имъ для собственнаго обихода было оставлено однимъ дворянамъ: но и они могли пользоваться этимъ правомъ только у себя въ имѣніяхъ. Въѣзжая въ городъ, дворянинъ обязанъ былъ показать особымъ надсмотрщикамъ, которыхъ содержалъ откупъ, имѣвшіяся у него бутыли или боченки съ водкой. Эти послѣдніе запечатывали—и печати снимались лишь при выѣздѣ изъ города: въ городѣ и дворянинъ долженъ былъ пить откупное вино. Но съ помѣщиками обращались, все-таки, вѣжливо: откупщицкая таможня не имѣла права задерживать его при въѣздѣ въ городъ, и должна была дожидаться, пока онъ самъ остановится; его нельзя было обыскивать—нужно было довольствоваться тѣмъ, что онъ самъ покажетъ. Съ „подлыми людьми“ церемоній было гораздо меньше. Крестьянскія подводы останавливались на заставѣ и ощупывались особыми щупами. На жалованьи у откупщика была спеціальная военно-полицейская команда, съ отставными офицерами во главѣ. Эта своего рода внутренняя „пограничная стража“ имѣла право пускать въ ходъ и оружіе при ловлѣ внутреннихъ контрабандистовъ, корчемниковъ. Во всякое время дня она имѣла право производить обыскъ всюду, гдѣ подозрѣвалось корчемное вино. Контора виннаго откупа была присутственнымъ мѣстомъ, гдѣ большую часть царствованія Екатерины II стояло и зерцало, какъ въ любомъ присутствіи: только въ концѣ XVIII в. зерцало сняли — но орелъ на питейномъ домѣ остался. Цѣловальникъ (такъ, по старой памяти, отъ московскихъ еще временъ, назывался продавецъ вина: въ московскую эпоху присягавшій, цѣловавшій крестъ, что онъ ничѣмъ не покорыствуется) былъ полицейской властью у себя въ кабакѣ: тогда какъ общая полиція входила туда только по приглашенію цѣловальника — развѣ что въ стѣнахъ кабака начинала происходить явная уголовщина, кого-нибудь рѣзали, грабили и т. под. Точно такъ же, какъ администрація и того, и позднѣйшаго времени сама расправлялась со своимъ персоналомъ, откупъ

самъ судилъ своихъ служащихъ — и даже постороннихъ за проступки, совершенные въ стѣнахъ „питейнаго дома“: развѣ-что, опять-таки, возникало уголовное дѣло. А жаловаться на откупщика можно было только высшей мѣстной администраціи — со времени учрежденія губерній губернатору. Если прибавить, что (тутъ уже мы выходимъ изъ области писаннаго права, и входимъ въ сферу обычая) этотъ послѣдній получалъ отъ откупа болѣе или менѣе правильное содержаніе, то намъ станетъ ясно, до чего вліятеленъ былъ въ русской до-реформенной провинціи торговый капиталъ, въ лицѣ „содержателя виннаго откупа“, и какъ ошибочно представленіе объ этой провинціи, какъ о сплошномъ дворянскомъ царствѣ. Дворянинъ только пользовался, въ данномъ случаѣ, своего рода иммунитетомъ, не болѣе: но и то лишь за себя лично — на его крестьянъ, долгое время даже на его имѣніе, этотъ иммунитетъ не распространялся; до 1771 г. откупщикъ могъ занять подъ свою торговлю любую пустую, необрабатываемую и незастроенную землю, кому бы она не принадлежала. Только съ этого года это право было ограничено землями к а з е н н ы м и. Создавъ откупщику привилегированное юридическое положеніе, правительство старалось всячески облагородить и его промыселъ, и его личность. Историческое названіе „кабака“, доселѣ удержавшееся въ разговорной рѣчи, официально было замѣнено наименованіемъ „питейнаго дома“, „понеже отъ происшедшихъ злоупотребленій названіе кабака сдѣлалось весьма подло и безчестно“. Самъ откупщикъ получилъ право носить шпагу—отличительный признакъ дворянина въ XVIII столѣтіи. Всякое усовершенствованіе въ винокуреніи признавалось общественной заслугой: „уставомъ о винокуреніи“, 1765 г., объявлено было, что всякій, устроившій по англійскому образцу усовершенствованный кубъ для перегонки водки, будетъ признанъ „не о своей только пользѣ некущимся, но о пользѣ государства ревнительнымъ сыномъ отечества“.

Было бы совершенной ошибкой думать, что всѣ эти льготы и привилегіи диктовались выгодами отвлеченнаго „государства“, — такъ часто фигурирующаго подъ перомъ историковъ въ подобныхъ случаяхъ. Не подлежитъ сомнѣнію,

что со введеніемъ откуповъ государство, какъ таковое— проще говоря, казна—не выиграло, а проиграло. Достаточно сравнить двѣ пары цифръ. Наканунѣ откупной системы, къ 1766 г. (раньше она примѣнялась, но спорадически— только съ 1767 г. откупщикъ сдѣлался монополистомъ по продажѣ водки) питейные сборы давали 4.339.000 р., при издержкахъ на ихъ собираніе почти ровно въ милліонъ; черезъ 30 лѣтъ существованія откупа, въ 1796 г. первая цифра поднялась до 15 милліоновъ, а вторая до семи. Чистый доходъ увеличился менѣе, чѣмъ вчетверо, а расходъ по сбору въ семь разъ! Прежде на каждый рубль, полученный казною, только около двугривеннаго попадало въ чей-то другой карманъ; теперь въ этотъ карманъ шло уже около полтинника на рубль казеннаго дохода. Само собою разумѣется, что тутъ идетъ рѣчь только объ издержкахъ казны (на покупку вина, которое казна поставляла откупщикамъ и т. под.): издержки, какъ и барыши, самого откупщика, въ кругу его личныхъ операцій, въ учетъ не попадали. Но такъ какъ мы знаемъ, что не было лучшаго средства сдѣлаться милліонеромъ въ тогдашней Россіи, какъ взять винный откупъ — почему „милліонеръ“ и „откупщикъ“ были тогда синонимами — то мы, навѣрное, не погрѣшимъ противъ исторической истины, если примемъ, что торговый капиталъ получалъ, въ видѣ барыша, никакъ не менѣе того, что платилъ въ казну. Если въ вопросѣ о подушныхъ интересъ отвлеченнаго „государства“ сталкивался съ интересомъ помѣщика — и пасовалъ передъ нимъ, то въ дѣлѣ винной монополіи происходило такое же столкновеніе между казною и торговымъ капиталомъ: и результатъ не былъ иной. Попытка построить бюджетъ на водкѣ давала такой же отрицательный результатъ, какъ и попытка построить его на подушной подати. Уже въ 1784 г. на 40 милл. р. государственнаго дохода приходилось расходу 58 милл. р.; въ 1788 для расхода въ $63^1/_2$ милліона нашлось средствъ только $42^3/_4$ милл. р. Дефицитъ составлялъ 20 милліоновъ; два года спустя, къ 1790 г., онъ поднялся до 30 милліоновъ ($73^1/_2$ милл. р. расхода на $44^1/_2$ дохода). Чтобы заткнуть брешь, приходилось искать новаго средства: оно было найдено въ ассигнаціяхъ.

Средство было пущено въ-ходъ впервые одновременно съ откупами: манифестъ о выпускѣ ассигнацій появился 29 декабря 1768 г. Для того, чтобы понять условія, въ которыхъ появились въ Россіи бумажныя деньги, надо имѣть въ виду, что ходячей монетой въ то время была не серебряная,— тѣмъ болѣе не золотая—а мѣдная. При сколько-нибудь крупныхъ платежахъ это представляло огромное техническое неудобство: 1000 рублей въ мѣдной монетѣ вѣсили 60 пудовъ—кладь основательнаго ломовика; но даже и 25 цѣлковыхъ были „тяжестью неудоносимой“ — полтора пуда никто съ собою таскать не станетъ. Въ особенно затруднительномъ положеніи оказывались уѣздныя казначейства, въ пору сбора подушныхъ, и тѣ же откупныя конторы. Цѣлые обозы съ мѣдными пятаками, „алтынами“ и копейками тянулись изъ деревень въ города,—что, помимо всего прочаго, было и небезопасно, при изобиліи лихихъ людей на тогдашнихъ дорогахъ. Учрежденный манифестомъ 29 декабря 1768 г. ассигнаціонный банкъ (изъ двухъ отдѣленій—въ Петербургѣ и Москвѣ) и служилъ, повидимому, совершенно невинной цѣли—облегчить положеніе какъ казны, такъ и крупныхъ ея плательщиковъ, замѣняя крупныя количества мѣди легкой и занимающей минимальное мѣсто бумажкою. При чемъ бумажки были сначала не менѣе 25 р. мѣдью каждая—для болѣе мелкихъ платежей оставалась мѣдь въ натурѣ. Мы прибавили выше слово „повидимому“, потому что съ самаго начала это была лишь гласная, официальная цѣль: фактически же предполагалось выпустить бумажекъ болѣе, чѣмъ хранилось мѣди въ ассигнаціонномъ банкѣ,—для того, чтобы добыть денегъ на рѣшенную уже тогда турецкую войну. Совершенно естественно, что, по мѣрѣ того, какъ продолжалась эта послѣдняя, продолжались и выпуски ассигнацій, и ко времени окончанія войны ихъ было въ обращеніи на 20 милл. р., тогда какъ въ началѣ предполагалось выпустить не болѣе $2^1/_2$ милліоновъ. Тѣмъ не менѣе, онѣ размѣнивались на мѣдь, и даже на серебро, 100 за 100: обороты внутренней торговли такъ быстро росли во второй половинѣ XVIII в., что излишества въ денежныхъ знакахъ не чувствовалось. До второй турецкой войны Екатерины II ростъ торговаго

оборота и увеличеніе количества ассигнацій шли болѣе или менѣе въ ногу: въ 1786 г. ассигнацій было въ обращеніи на 46 милл., а курсъ ихъ на серебро былъ 98 за сто. Въ это время захватъ Россіей сѣверныхъ береговъ Чернаго моря (присоединеніе Крыма 1783 г.)—шагъ, экономически совершенно неизбѣжный, открывавшій европейскій хлѣбный рынокъ для нашихъ черноземныхъ губерній — поставилъ на очередь новую турецкую войну. Опытъ съ крупными ассигнаціями былъ соблазнителенъ: что, если выпустить и мелкія? Подъ предлогомъ недостатка въ денежныхъ знакахъ, „обновляющихъ торговлю, рукодѣлія, ремесла и земледѣліе“, количество бумажныхъ денегъ было сразу увеличено вдвое — до 100 милл. р., при чемъ были выпущены бумажки пяти и десяти-рублевыя. Курсъ сразу упалъ до $92^{3}/_{5}$; къ концу царствованія Екатерины ассигнацій было въ обращеніи на 157 милл., и стоили онѣ уже только по $70^{1}/_{2}$ коп. за рубль. Къ концу царствованія Павла курсъ упалъ до $65^{1}/_{3}$: характерно, что и при такомъ курсѣ московское купечество нанаходило возможнымъ жаловаться на недостатокъ въ обращеніи денежныхъ знаковъ и хлопотать о новыхъ выпускахъ ассигнацій — вѣрный знакъ, что отъ упадка цѣны послѣднихъ страдалъ, во всякомъ случаѣ, не торговый капиталъ. Къ этому времени всякія „техническія“ иллюзіи, относительно неудобныхъ мѣдныхъ денегъ и удобныхъ бумажекъ, были уже оставлены: въ 1797 г. ассигнаціи были, безъ околичностей, признаны государственнымъ долгомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ правительство обязалось, рано или поздно, возстановить ихъ курсъ: иначе оно уподоблялось должнику, разсчитывающемуся со своими кредиторами по полтиннику за рубль. Уже при Павлѣ были сдѣланы нѣкоторые шаги въ этомъ направленіи—фиксаціей курса ассигнацій; Александръ Павловичъ собирался идти по тому же пути: новые выпуски бумажныхъ денегъ, уже рѣшенные, были пріостановлены. Но тутъ надвинулась серія „наполеоновскихъ войнъ“— и не прошло десяти лѣтъ, какъ отъ добрыхъ намѣреній осталось не больше, чѣмъ отъ дыма аустерлицкихъ пушекъ. Къ 1810 г. въ обращеніи было на полмилліарда ассигнацій (533 милл. р.), и курсъ ихъ составлялъ только $33^{1}/_{3}$ %. Чтобы нагляднѣе представить себѣ эту цифру, надо имѣть въ ви-

ду, что русскій бюджетъ того времени былъ менѣе 300 милл. р.: положеніе, значитъ, было такое же, какъ если бы теперь, въ 1914 г., въ Россіи циркулировало на 5 милліардовъ бумажныхъ денегъ (въ дѣйствительности ихъ теперь, какъ извѣстно, съ небольшимъ на милліардъ). Послѣ войны двѣнадцатаго года количество ассигнацій дошло до 825 милл., а курсъ до 20 коп. за рубль. Уже тогда всякія надежды на то, что государство когда-нибудь сможетъ уплатить этотъ свой долгъ рубль за рубль, должны были быть оставлены: но прошло четверть столѣтія, прежде чѣмъ съ этой мыслью примирились. На протяженіи этой четверти столѣтія Россія еще воевала нѣсколько разъ (войны персидская и турецкая Николая I, начало безконечнаго „покоренія Кавказа", и борьба съ возставшею Польшей въ 1831 г.)— и цифра бумажныхъ рублей, съ колебаніями, оставалась прежняя (1832 г. — 823 милліона). Такъ какъ, однако же, обороты внутренней торговли все увеличивалась, и потребность въ денежныхъ знакахъ росла, то курсъ ассигнацій нѣсколько улучшился, и дошелъ, къ концу 30-хъ гг., до 27—28 к. за рубль. Болѣе благопріятныхъ условій ждать не приходилось—и въ 1839—43 гг. ассигнаціонный долгъ былъ ликвидированъ, по разсчету $3^1/_2$ рублей ассигнаціонныхъ за 1 металлическій. Но при помощи разныхъ пріемовъ, которые нѣтъ надобности здѣсь подробно описывать, устроили такъ, что настоящія золотыя и серебряныя деньги остались, по большей части, въ казенномъ сундукѣ: а въ руки публики попали деньги все же бумажныя, даже юридически безусловно размѣнивавшіяся на золото и серебро только въ Петербургѣ; уѣздныя казначейства не имѣли права мѣнять ихъ на металлъ въ количествѣ, большемъ 100 рублей. Какъ видимъ, этимъ кредитнымъ билетамъ немногаго не хватало до настоящихъ ассигнацій. Достаточно было большой войны, чтобы это маленькое разстояніе было пройдено. Въ началѣ Крымской кампаніи, 1 января 1854 г., въ обращеніи было 333 милліона р. кредитн. билетовъ: къ 1 января 1858 г., два года послѣ нея, ихъ было на 735 милл. р. Металлическое обезпеченіе въ первомъ случаѣ составляло 39,4%, а во второмъ — всего 16,2%. Въ 1858 г. размѣнъ былъ прекращенъ, и если новыя бумажныя деньги не вполь-

нѣ постигла участь екатерининскихъ, то лишь потому, что, экономически болѣе просвѣщенное, правительство Александра II лучше умѣло поддерживать равновѣсіе между количествомъ денежныхъ знаковъ, необходимыхъ странѣ, и печатаемыхъ экспедиціей заготовленія государственныхъ бумагъ. Въ 1875 г. въ обращеніи было кредитныхъ билетовъ на 797 милл. р., а курсъ кредитнаго рубля былъ на серебро 92%, на золото—86: т.-е., относительно, весьма порядочный. Въ 1876 году русско-турецкая война уже совершенно ясно обозначилось въ перспективѣ: курсъ упалъ до 80 коп. на золото. Въ этомъ году было напечатано новыхъ бумажныхъ денегъ на 252 милл. р.; въ 1877 г. на военные расходы понадобилось вновь напечатать на 453 милліона, въ 1878, для финансовой ликвидаціи войны — еще на 490. На 1 января 1879 года курсъ былъ уже только 75 за сто. Въ послѣдній годъ царствованія Александра II курсъ былъ 65 коп. зол. за рубль—а къ 1886 г. кредитный рубль свалился до 58,9 коп. Причиной тутъ уже было не излишнее количество денежныхъ знаковъ (количество кредитныхъ билетовъ въ обращеніи за 1880—86 гг. даже нѣсколько уменьшилось), а неблагопріятный платежный балансъ—иными словами, задолженность Россіи передъ заграницей. Мы подходимъ къ четвертому—и послѣднему—періоду въ развитіи нашей финансовой системы, когда основой русскаго финансоваго благополучія становится заграничный кредитъ.

Но, прежде чѣмъ перейти къ этому отдѣлу, остановимся на минуту у предыдущаго. Читателю не могъ не броситься въ глаза своего рода „эмпирическій законъ“: ассигнація въ Россіи, въ ея ли откровенномъ и невинномъ первоначальномъ видѣ, или замаскированная кредитнымъ билетомъ, „обезпечивающимся всѣмъ достояніемъ государства“, всегда является у насъ спутницей войны. Въ весьма мирномъ помѣщеніи экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ работала грандіозная военная машина: все то блестящее развитіе „силы и могущества Россіи“, которымъ такъ любуется націоналистическая исторіографія, держалась на эфемерныхъ продуктахъ этой скромной и безобидной фабрики. Вотъ почему крайне наивно смотрѣть на

исторію бумажныхъ денегъ въ Россіи только, какъ на образчикъ плохого, нерасчетливаго управленія государственнымъ хозяйствомъ. Ассигнаціи выполняли экономико-политическую функцію колоссальной важности: это былъ рычагъ, которымъ орудовалъ примитивный русскій и м п е р і а л и з м ъ — орудовалъ русскій капиталъ, сначала торговый, потомъ промышленный, въ своихъ попыткахъ захватить новыя торговыя дороги и новые рынки. Сравнимъ только слѣдующія цифры:

Годы.	Количество ассигнацій въ обращеніи.	Размѣры дѣйствующей („полевой") арміи.
1761	0	183 тыс. чел.
1796	157 милл.	368½ „
1825	болѣе 800 милл.	322 „

Каждый милліонъ напечатанныхъ бумажекъ давалъ лишнюю тысячу солдатъ. Мы нарочно взяли только д ѣ й с т в у ю щ у ю а р м і ю, т.-е. только орудіе н а с т у п л е н і я: цифра войскъ, предназначавшихся для поддержанія внутренняго порядка или для обороны отдаленныхъ границъ, только сдѣлала бы картину менѣе ясной. Ч ѣ м ъ а к т и в н ѣ е была в н ѣ ш н я я п о л и т и к а, т ѣ м ъ э н е р г и ч н ѣ е в ы п у с к а л и с ь б у м а ж н ы я д е н ь г и. Если бы русское казначейство было осуждено продовольствоваться металлической валютой, Россія никогда не сдѣлалась бы „великой державой", несмотря на то, что за одно царствованіе Николая Павловича добыча золота въ Россіи увеличилась въ 40 разъ (съ 400 тыс. р. до 16 мил. р. ежегодно). Неудобства, связанныя съ бумажной валютой, были такимъ образомъ „жертвою на алтарь отечества"—почти буквально. Только кто приносилъ эту жертву? Т ѣ ли, кто всего сытнѣе питался около этого алтаря? Мы видѣли, что купечество никогда не тяготилось изобиліемъ денежныхъ знаковъ—и всегда находило, что ихъ слишкомъ мало. Въ самомъ дѣлѣ, заработная плата росла в н ѣ всякой пропорціи съ курсомъ ассигнацій. Съ 50-хъ по 80-ые годы цѣна бумажнаго (кредитнаго) рубля сильно упала, какъ мы видѣли: а реальная заработная плата рабочихъ на шуйскихъ хлопчатобумажныхъ фабрикахъ, напримѣръ, п о н и з и л а с ь за это время на 20—30%. Вообще же, покупная сила ассигнаціоннаго рубля

внутри страны всегда была значительно выше его курса на заграницу. Это дѣлало бумажную валюту прямо выгодной тѣмъ, чьи доходы строились на сбытѣ русскаго сырья, притомъ, чѣмъ ниже былъ курсъ, тѣмъ она была выгоднѣе. Когда, въ концѣ 1880-хъ гг., курсъ кредитнаго рубля неожиданно сталъ подниматься, это вызвало настоящую панику среди хлѣбныхъ экспортеровъ и помѣщиковъ. Опасенія послѣднихъ раздѣлялись и министерствомъ финансовъ, которое офиціально писало, что дальнѣйшее повышеніе курса „отзовется весьма гибельно на нашей отпускной торговлѣ и причинитъ значительный ущербъ нашимъ производителямъ". „Цѣны могутъ дойти до такого уровня, что отпускъ нашего хлѣба сдѣлается невозможнымъ". Вотъ почему наша реакціонная печать, съ Катковымъ во главѣ, съ такою яростью отстаивала въ 80-хъ гг. бумажныя деньги. Нуженъ былъ расцвѣтъ промышленнаго капитализма для того, чтобы сдѣлать возможной реформу Витте—введеніе въ 1897 г. металлическаго обращенія. Итакъ, тѣ общественные классы, которымъ нужна была активная внѣшняя политика, основанная на ассигнаціяхъ, отъ неудобствъ бумажно-денежной системы не страдали. Платились за нее массы населенія, переплачивавшія на всѣхъ продуктахъ обрабатывающей промышленности: такъ какъ цѣны на эти послѣдніе, при господствѣ протекціонной системы, обусловливались прежде всего, цѣнами на нихъ за границей—дешевле, чѣмъ стоилъ заграничный товаръ съ провозомъ и таможенною пошлиной, подобнаго же русскаго товара никто, конечно, не продавалъ, а за границей русскій рубль имѣлъ меньшую покупную силу, чѣмъ внутри страны. Ассигнаціи, такимъ образомъ, были особой формой эксплуатаціи, формой, свойственной, главнымъ образомъ, эпохѣ торговаго капитализма. Съ переходомъ вліянія отъ этого послѣдняго къ капитализму промышленному должна была пасть и бумажно-денежная система. И для промышленнаго капитала нужна была активная, внѣшняя политика; и онъ не чуждался, первоначально, испытаннаго, традиціоннаго средства ея обезпеченія. Но расцвѣтъ обрабатывающей промышленности въ Россіи оказался немыслимымъ безъ содѣйствія европейскаго, международнаго капитала: а европейскій капиталъ не

шелъ въ Россію, пока она была отдѣлена отъ всего остального капиталистическаго міра бумажно-денежною стѣной. Ассигнаціи націонализировали русскій рынокъ: для того, чтобы сдѣлать его европейскимъ, на немъ должны были царствовать не бумажки, имѣющія цѣну только въ Россіи, а имѣющее цѣну всегда и всюду золото.

Къ заграничному кредиту Россія прибѣгала и въ предшествующія эпохи, но болѣе или менѣе случайно и не въ очень значительныхъ размѣрахъ. Первая попытка заключить заграничный заемъ была сдѣлана при Петрѣ В.—она была неудачна. При Екатеринѣ II, одновременно съ введеніемъ ассигнацій, передъ 1-ой турецкой войной, попытка была повторена, на этотъ разъ успѣшно: въ 1769 г. былъ заключенъ первый русскій внѣшній заемъ въ Голландіи. Екатерина II и Александръ I, неоднократно прибѣгали къ этому источнику, обыкновенно, на очень тяжелыхъ условіяхъ—съ платежомъ на менѣе 6% годовыхъ номинально, а фактически еще болѣе: въ это время внутри Россіи правительство свободно доставало деньги изъ 4%. Правда, что внутри страны оно получало ассигнаціи, а изъ-за границы золото. Стѣсняли русскій заграничный кредитъ, какъ это ни странно, именно „сила и могущество Россіи", въ связи съ существовавшей тогда въ ней формою правленія. При неограниченной, юридически, власти русскаго императора, кто могъ бы заставить этого государя выполнять свои долговыя обязательства? Къ заграничной публикѣ, непосредственно, тогда и не пробовали обращаться. Займы велись черезъ посредство группъ особенно привилегированныхъ лицъ, носившихъ названіе „придворныхъ банкировъ"; подписывались на русскія бумаги не столько по довѣрію къ русскому правительству, сколько довѣряя тѣмъ банкирскимъ домамъ, которые брали на себя заемъ. Только въ министерство Канкрина, при Николаѣ I, займы стали заключаться на болѣе нормальныхъ условіяхъ. Но какую ничтожную, сравнительно, роль игралъ заграничный кредитъ и въ его время, покажетъ пара цифръ. Передъ выходомъ Канкрина въ отставку, въ 1843 г., весь внѣшній долгъ Россіи составлялъ 246 мил. р. на серебро: а бюджетъ тогдашней Россіи не выходилъ изъ 240—250 милліоновъ. Для

сравненія надо припомнить, что русскій бюджетъ 1909 г. сводился къ $2^1/_2$ милліардамъ р., а долгъ—къ 9 милліардамъ, въ круглыхъ цифрахъ. При Николаѣ I долгъ только равнялся бюджету—теперь онъ въ $3^1/_2$ раза превышаетъ его. Относительная европеизація русскихъ порядковъ послѣ 1861 г. (въ чисто финансовой области сюда относятся: опубликованіе государственной росписи, ранѣе составлявшей тайну, учрежденіе государственнаго контроля также съ гласными, печатными отчетами, и разрѣшеніе газетамъ касаться, хотя и съ оглядкою, вопросовъ государственнаго хозяйства) вызвала значительное расширеніе заграничнаго кредита: къ 1880 г. заграничный долгъ нѣсколько превысилъ милліардъ рублей (бюджетъ 700 милліоновъ), распредѣленныхъ на 26 разновременныхъ займовъ. Европейскія деньги и теперь еще туго шли въ русскій казенный сундукъ: средній % по займамъ былъ $5^3/_4$,—тогда какъ внутренніе займы обходились не дороже $5^1/_2$. Причины довольно откровенно объяснилъ Ротшильдъ въ разговорѣ съ тогдашнимъ русскимъ министромъ финансовъ, Грейгомъ: „если бы у васъ была конституція, вамъ легче было бы доставать деньги“. За не менѣе откровенную передачу этого разговора Грейгъ получилъ отставку. Но его собесѣдникъ былъ лишь отчасти правъ: ближайшей причиной было то, что заграницѣ деньги были „самой нужны“, въ связи съ энергичными желѣзнодорожными стройками (въ 40—70-хъ гг. какъ разъ создавалась европейская желѣзнодорожная сѣть), войнами 60—70-хъ годовъ и т. д. Какъ только обстоятельства измѣнились (см. выше, стр. 177), Европа, въ частности Франція, предоставила свои сбереженія къ услугамъ Россіи, и не требуя „конституціи“. Въ 1882 г. государственный долгъ Россіи составлялъ 4.356 милл. р. при чемъ въ этомъ числѣ было почти на милліардъ кредитныхъ билетовъ. Къ 1902 г. эта послѣдняя категорія долговъ совершенно исчезла, благодаря возстановленію металлическаго обращенія (точнѣе введенію золотой валюты) въ 1897 г., и, тѣмъ не менѣе, общая цифра долга доходила уже до 6.431 милліона. Европа снабдила насъ за 20 лѣтъ тремя новыми милліардами, т.-е. за 20 лѣтъ дала въ два раза больше, чѣмъ за предшествующія 120. При этомъ средній годовой % былъ, фактически,

не выше $4^1/_2$ (номинально, послѣ „конверсій“ конца 80-хъ г.,—4%). Объ экономическихъ послѣдствіяхъ этого потопа иностранныхъ капиталовъ, мы уже говорили выше (стр. 175 ссл.). Теперь насъ интересуютъ только политическія. Еще войну 1877—78 гг. пришлось вести при помощи поистинѣ героическихъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ. Къ 1904 г. Россія, возстановивъ металлическое обращеніе, имѣла возможность тратить на сухопутную армію почти вдвое болѣе 1877 г. (бюджетъ военнаго министерства 190 мил. р. и 350 мил. р.), построивъ, кромѣ того, флотъ, котораго почти не было въ 1877 г. вовсе (бюджетъ морского министерства 28 мил. и 113 мил. р.). Война 1904—5 гг. не заставила разстаться съ золотой валютой: только долгъ выросъ до 7.481 милліона. Кажется, ни одной неудачной войны въ своей исторіи Россія не провела такъ благополучно въ финансовомъ отношеніи, какъ маньчжурскую кампанію: даже наполеоновскія войны, когда мы пользовались щедрыми англійскими субсидіями, дали больше трещинъ въ казенномъ сундукѣ. Но заграничный кредитъ не только далъ возможность перенести войну, а и ликвидировать вызванныя ею внутреннія осложненія. Къ 1909 году, благодаря этому, долгъ возросъ до 8.835 мил. р., и дѣло приняло столь благополучный видъ, что новаго займа не понадобилось до 1914 года.

Бѣглый обзоръ одного изъ новѣйшихъ бюджетовъ покажетъ намъ, какъ отражаются до сихъ поръ въ русскомъ государственномъ хозяйствѣ различныя, подмѣченныя нами, финансовыя наслоенія. Мы помнимъ, что Петръ В. мечталъ построить весь русскій бюджетъ на прямыхъ налогахъ, даже на единомъ прямомъ налогѣ, подушной подати. Въ 1882 г., когда подушныя доживали свои послѣдніе дни, прямые налоги заполняли еще 25% бюджета; съ исчезновеніемъ подушной подати, отмѣненной при Александрѣ III, въ 1892 г. на долю ихъ приходилось уже только 16%; въ бюджетѣ 1912 г. они представлены скромной цифрой $14{,}1\%$ [1]). Отъ петровскаго бюджета почти ничего не осталось—даже и названія главной податной категоріи. Но мы видимъ, что по-

[1]) Вмѣстѣ съ пошлинами.

раженіе подушныхъ началось на другой же день послѣ смерти Петра—и что уже XVIII вѣкъ нашелъ имъ суррогатъ въ доходѣ отъ продажи водки. Въ бюджетѣ 1882 г. этотъ доходъ фигурируетъ цифрой 252 мил. р.—что составляетъ около 35% всего „обыкновеннаго“ дохода за этотъ годъ: „пореформенная“ Россія перещеголяла екатерининскую, когда откупа покрывали не болѣе 25% бюджета. Въ 1912 г. %, приходящійся на годичный доходъ (теперь уже не отъ налога на вино, а отъ монопольной продажи его), нѣсколько скромнѣе: менѣе 30. Но абсолютная цифра выросла въ три раза, сравнительно съ 1882 г.: до 751 милліона. Вообще же косвенные налоги (съ винной монополіей) покрываютъ въ 1912 г. почти половину бюджета (48,6%)—а въ сущности, далеко большую его часть, ибо почти треть его (28,5%) заполняется доходами отъ казенныхъ предпріятій, главнымъ образомъ, желѣзныхъ дорогъ (по росписи этого года 634 мил.): т.-е. доходами отъ частнаго хозяйства государства, если такъ можно выразиться. Идея торговыхъ капиталистовъ XVII в.—замѣнить всѣ прямые налоги косвенными, дабы „никто въ избылыхъ не былъ“, близка къ осуществленію въ началѣ XX столѣтія. Только соль (соляной налогъ отмѣненъ въ 1880 г.) замѣнили другіе предметы массового потребленія: табакъ, сахаръ, керосинъ, спички—и всѣ вообще фабрикаты, произведенія обрабатывающей промышленности. Мы уже упоминали объ экономическомъ значеніи покровительственнаго таможеннаго тарифа. Теперь надо прибавить, что онъ имѣетъ и непосредственное финансовое значеніе: въ 1912 г. онъ далъ казнѣ 328½ милліоновъ,—больше, чѣмъ какой бы то ни было косвенный доходъ, кромѣ питейнаго. Заставлять массы оплачивать политику высшихъ классовъ—эта задача въ XX в. разрѣшается такъ же успѣшно, какъ и въ XVIII.

Въ доходной части бюджета мы не найдемъ, конечно, главнаго рычага военной машины нашего времени,—какъ не нашли бы въ свое время и устарѣвшаго теперь рычага прежнихъ временъ, ассигнацій. Государственный кредитъ нужно искать въ графѣ расходовъ. Платежи по государственнымъ займамъ въ 1912 г. составляли 404,5 мил. р. По отношенію къ общей массѣ бюджета это составляетъ

13,5%. Пятнадцать лѣтъ назадъ Россія платила по займамъ 258 мил. р. ежегодно, а тридцать лѣтъ назадъ, въ 1877 г., 149 милліоновъ: но этотъ расходъ въ первомъ случаѣ равнялся 20%, а во второмъ 25% всего бюджета. Если относительное уменьшеніе платежей на разстояніи отъ 1877 до 1897 объясняется тѣмъ удешевленіемъ кредита, о которомъ говорилось раньше, то къ періоду 1897—1912 это объясненіе неприложимо: за послѣдніе годы деньги не только не подешевѣли на рынкѣ, но, наоборотъ, подорожали [1]). Суть дѣла въ томъ ростѣ внутренняго накопленія, о которомъ говорилось въ концѣ экономическаго отдѣла: рессурсы страны начинаютъ расти быстрѣе задолженности. Но употребляются эти новые рессурсы на старое назначеніе. Чтобы получить военные расходы 1912 г., надо ложить, во-первыхъ, бюджеты военнаго министерства (обыкновенный—494,3 мил. р., и чрезвычайный, на „хозяйственно-операціонные расходы»—70 м. р.), морского (164,2 м. р.) и государственнаго коннозаводства, которое, если имѣетъ какое-нибудь „государственное" значеніе, то только въ связи ъ кавалерійскимъ ремонтомъ (2,2 м. р.). Но это не все: нѣтъ сомнѣній, что чисто-военные расходы мы найдемъ, напримѣръ, въ бюджетѣ министерства путей сообщенія (обыкнов. 567,2 м. р. и на сооруженіе новыхъ желѣзныхъ дорогъ 116,7 м. р.), ибо часть русскихъ желѣзныхъ дорогъ—стратегическія, построены исключительно въ томъ предвидѣніи, что по нимъ придется возить войска въ случаѣ войны; въ коммерческомъ отношеніи онѣ представляютъ собою предпріятіе чисто убыточное. Съ другой стороны, подавляющее большинство госуд. займовъ заключено тоже на военныя цѣли, какъ мы видѣли. Если мы, игнорируя желѣзнодорожные расходы, будемъ считать „военными" расходами всѣ платежи по займамъ, то, нѣтъ сомнѣнія, если мы и ошибемся, то въ сторону преуменьшенія военнаго бюджета, а никакъ не въ сторону его преувеличенія. Складывая соотвѣтствующія цифры, мы получимъ 1135 мил. р.: ко всему

---

[1]) Послѣдній заемъ русскаго правительства—парижскій „желѣзнорожный" 1914 г., заключенъ—фактически, изъ 5%. Почти вернулись къ нормамъ начала 1880-хъ годовъ!

бюджету это составляетъ 38%. Въ расцвѣтѣ военной силы имперіи Николая Павловича, въ 1847 г., эти расходы давали 50% всего бюджета: Россія 1912 г. можетъ показаться нѣсколько менѣе военной страной, чѣмъ Николаевская Россія. Но это иллюзія, объясняемая тѣмъ, что современная армія, относительно, обходится гораздо дешевле, чѣмъ армія Николая I. Начиная съ середины XVII в. и до второй половины XIX русское войско наполнялось при помощи рекрутскихъ наборовъ—или, какъ въ московскую эпоху это называли, „даточными людьми". Это очень характерное названіе: армія комплектовалась людьми, которыхъ „давали" государству помѣщики. Рекрутчинѣ подлежали не одни крѣпостные,—но послѣдніе составляли большинство, и оно окрашивало цѣлое. Изъ этого вытекало, что къ рекрутчинѣ правительство должно было относиться такъ же бережливо, какъ и къ подушной подати: какъ эта послѣдняя вынимала рубли, въ сущности, изъ кармана помѣщика, такъ первая отнимала работниковъ у помѣщичьяго хозяйства. Рекрутчина была, какъ иногда ее и сравнивали, „военной барщиной"—но нужно было, чтобы она не мѣшала настоящей барщинѣ. Какой ужасъ представляла собой рекрутчина съ точки зрѣнія интересовъ семьи рекрута, терявшей своего сына или брата навсегда, фактически,—это всѣ знаютъ. Какъ варварски обращались съ личностью солдата, и каковы были гигіеническія условія тогдашней казармы, это тоже, болѣе или менѣе, извѣстно [1]). Но эти ужасы отчасти выкупались тѣмъ, что жертвою ихъ становилась далеко меньшая часть населенія, сравнительно съ тою, которая теперь попадаетъ въ ряды арміи. Мы съ трудомъ представляемъ себѣ, что въ моментъ наивысшаго военнаго напряженія крѣпостной Россіи, въ эпоху наполеоновскихъ войнъ, подъ ружьемъ былъ всего 1 человѣкъ изъ 22 душъ муж. пола, тогда какъ во время маньчжурской кампаніи, далеко не „отечественной" по значенію и размѣрамъ, не рѣдкость было видѣть цѣлыя деревни, гдѣ изъ мужчинъ остались

---

[1]) За 25 лѣтъ царствованія Николая I (1826—1851), по официальнымъ даннымъ, было убито въ бояхъ 30.233 чел. нижн. чиновъ, умерло отъ болѣзней 1.062.839 чел. и дезертировало 155.857 чел.

только старики да мальчики—все взрослое мужское населеніе было взято на войну. Если бы что-нибудь подобное случилось въ двѣнадцатомъ году, помѣщики, владѣльцы этихъ деревень, подняли бы такой крикъ, что миръ былъ бы заключенъ задолго до прихода Наполеона въ Москву. Именно этой скупостью на рекрутовъ и объясняются невѣроятно продолжительные сроки тогдашней службы (20 лѣтъ въ гвардіи и 25 въ арміи). Почти всѣ наличные солдаты все время оставались въ казармахъ; запаса почти не было—и мобилизованная армія менѣе, чѣмъ на 20% отличалась отъ немобилизованной: тогда какъ теперь количество обученныхъ солдатъ, которыхъ можно призвать подъ ружье въ случаѣ мобилизаціи, въ четыре раза превышаетъ число солдатъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ. Но зато теперь большая часть мужчинъ рабочаго возраста, въ любой моментъ, можетъ быть облечена въ военный мундиръ. Если бы теперешнюю армію (1.800 тыс. человѣкъ по штатамъ военнаго времени, не считая ополченія и мѣстныхъ войскъ) содержать на тѣхъ же началахъ, какъ армію Николая I, она стоила бы не пол-милліарда, а добрыхъ полтора. Это удешевленіе арміи было главнымъ эффектомъ всеобщей воинской повинности (1874 г.), которую въ публикѣ, очень часто, смѣшивали въ одно цѣлое со всѣми „великими реформами“ Александра II, но которая въ глазахъ самого военнаго начальства имѣла вполнѣ опредѣленную техническую цѣль—увеличить, по возможности, количество обученныхъ солдатъ при возможномъ уменьшеніи числа солдатъ, постоянно находящихся на казенномъ содержаніи въ казармахъ. Связь этой реформы съ 19 февраля, тѣмъ не менѣе, совершенно опредѣленная: только „освобожденіе“ крестьянъ, отнявъ у помѣщика интересъ къ личности его бывшихъ крѣпостныхъ, позволило ввести всеобщую воинскую повинность. Что она распространилась и на дворянскихъ дѣтей, это всего менѣе ломало традицію: гвардейскій „сержантъ“ или „капралъ“ временъ Екатерины II, „юнкеръ“ николаевской эпохи и „вольноопредѣляющійся“ нашихъ дней это лишь различныя инсценировки одного и того же явленія. Дворянская молодежь привыкла—не только въ Россіи—начинать свою карьеру съ военной службы. И нельзя себѣ

представить командующаго класса, который бы не стремился занять командующаго положенія въ арміи—въ XX вѣкѣ, какъ и въ X-мъ являющейся наиболѣе конкретнымъ выраженіемъ „государственности". Экономически это и находитъ себѣ выраженіе въ томъ фактѣ, что нашъ бюджетъ на всемъ протяженіи его исторіи является, прежде всего, военнымъ бюджетомъ. Въ XX вѣкѣ, какъ въ X-мъ, „данью" оплачивается содержаніе „дружины".

Библіографія.

Въ противоположность экономической исторіи Россіи, ея финансовая исторія изучена, сравнительно, очень хорошо. Для древне-русской дани см. соотвѣтствен. стран. называвшейся выше книги акад. Дьяконова („Очерки обществ. и госуд. строя древней Руси") и, кромѣ того, статью А. Я. Ефименко „Литовско-русскіе данники и ихъ дани" (Журн. Мин. Нар. Просв. 1903 январь). Для московской и петровской эпохъ до сихъ поръ сохранили всю цѣну классическія работы П. Н. Милюкова „Спорные вопросы финансовой исторіи Московскаго государства", С-пб. 1892 г., и, особенности, „Государственное хозяйство Россіи въ первой четверти XVIII стол. и реформа Петра В." (С-пб. 1892, есть новое изданіе). Обѣ написаны очень спеціально, популярнымъ изложеніемъ является очеркъ III перваго выпуска „Очерковъ по исторіи русской культуры" того же автора. Продолженіемъ работъ Милюкова служатъ статьи проф. Чечулина „Очерки по исторіи русск. финансовъ при Екатеринѣ II" (Журнал Мин. Нар. Просв. 1904 январь, 1905 январь—мартъ, 1906 мартъ) менѣе основательныя, какъ изслѣдованіе, но зато доступнѣе написанныя. Для XIX в. общимъ пособіемъ является книга И. Блиоха „Финансы Россіи въ XIX столѣтіи", сильно уже устарѣвшая; свѣжіе работы проф. Мигулина „Русскій государственный кредитъ" (Харьковъ 1899) и др.—съ массою данныхъ объ ассигнаціяхъ, займахъ и т. п.

2.

Судъ.

Финансовая организація, какъ мы видѣли, тѣснѣе всего связана съ задачами внѣшней политики. Въ область политики исключительно „внутренней" мы попадаемъ съ организаціей судебной. Какъ подати и налоги, такъ и судъ касаются каждаго: это наиболѣе массовое явленіе об-

щественной жизни. Разсматривая эту послѣднюю снизу, со стороны народной массы, судъ, поэтому, приходится поставить на первое мѣсто—раньше организаціи центральной власти, напримѣръ. Съ этою послѣднею населенію не такъ часто приходится имѣть дѣло, какъ съ судомъ; степень свободы того или другого народа гораздо больше измѣряется его судебно-полицейскими порядками, нежели тѣмъ, напримѣръ, парламентскій или конституціонный у него государственный строй. Англія и Франція обѣ являются странами парламентскаго режима, Германія—образчикъ конституціонной монархіи въ ея чистомъ видѣ, тѣмъ не менѣе, подданный англійскаго короля болѣе свободный человѣкъ, чѣмъ гражданинъ французской республики, а этотъ послѣдній, со стороны его независимости отъ произвола сверху, не далеко ушелъ отъ подданнаго императора Германіи. И это потому, что Франція, перейдя къ парламентскому строю со всеобщей подачей голосовъ и т. д., почти во всей неприкосновенности сохранила тотъ судебно-полицейскій аппаратъ, какой у нея былъ во времена имперіи.

Читатель замѣтилъ, что мы говоримъ о „судебно-полицейскомъ“ аппаратѣ, соединяя въ одно цѣлое два понятія, которыя юристы-теоретики всячески стремятся раздѣлить: судъ и полицію. Какъ бы важно ни было это раздѣленіе съ точки зрѣнія теоріи, исторически оно не имѣетъ никакого смысла. Оба учрежденія выросли на одномъ корню, преслѣдовали одну и ту же цѣль—поддержаніе общественной дисциплины (которую не слѣдуетъ смѣшивать съ „порядкомъ“: нѣтъ порядка безъ дисциплины, это правда, но вполнѣ можно себѣ представить свирѣпую до звѣрства дисциплину безъ всякаго порядка, въ настоящемъ смыслѣ этого слова), и даже въ своей дѣятельности долгое время были неотдѣлимы одно отъ другого: а въ такихъ странахъ, гдѣ, какъ въ Россіи, существуютъ внѣ-судебныя наказанія (административная ссылка, напр.) и разнаго рода исключительные суды, ихъ и теперь можно отдѣлить другъ отъ друга только теоретически, если не считать того внѣшняго отличія, что у чиновниковъ судебнаго вѣдомства форма съ зеленымъ кантомъ, а у полицейскихъ кантъ красный. Можно только замѣтить одно: въ дѣлѣ поддержанія дисци-

плины судебныя учрежденія, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, являются основными—они раньше появились, ихъ вѣдѣнію подлежатъ наиболѣе крупные случаи нарушенія дисциплины, они назначаютъ и самыя крупныя наказанія. Даже въ Россіи, напримѣръ, за послѣдніе годы можно найти лишь немного случаевъ смертной казни въ административномъ порядкѣ: въ то же время даже во Франціи болѣе мелкія правонарушенія судятся административнымъ, чиновничьимъ судомъ, который такъ и называется „судомъ простой полиціи“ (tribunal de simple police). Есть, поэтому, всѣ основанія изученіе органовъ общественной дисциплины начать съ суда и на немъ сосредоточить,—обращаясь къ полиціи лишь попутно.

Въ древнѣйшее, доступное нашему наблюденію, время, общественная дисциплина держалась исключительно на обычаѣ. Хозяйственный строй непосредственно отражался въ общественномъ строѣ—то, что экономически было необходимо, являлось правиломъ, нарушать которое внутри данной хозяйственной организаціи едва ли кому приходило даже въ голову. Вотъ почему о разрѣшеніи столкновеній внутри хозяйственной единицы, семьи, мы ничего не узнаемъ изъ нашихъ сборниковъ права: они заняты исключительно возможными столкновеніями между различными семьями. Только сохранившійся, по случайному поводу, въ документахъ XVI в. намекъ на „судъ старыхъ родителей“ даетъ понять, какъ рѣшались внутри-семейныя дѣла, когда они возникали: художественнымъ воспроизведеніемъ этого суда является извѣстная сцена Тараса Бульбы съ его измѣнникомъ—сыномъ. „Я тебя породилъ, я тебя и убью“. О какой либо судебной процедурѣ тутъ и рѣчи, разумѣется, не было—не было, поэтому, нужды и записывать подобныхъ судебныхъ обычаевъ, не говоря уже о томъ, что, по абсолютному безграмотству древнѣйшей эпохи, записать невозможно было физически. Но, въ связи съ хозяйственной эволюціей, семьи, какъ мы знаемъ, складывались въ племена. Племенной обычай уже далеко не столь элементаренъ, какъ семейный; недоразумѣній на его почвѣ можетъ возникнуть гораздо болѣе; въ то же время, когда восточные славяне переходили къ племенному быту, къ нимъ уже успѣло про-

никнуть искусство письма. А еще раньше къ нимъ проникли иноплеменники, норманны и, кажется, это-то и дало ближайшій толчекъ къ записи племеннаго обычая самаго культурнаго изъ восточно-славянскихъ племенъ, кіевскихъ полянъ. Эта запись сохранилась въ одной новгородской лѣтописи и составляетъ такъ называемую *древнѣйшую редакцію Русской Правды*: „Русская Правда“ — это общее названіе для всѣхъ сборниковъ древне-русскаго права, сборниковъ, какъ сейчасъ увидимъ, весьма различнаго происхожденія. Древнѣйшую запись относятъ теперь, съ большими основаніями, къ первой половинѣ X столѣтія. Она, значитъ, современница русско-греческихъ договоровъ, о которыхъ говорилось выше (см. стр. 61). Она даетъ очень живую картину *докняжескаго* обычая русскихъ славянъ. Общественная дисциплина обезпечивалась всецѣло *самообороной*. Человѣкъ, котораго ударили, гнался за тѣмъ, кто ударилъ, а догнавъ, расправлялся, какъ хотѣлъ и могъ. Если онъ самъ не въ силахъ былъ это сдѣлать, расправлялись его „чада“, его семейные. Месть за своего была не только правомъ—она, какъ и у теперешнихъ примитивныхъ народовъ, была обязанностью: въ этомъ смыслѣ и приходится понимать первую статью Русской Правды, перечисляющую кровомстителей. Долгое время, не будучи въ состояніи отрѣшиться отъ современной, „государственной“ точки зрѣнія, видѣли въ этомъ перечнѣ попытку ограничить, якобы, кровную месть опредѣленными степенями родства. Но, какъ сейчасъ увидимъ, ограничивать было некому, ибо никакой общественной власти, которая по обязанности вмѣшивалась бы въ столкновенія между членами племени (точнѣе говоря, между семьями, составлявшими племя), не знаетъ древнѣйшій текстъ Русской Правды. Единственный трибуналъ, ему знакомый, это третейскій судъ, импровизируемый въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ самими тяжущимися. Если одинъ человѣкъ обвиняетъ другого, говоритъ Правда, что тотъ взялъ какую-нибудь вещь, а тотъ начнетъ запираться, то идти имъ на „сводъ“ (или „изводъ“) передъ 12 человѣками. Какъ видимъ, сакраментальное число 12 присяжныхъ идетъ изъ чрезвычайно глубокой старины—но не видно, чтобы эти древнѣйшіе присяжные получали свои пол-

помочія отъ кого бы то ни было, кромѣ самихъ спорящихъ. Смягченіе обычая кровной мести есть въ нашемъ памятникѣ, но оно выражается совсѣмъ въ другомъ: въ отвѣтъ на убійство разрѣшается уже не убивать, а взять съ убійцы деньги. Тутъ отразилась та экономическая перемѣна, которая раньше всего покачнула семейно-племенный бытъ: появленіе торговли, познакомившей восточнаго славянина съ силою денегъ. Все можно было обратить въ деньги, включая и трупъ убитаго родственника. И очень характерно, что, если въ спискѣ мстителей мы встрѣчаемъ перечень родни, чрезвычайно архаическій, съ отзвуками материнскаго права, то въ спискѣ тѣхъ, за кого можно получить деньги, мы встрѣчаемъ пришлыхъ, безродныхъ людей — наемнаго солдата („гридѣнь“, „мечникъ“), купца и просто „изгоя“ (получившаго свободу холопа). У нихъ не было мстителей по обязанности, а мстители по праву, ихъ товарищи, были люди коммерческіе, предпочитавшіе деньги крови.

Въ явную насмѣшку надъ разсказомъ лѣтописи о томъ, будто первые князья были „призваны“ изъ-за моря, чтобы „судить по праву“, древнѣйшій памятникъ русскаго права ни однимъ звукомъ не упоминаетъ о судебной роли князя. Читая его, можно подумать, что находишься въ настоящей республикѣ. Проходитъ сто лѣтъ слишкомъ—и отъ второй половины XI столѣтія мы имѣемъ новый сборникъ обычаевъ (его нельзя назвать „новой редакціей“, хотя обыкновенно его такъ и титулуютъ, ибо содержаніе его совсѣмъ другое), напоминающій намъ, что если князь пришелъ и не за тѣмъ, чтобы судить, то, во всякомъ случаѣ, придя и посидѣвъ достаточно долго, онъ забралъ въ руки и судебную власть. Слова „князь“, „княжій“ на каждомъ шагу мелькаютъ предъ нами въ этой „второй редакціи“. Первое же постановленіе наталкиваетъ насъ на княжескаго „огнищанина“ (дворянина, по-теперешнему—члена княжескаго двора, „огнища“—сравни „печище“). За убійство своего придворнаго князь желалъ получить очень круглую сумму—80 гривенъ (до 2000 р. на теперешнія деньги); за своего приказчика онъ требовалъ только 600 рублей (12 гривенъ), а за своего работника или за крестьянина, смерда—и всего 125 (5 гривенъ): изъ этого постановленія мы узнаемъ, что княжескій

холопъ и „свободный“ крестьянинъ стояли передъ княземъ, на одной доскѣ. Во всѣхъ этихъ дѣлахъ князь, очевидно, судитъ: это онъ назначаетъ 80 или 5 гривенъ штрафа. Но ни откуда не видно, чтобы онъ судилъ, какъ представитель общественной власти. Его приговору подчиняются, потому что онъ самый сильный человѣкъ въ странѣ—противъ его рѣшенія не возразишь, по крайней мѣрѣ, въ одиночку. Но едва ли кто-нибудь уполномочивалъ его произносить приговоръ, какъ тѣхъ 12 присяжныхъ, съ которыми мы встрѣчались выше. Напротивъ, есть много основаній думать, что самая запись „второй редакціи“ была результатомъ извѣстнаго ограниченія княжескаго самоуправства. Эта редакція относится ко времени сыновей Ярослава Владимировича (умершаго въ 1054 г.)—Изяслава, Всеволода и Святослава—и представляетъ собою результатъ ихъ взаимнаго соглашенія. Времена тогда были очень смутныя—Изяслава, старшаго изъ братьевъ, дважды выгоняли изъ Кіева, первый разъ кіевляне, второй разъ его же братья. Этимъ послѣднимъ лѣтопись опредѣленно усваиваетъ демократическія, такъ сказать, тенденціи. Они заступались за Кіевъ передъ старшимъ братомъ, отличавшимся, судя по лѣтописи, качествами настоящаго тирана. Можно предположить, что съѣздъ Ярославичей былъ предпринятъ съ цѣлью обуздать лютаго Изяслава—и, при извѣстномъ давленіи снизу, эта попытка удалась. Первыя же три статьи „второй редакціи“ носятъ явный характеръ уступки: князь обязуется не взыскивать за убійство огнищанина по круговой порукѣ, если убійство совершено „въ обиду“—т.-е. въ ссорѣ; тогда отвѣчаетъ только самъ убійца. Круговая порука примѣняется лишь, если огнищанина убьютъ разбойники, или убійцъ не найдутъ. Еще выразительнѣе третье постановленіе, вовсе освобождающее отъ штрафа за убійство огнищанина, если того захватили на кражѣ лошадей, или вообще скота („у клѣти“). Это бросаетъ какъ нельзя быть болѣе яркій свѣтъ на отношенія между княжеской дружиной и населеніемъ—и показываетъ, что и въ XI в. князь, во всякомъ случаѣ, не былъ воплощеніемъ порядка. Никакъ нельзя предположить, потому, что право князя брать въ свою пользу штрафъ за всякое убійство, не только своего слуги, право, встрѣчающееся въ

самой распространенной, 3-й редакціи Правды, возникшей въ XII в.,—чтобы это право было предоставлено князю населеніемъ. Какъ князь его захватилъ, ни Правда, ни лѣтопись не даютъ яснаго отвѣта. Видно только, что вопросъ былъ возбужденъ еще при Владимірѣ Св., по почину византійскаго духовенства, которое требовало, собственно, введенія въ Россіи смертной казни по византійскому образцу. Это гуманное домогательство не прошло, но, кажется, именно опираясь на духовенство, всячески старавшееся изъ варяжскаго „конунга“ сдѣлать государя по образу и подобію греческаго императора, князь и далъ своеобразное толкованіе своей „государственной“ прерогативѣ, начавъ извлекать пользу для своей казны изо всякаго убійства. Рядомъ съ „головничествомъ“ — выкупомъ отъ кровной мести—начинаетъ взыскиваться княжеская „вира“: едва ли въ качествѣ выкупа отъ смертной казни, какъ думаютъ нѣкоторые ученые. Смертная казнь—явленіе гораздо болѣе поздней эпохи, и она замѣнила именно частную месть. Въ то время, когда вырабатывалась Русская Правда, князь, пользуясь своей силой, могъ, конечно, безнаказанно убить всякаго „смерда“, а при случаѣ (съ бо́льшимъ рискомъ) и горожанина. Но онъ это дѣлалъ, когда ему было нужно (послѣ возстанія, напримѣръ)—къ уголовному праву это не имѣетъ никакого отношенія.

Итакъ, на ряду съ данью, въ число княжескихъ доходовъ попали и судебные штрафы—виры, если дѣло шло объ убійствѣ, продажи, если рѣчь была о воровствѣ, либо другомъ мелкомъ преступленіи. Такъ какъ послѣднія случались, конечно, чаще, чѣмъ убійства, то „продажа“ была, въ бытовомъ отношеніи, популярнѣе виры: стереотипной жалобой лѣтописца является „оскудѣніе земли отъ ратей и продажъ“. Мы видимъ, что судебная власть князя въ глазахъ населенія была такимъ же бѣдствіемъ, какъ война: и что гораздо правильнѣе было бы отнести эту судебную власть къ финансовому вѣдомству, чѣмъ къ юстиціи. Тутъ опять характеренъ языкъ: „судъ“ въ нашихъ старинныхъ документахъ значитъ, во-первыхъ, „судебное рѣшеніе“, а во-вторыхъ „судебный доходъ“. Эта двусмысленность приводитъ сплошь и рядомъ къ сочетаніямъ, прямо пикантнымъ

съ нашей, современной точки зрѣнія. „Пожаловали есмя“ читаемъ мы въ какой-нибудь грамотѣ „слугу своего (такого-то) селомъ (такимъ-то) со всѣмъ тѣмъ, что къ тому селу потягло, и съ хлѣбомъ земляным, опрочѣ (кромѣ) душегубства и разбоя съ поличнымъ“. Въ первую минуту можетъ даже показаться, что душегубство имѣетъ какое-то отношеніе къ „земляному хлѣбу“—т.-е. посѣянной уже озимой ржи. Но нѣтъ—это душегубство не имѣетъ въ себѣ ничего аграрнаго. Это самое обыкновенное уголовное преступленіе—только оно разсматривается съ той же точки зрѣнія, какъ и озимая рожь: и то, и другое—„доходныя статьи“. То же и со словомъ „самосудъ“: это значитъ не столько „самоуправство“, на древне-русскомъ языкѣ, сколько лишеніе князя или его слугъ слѣдующаго имъ дохода. Кто-нибудь поймалъ вора съ поличнымъ и, по добротѣ душевной, поколотивъ его, отпустилъ на всѣ четыре стороны: это „самосудъ“; не то, что вора поколотили—это, вѣроятно, даже и самъ избитый считалъ въ порядкѣ вещей—а то, что его не „явили“ волостелю или иному княжескому чиновнику, и тѣ не получили причитающихся съ дѣла пошлинъ.

Мы видѣли, что поддержанію общественной дисциплины судебныя полномочія князя служили всего менѣе—сейчасъ мы увидимъ, что иногда ничто не мѣшало такъ этой дисциплинѣ, какъ наличность княжаго „суда“ въ старомъ смыслѣ слова. Но, однако же, скажетъ читатель, „порядокъ“ какъ-нибудь поддерживался? Тѣми же средствами, какъ и во времена древнѣйшей редакціи Русской Правды—самоуправствомъ, самосудомъ не въ древне-русскомъ, а въ нашемъ смыслѣ этого слова. „Кровная месть“ въ принципѣ продолжала жить до XVI столѣтія: эволюціонировала, мѣнялась, впѣ всякаго вліянія княжеской власти, повидимому, ея форма. Въ позднѣйшее время мы не встрѣчаемъ уже междусемейной войны, какая была возможна въ X вѣкѣ. Безпорядочная драка—„кто кого смогъ, тотъ того и съ ногъ“—смѣнилась дракой въ извѣстныхъ, опредѣленныхъ обычаемъ, условіяхъ: „месть“ перешла въ „судебный поединокъ“. Спорящіе надѣвали броню и шеломъ, вооружались палицами или дубинами (въ болѣе древнее время, какъ мы знаемъ

изъ показаній иностранцевъ, мечами—замѣна остраго оружія тупымъ была дальнѣйшимъ смягченіемъ обычая) и отправлялись въ такомъ видѣ на „изводъ“ рѣшать свой споръ. Кто оставался на мѣстѣ, тотъ, вмѣстѣ съ жизнью, проигрывалъ и свое дѣло. Первоначально бой былъ публичнымъ: встрѣчающееся намъ въ Судебникѣ Ивана III (1497 г.) ограниченіе публичности, разрѣшеніе присутствовать при дракѣ только „стряпчимъ и поручникамъ“ (секундантамъ), отмѣчаетъ собою уже вымираніе судебнаго поединка. Такимъ же симптомомъ вымиранія является и право сторонъ нанимать за себя бойцовъ: право, которымъ прежде всего воспользовалось, кажется, духовенство—монахъ не обязанъ былъ самъ идти „на поле“, а могъ поставить „наймита“. Въ этомъ смягченіи суроваго обычая для себя, повидимому, и выразилось, главнымъ образомъ, вліяніе на поединки духовной власти. Характерно, что послѣднія, по времени, упоминанія о судебныхъ поединкахъ, относятся именно къ монастырскимъ имѣніямъ: по отношенію къ своимъ „подданнымъ“ церковь обнаружила въ данномъ случаѣ большой консерватизмъ. И если Стоглавый соборъ (1551 г.) возстаетъ противъ „поля“, то, кажется, главнымъ образомъ потому, что польщики прибѣгали къ гаданьямъ, колдовству и тому подобнымъ „языческимъ“ средствамъ склонить судьбу на свою сторону. Изъ всѣхъ сторонъ судебнаго поединка, кровопролитіе могло смутить всего менѣе тѣхъ, кто первый заговорилъ о необходимости смертной казни въ Россіи [1]).

Настоящія причины исчезновенія саморасправы даже въ смягченномъ ея видѣ хорошо рисуетъ намъ одинъ эпизодъ, случившійся въ княженіе отца Грознаго, вел. князя Василія Ивановича. „Боярскимъ дѣтямъ“, т.-е. по-теперешнему,

---

[1]) Основываясь на благихъ пожеланіяхъ отдѣльныхъ церковныхъ писателей—которые, случалось, осуждали и рабство, и взиманіе процентовъ, словомъ, многое изъ того, чѣмъ церковь, какъ учрежденіе, пользовалась прежде всѣхъ другихъ и лучше, чѣмъ другіе—наша историческая литература создала грандіозную картину борьбы церкви противъ судебнаго поединка: при чемъ оказалось, напримѣръ, что Русская Правда не упоминаетъ о „полѣ“ изъ этическихъ соображеній, подъ вліяніемъ духовенства! На самомъ дѣлѣ это свидѣтельствуетъ лишь, что „поле“ сложилось и существовало помимо княжеской власти: Правда широкой редакціи—памятникъ княжескаго суда.

дворянамъ, помѣщикамъ, пришлось „лѣзть на поле“ противъ крестьянъ: и они отказались, заявивъ, что дворянинъ можетъ драться только съ дворяниномъ. Тогдашнее общественное мнѣніе еще высказалось противъ нихъ, какъ оно всегда высказывается противъ всякаго новшества. Но упрямыя боярскія дѣти открыли своимъ отказомъ новую эру. Дворянинъ съ дворяниномъ продолжали драться и въ XIX столѣтіи: объ этомъ хорошо знаетъ исторія русской литературы, которой „поле“ стоило Пушкина и Лермонтова. Но это не имѣло уже никакого отношенія къ праву—юридически это даже было не средство возстановленія права, а прямое правонарушеніе. Возстановлять же свое право старыми „племенными“ средствами было анахронизмомъ уже въ XVI вѣкѣ, потому, что единаго, цѣльнаго, племени болѣе не было: было общество, раздѣленное на классы, и уголовное право, какъ вся система права вообще, служила поддержанію господства высшаго класса надъ низшимъ. Эта классовая юстиція звучитъ уже весьма явственно въ томъ же судебникѣ Ивана III, рядомъ съ вымирающими остатками племенного обычая. На ряду съ „полемъ“ мы встрѣчаемъ въ этомъ памятникѣ и смертную казнь, и перечень случаевъ, гдѣ она примѣнялась въ высокой степени поучителенъ. Смертью казнили, во 1-хъ, крестьянина или холопа, убившаго своего барина; во 2-хъ, мятежника („коромольника“); въ 3-хъ, человѣка, укравшаго что-либо церковное; въ 4-хъ, поджигателя—въ эпоху закрѣпощенія крестьянъ „красный пѣтухъ“ въ деревнѣ имѣлъ очевидно, то же аграрное значеніе, что и теперь; наконецъ, профессіональнаго вора и разбойника—„вѣдомаго лихого человѣка“, широкое и неопредѣленное понятіе, подъ которое можно было подвести всякаго „злоумышленника“ противъ интересовъ господствующаго класса, и человѣка, дѣйствительно жившаго грабежомъ чужой собственности, и примитивнаго революціонера, протестовавшаго противъ угнетенія.

Лишь одинъ только типъ преступника, по Судебнику достойнаго висѣлицы, не уложится въ эти рамки—но любопытенъ этотъ типъ не менѣе. Судебникъ предписываетъ „живота не дати“, между прочимъ, и подметчику. Что это

такое? Въ своемъ переводѣ Судебника Ивана III одинъ современный иностранный путешественникъ подробно растолковалъ это истинно-русское понятіе, а памфлетная литература XVI в. дала намъ къ нему яркія бытовыя иллюстраціи. Подметчикомъ называютъ, говоритъ этотъ путешественникъ, человѣка, который подбрасываетъ тайкомъ краденыя вещи въ чей-либо домъ, чтобы „сдѣлать процессъ“, поднять кляузу противъ хозяина этого дома. Изъ памфлетовъ мы узнаемъ, что подбрасывали не только вещи, но и мертвыя тѣла,—дѣло объ убійствѣ было, конечно, еще доходнѣе, чѣмъ о воровствѣ,—и что занимались этимъ тѣ самые люди, которые жили „судомъ“ наравнѣ со всякими другими „данями и пошлинами“, чины „княжеской администраціи“, по теперешнему говоря,—знакомые намъ кормленщики (см. стр. 191). Вы удивлены: вѣдь, это же и есть „органъ порядка“. Но удивляться рано: вспомните княжескаго слугу, „огнищанина“ Русской Правды, котораго можно было поймать съ поличнымъ „у клѣти“ и убить „во пса мѣсто“, какъ собаку. Сама государственная власть XVI в. нисколько не смущалась признаваться, что кормленщикъ былъ именно „органомъ безпорядка“. „Что намъ били челомъ, а сказывали“ говоритъ буквально царская грамота на Вагу (1552 г.), „что де у нихъ въ Шенкурьѣ и въ Вельску на посадѣхъ многіе дворы, а въ станѣхъ и во волостѣхъ многія деревни запустѣли отъ прежнихъ нашихъ Важескихъ намѣстниковъ, и отъ ихъ тіуновъ, и отъ доводчиковъ, и отъ обыскныхъ грамотъ, и отъ лихихъ людей, отъ татей и отъ разбойниковъ и отъ костарей, а Важескаго де имъ намѣстника и пошлиныхъ людей впредь прокормити немочно, отъ того де у нихъ въ станѣхъ и въ волостяхъ многіе деревни запустѣли и крестьяне де у нихъ отъ того насильства, и продажъ, и татебъ съ посадовъ разошлись по инымъ городамъ...“ Намѣстникъ и разбойникъ, „продажи“ и татьба (воровство)—все это рядомъ, и результаты отъ всего этого получаются одинаковые; и царская власть нисколько не скандализована этимъ страннымъ совмѣщеніемъ. Она, эта власть, вполнѣ признаетъ справедливость жалобъ и даетъ имъ удовлетвореніе. Фактъ былъ слишкомъ обыченъ—и вольно же было видѣть позднѣйшимъ

ученымъ въ княжеской администраціи племенного періода представителей „государства“. Когда пришлось заводить настоящую судебно-полицейскую администрацію, за это принялись съ того, что старыхъ княжескихъ слугъ отвели отъ дѣла вовсе.

Уже Судебникъ Ивана III ставилъ новый способъ расправы, смертную казнь, въ зависимость не отъ усмотрѣнія кормленщиковъ. Послѣдніе были въ этомъ случаѣ скорѣе исполнительнымъ органомъ мѣстнаго населенія, представленнаго „дѣтьми боярскими пятью или шестью человѣками“ или „добрыми христіанами цѣловальниками“ въ такомъ же числѣ. Дворянинъ, какъ видимъ, и здѣсь имѣлъ первое мѣсто и перевѣсъ: его слушали и безъ присяги, а крестьянинъ долженъ былъ присягать, чтобы его голосъ имѣлъ значеніе. Притомъ и къ присягѣ допускался только крестьянинъ „добрый“, т.-е. зажиточный: гдѣ не было помѣщиковъ, какъ это имѣло мѣсто на всемъ сѣверѣ Россіи, ихъ замѣняла сельская буржуазія. Разъ въ пользу обвиненія было нужное число помѣщиковъ или богатыхъ крестьянъ, и было „поличное“ (мы только что видѣли, какъ его, при случаѣ, подбрасывали), обвиняемаго казнили безъ дальнѣйшаго разбирательства; не было „поличнаго“, т.-е. былъ только голый оговоръ, безъ доказательствъ, обвиняемый отвѣчалъ своимъ имуществомъ — опять-таки безъ суда. Сущность „губного“ сыска послѣдующаго времени, расправа съ подозрительными людьми безъ суда, уже на лицо въ концѣ XV вѣка. И классовой характеръ этой расправы, и направленіе сверху внизъ также уже достаточно намѣтилось. Оставалось дать мѣстнымъ „добрымъ“ людямъ соотвѣтствующій исполнительный органъ: какъ мало годился для этой роли кормленщикъ, мы уже видѣли. Этотъ органъ и появляется передъ нами, по документамъ, въ 1539 г. въ лицѣ „губныхъ головъ“, непремѣнно изъ боярскихъ дѣтей— другихъ древнѣйшія губныя грамоты не знаютъ. „Лучшіе люди-крестьяне“ являются ихъ помощниками. Чтобы сдѣлать доступнѣе нашему пониманію губной сыскъ, нужно представить себѣ соединеніе чрезвычайной охраны или военнаго положенія съ круговою порукой. Подобно военному положенію, губное устройство (отъ слова „губа“—судебно-

полицейскій округъ) не знало никакихъ гарантій: „да которыхъ разбойниковъ поимаете съ поличнымъ *или безъ поличнаго*... и вы бъ тѣхъ разбойниковъ казнили смертью“, говоритъ древнѣйшая грамота. Разъ человѣкъ „вѣдомый лихой“, т.-е. „добрымъ“ мѣстнымъ людямъ ненавистный, его всегда можно поставить на пытку, и, вымучивъ признаніе, отправить на висѣлицу. Только, если „признанія“ даже пыткой нельзя было добиться, ограничивались сажаніемъ въ тюрьму „на смерть“, т.-е. вѣчнымъ заключеніемъ. Сами грамоты предвидятъ возможность всякихъ деликатныхъ осложненій: вліяніе споровъ изъ-за земли, или другой какой-нибудь ссоры,—но ограничиваются на этотъ счетъ моральными увѣщаніями, совѣтомъ „обыскивать въ правду, безъ хитрости“. Что дѣлать, если увѣщанія не помогутъ, и казнить людей будутъ не за настоящую вину, а для сведенія мѣстныхъ счетовъ, грамоты умалчиваютъ. Зато онѣ очень краснорѣчиво говорятъ, что случится, если не всѣ разбойники будутъ пойманы: населеніе тогда отвѣчало за всѣ причиненные разбойниками убытки по круговой порукѣ *вдвое*, опять-таки безъ суда; а сверхъ того, двухъ или трехъ изъ числа „лучшихъ“ людей били кнутомъ. Послѣднее касалось, конечно, только крестьянъ: дворяне отвѣчали лишь имущественно. Характерно, что въ числѣ возможныхъ обвиняемыхъ губные наказы тоже не знаютъ дворянъ,—а знаютъ „боярскихъ людей“, т.-е. крестьянъ и холоповъ. Противъ кого направлены были губныя учрежденія, такимъ образомъ, достаточно ясно. Но ихъ соціальная характеристика не ограничивается тѣмъ, что это былъ дворянскій судъ для крестьянъ,—этой своей стороной они отражаютъ одинъ экономическій процессъ XVI вѣка, образованіе крѣпостного хозяйства, основаннаго на безпрекословномъ повиновеніи крестьянъ барину. Но мы знаемъ, что этимъ экономическая характеристика московской Руси не исчерпывается: эта Русь была страною не только крѣпостного права, но и *городского хозяйства*, мелкихъ замкнутыхъ хозяйственныхъ округовъ, лишь очень непрочно, немногими нитями, связанныхъ другъ съ другомъ. Если бы мы не имѣли чисто экономическихъ доказательствъ существованія у насъ такого городского хозяйства, мы косвенно могли бы

вывести его наличность изъ губныхъ грамотъ. Самая организація сыска, по губамъ, по отдѣльнымъ округамъ, сносившимся непосредственно съ Москвою—но обслуживавшимся всецѣло мѣстными силами, эта юридическая самостоятельность округа предполагаетъ, какъ необходимую экономическую основу, его хозяйственную самостоятельность. А затѣмъ, сыскъ направленъ не только сверху внизъ—но и отъ „своихъ“ къ „чужимъ“. И граница хозяйственнаго округа была настолько высока, что за этой границей даже дворянское званіе дѣйствовало плохо. „И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ“, говоритъ одинъ такой документъ: „и вы бы, прикащики Троицкіе (рѣчь идетъ о селахъ Троицкаго монастыря) и крестьяне, часа того, въ тѣхъ селахъ и деревняхъ учинили межъ себя у десяти дворовъ десятскаго, у пятидесяти дворовъ пятидесятскаго, у ста дворовъ сотскаго. Которые люди торговые или дѣти боярскія проѣзжіе учнутъ у васъ ставитися ночевати, или въ которыхъ селахъ торговати, и вы бы межъ себя тѣхъ людей являли десятскимъ, а десятскіе являли пятидесятскимъ, а пятидесятскіе являли сотскимъ; а сотскіе съ пятидесятскими и съ десятскими осматривали и записывали, какіе люди въ которомъ дворѣ ставятся. А которые люди проѣзжіе, необычные и незнамые, въ которыхъ дворахъ въ тѣхъ селахъ и въ деревняхъ станутъ сказыватися неимянно и не путно, и вы бъ тѣхъ людей имали да про нихъ обыскивали накрѣпко вправду, безхитростно, по нашему крестному цѣлованью, какіе они люди...“ Какъ видимъ, сходство съ чрезвычайной охраной нашихъ дней доходило даже до „обязательной прописки паспортовъ“.

По мѣрѣ развитія крѣпостного хозяйства, „сыскъ“, какъ называлась новая форма судебной расправы въ отличіе отъ стараго „суда“, все больше и больше бралъ верхъ надъ послѣднимъ, пока при Петрѣ Вел., всякое различіе между гражданскимъ и уголовнымъ процессомъ совершенно стушевалось. Въ эпоху Уложенія царя Алексѣя Михайловича (1649 г.) отъ „суда“, въ смыслѣ Русской Правды и Судебниковъ, оставалось еще довольно много. Гражданская тяжба еще очень напоминала собою борьбу. Стороны „слались“ на опредѣленное количество людей (10)

опредѣленнаго качества: для крупной тяжбы требовалась ссылка не меньше, чѣмъ на подъячаго (мелкаго чиновника) или сотника стрѣлецкаго (пѣхотнаго офицера); для мелкой можно было сослаться и на крестьянъ. Но это не были свидѣтели въ нашемъ смыслѣ этого слова. Это были „послухи", остатокъ учрежденія, такъ хорошо знакомаго Русской Правдѣ, гдѣ, въ свою очередь, они были остаткомъ еще болѣе сѣдой старины. Въ древнѣйшее время, каждый являлся на судъ, или на драку, съ толпой своихъ родственниковъ и сосѣдей, которые и помогали ему „отстаивать свое право" въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова, кулаками и дубинами. Еще въ XV в. приходилось запрещать подобные процессуальные пріемы—такъ были они живучи. Но обычай уже въ XII в. зналъ только смягченную форму такого пособничества: приходившіе на судъ помогать, должны были дѣлать это не кулакомъ, а языкомъ и губами. Они должны были слово въ слово подтвердить то, что утверждаетъ ихъ сторона, и подкрѣпить это цѣлованіемъ креста. Достаточно было одному изъ „послуховъ" сбиться хотя бы въ одномъ словѣ—и его сторона считалась проигравшей. „А будетъ кто въ тѣхъ искахъ на такихъ людей, которые писаны выше сего пошлется изъ виноватыхъ (sic)", говоритъ Уложеніе: „и тѣ люди по допросу скажутъ не противъ его ссылки или и противъ его ссылки да не всѣ въ одну рѣчь, хотя одинъ не по немъ скажетъ... и его тѣмъ обвинить". Но Уложеніе предусматриваетъ случай и настоящей драки на судѣ, и подробно занимается вопросомъ, что дѣлать, если одна сторона другую „обезчеститъ непригожимъ словомъ", „рукою зашибетъ, а не ранитъ", „замахнется оружьемъ или ножемъ, а не ранитъ", наконецъ „ранитъ" или „убьетъ до смерти", при чемъ считается возможнымъ, что въ дракѣ попадетъ и судьямъ. Гипотеза совсѣмъ не праздная,—изъ документовъ XVI в. мы знаемъ о случаяхъ, когда судьямъ приходилось отсиживаться, запершись въ избѣ, отъ недовольной ихъ рѣшеніемъ стороны. Въ эпоху Уложенія это все уже преступленія, за которыя бьютъ кнутомъ или и „казнятъ смертію безъ всякой пощады". Но и легальная, узаконенная Уложеніемъ, борьба далеко не ограничивалась словеснымъ препирательствомъ. Во времена племенного суда

стороны и ихъ „послухи“ дрались не только крестнымъ цѣлованіемъ: въ болѣе серьезныхъ случаяхъ племенной обычай требовалъ „дати имъ правду желѣзо“. Спорящіе схватывались за раскаленный кусокъ желѣза, и кто дольше выдерживалъ, былъ правъ. Изъ этихъ „ордалій“ и на Западѣ, и у насъ, какъ правильно догадываются изслѣдователи, развилась пытка. Характерно, что въ эпоху Уложенія, пытки требовали стороны, не каждая для себя, а другъ для друга, разумѣется. Отвѣтчикъ, по живописному выраженію одного документа, „на кожу свою не слался, а слался на его истцову кожу“. Кто выдерживалъ пытку, тотъ и выигрывалъ дѣло,—смыслъ былъ тотъ же, что и при испытаніи желѣзомъ.

Читатель замѣтилъ, что Уложеніе, говоря о гражданскомъ спорѣ, употребляетъ выраженія „виноватый“: и для эпохи царя Алексѣя различіе между уголовнымъ и гражданскимъ процессами уже стиралось. Нужно, впрочемъ, оговориться: древность вообще этого различія не знала, но не знала его въ томъ смыслѣ, что для племеннаго обычая всякое дѣло, даже и убійство, напримѣръ, было дѣломъ „гражданскимъ“—споромъ сторонъ. Уголовный процессъ у насъ явился вмѣстѣ съ губнымъ „сыскомъ“: дальнѣйшая эволюція и состояла въ томъ, что эта новая форма заполонила весь процессъ. „Сыскъ“ сталъ такимъ же универсальнымъ пріемомъ, какимъ раньше былъ „судъ“. Уже въ XVII в. и тамъ и тутъ примѣнялся „повальный обыскъ“: поголовный опросъ мѣстнаго населенія о доброкачественности тяжущихся или обвиняемыхъ. Что представляли изъ себя повальные обыски на практикѣ, это очень хорошо нарисовалъ Татищевъ—историкъ начала XVIII в., помнившій эпоху Уложенія по собственнымъ юношескимъ впечатлѣніямъ. Обыскныхъ людей собирали часто изъ дальнихъ мѣстъ—ничего они по данному дѣлу не знали, но потребовавшая повальнаго обыска сторона поила ихъ до пьяна, и когда они уже совершенно не понимали, что дѣлаютъ, имъ подсовывали для рукоприкладства „обыски“. Противная сторона, однако, тоже не дремала: бывали случаи, что на пьяныхъ обыскныхъ людей внезапно налетала ватага отвѣтчика и била ихъ смертнымъ боемъ.

Эти картинки нравовъ, съ образными выраженіями въ

родѣ „слаться на кожу истца“ и т. под., лучше многаго другого дастъ намъ понять, какъ могла появиться та, невѣроятная на нашъ взглядъ, процедура, которая явилась при Петрѣ В. подъ именемъ „Воинскаго процесса“. Между отвѣтчикомъ въ гражданскомъ процессѣ и обвиняемымъ въ уголовномъ преступленіи тутъ уже нѣтъ никакой разницы. И тотъ, и другой одинаково арестовывались—исключеніе дѣлалось для чиновъ не ниже генеральскаго. Пытка является универсальнымъ средствомъ открытія истины—притомъ пытаютъ не только истца или отвѣтчика, но и свидѣтелей: „когда свидѣтель въ большихъ и важныхъ гражданскихъ дѣлахъ обробѣетъ или смутится, или въ лицѣ измѣнится, то пытанъ бываетъ“, говоритъ Воинскій процессъ. Само собою разумѣется, что въ болѣе важныхъ случаяхъ свидѣтелей арестовывали, какъ и отвѣтчика, и держали въ тюрьмѣ до конца дѣла. Читатель видитъ, что боязнь русскаго простонародья „попасть въ свидѣтели“ вовсе не глупый предразсудокъ, а имѣетъ подъ собою солидныя историческія основанія.

Вопреки распространенному мнѣнію, что прогрессъ смягчаетъ нравы, мы видимъ, такимъ образомъ, что переходъ къ эпохѣ торговаго капитализма—съ экономической точки зрѣнія несомнѣнный прогрессъ—отмѣченъ у насъ все возрастающей жестокостью судебной расправы. Эпоха Русской Правды знала, повидимому, только одинъ видъ лишенія жизни—да и то не въ качествѣ обычнаго уголовнаго наказанія: повѣшеніе. Время Петра В. знало цѣлый рядъ способовъ несравненно болѣе утонченныхъ: закапываніе живымъ въ землю (жены за убійство мужа—и вообще за убійство родственниковъ: закапывали лишь по грудь, такъ что казненныя мучились иногда по нѣсколько сутокъ, прежде, чѣмъ умирали), посаженіе на колъ (съ тѣми же послѣдствіями: смерть наступала иногда только черезъ 50 часовъ!), „колесованіе“—казненному раздробляли суставы рукъ и ногъ, при чемъ онъ опять-таки умиралъ лишь долго спустя, „копченіе“—поджариваніе на медленномъ огнѣ. Четвертованіе—отрубленіе рукъ и ногъ, а затѣмъ головы,—могло считаться еще очень гуманнымъ способомъ лишенія жизни—тутъ все кончалось въ нѣсколько минутъ. Самое наказаніе кнутомъ,

столь же обычное, какъ арестантскія роты въ наши дни, представляло собою, въ сущности, варварскую пытку. Кнутъ, какъ орудіе расправы, только по имени похожъ на невинный инструментъ, которымъ въ недавнее еще время русскій извозчикъ стегалъ свою лошадь (въ деревнѣ стегаетъ и до сихъ поръ, надо думать). „Судебный“ кнутъ—это тяжелая ременная плеть, съ жесткимъ, какъ дерево, кускомъ кожи на концѣ, загнутымъ въ видѣ когтя. Плеть была такъ тяжела, что съ одного удара могла перебить позвоночникъ казнимаго—а коготь рвалъ его мясо кусками. Практически, наказаніе кнутомъ очень часто равнялось смертной казни—„бить кнутомъ нещадно“, въ сущности, и значило „забить до смерти“. Но палачъ былъ виртуозомъ своего дѣла, и онъ могъ, при желаніи, обставить наказаніе такъ, что высѣченный отдѣлывался нѣсколькими лоскутками кожи. Для этого нужно было или, чтобы палачъ получилъ хорошую мзду, или чтобы отъ начальства былъ приказъ—не усердствовать. Въ дѣйствительности, людей высшихъ классовъ забивали на смерть кнутомъ только въ дѣлахъ, имѣвшихъ политическій характеръ—или такихъ, которымъ этотъ характеръ хотѣли придать. Вотъ почему избавленіе дворянства отъ тѣлесныхъ наказаній (по жалованной грамотѣ 1785 г.) носило опредѣленно выраженный характеръ политической льготы—а возстановленіе кнута для дворянъ при Павлѣ было органически связано съ политической реакціей. Въ обычномъ, уголовномъ порядкѣ, всѣ эти ужасы обрушивались на тотъ общественный классъ, который именно въ это время былъ уподобленъ „военнымъ людямъ, за отечество предающимся во всѣ опасности и жертвующимъ самою жизнью“. Судопроизводство XVIII в. было конкретной формой того внѣ-экономическаго принужденія, на которомъ держалось крѣпостное хозяйство. А такъ какъ это послѣднее служило торговому капиталу, какъ мы видѣли, то свирѣпая уголовная юстиція вовсе не была національнымъ, русскимъ явленіемъ—результатомъ вліянія татарщины, напримѣръ, какъ часто писали. Напротивъ, мы видимъ, что чѣмъ больше европеизируется Россія, тѣмъ жесточе становится ея уголовное право: ибо и Западная Европа, въ аналогичную эко-

номическую эпоху, знала тѣ же формы уголовной репрессіи. Колесованіе было знакомо и Франціи XVII—XVIII вв.; кнутъ имѣлся и въ австрійскомъ уголовномъ уложеніи. „Внѣ-экономическое принужденіе“ нужно было всюду, пока крестьянинъ не былъ въ достаточной степени открѣпленъ отъ земли, а рабочій отъ орудій производства. Отнять продуктъ у самостоятельнаго еще производителя можно было только путемъ террора—и уголовное право крѣпостной Россіи было заключительнымъ звеномъ цѣлой системы. Эта система давала себя чувствовать уже задолго до того, какъ выступилъ на сцену судебно-полицейскій аппаратъ государства. До сихъ поръ мы намѣренно отвлекались отъ того факта, что государственный судъ въ Россіи XVIII в. былъ, такъ сказать, „праздничной“, исключительно торжественной формой юстиціи—ея „будничная“ форма, примѣнявшаяся въ тысячу разъ чаще, это былъ судъ помѣщичій. Помѣщикъ судилъ своихъ крѣпостныхъ, вѣроятно, въ $^{9}/_{10}$ случаевъ всѣхъ правонарушеній. Собственно, только убійство и разбой начисто были исключены законодательствомъ XVII—XVIII вв. изъ помѣщичьей юстюціи: но и тутъ барину принадлежало право произвести предварительное слѣдствіе—а оно тогда было неразрывно связано съ пыткой. Пытка въ помѣщичьемъ судѣ была, пожалуй, болѣе распространена и держалась дольше, чѣмъ въ государственномъ. Въ этомъ послѣднемъ началъ ее ограничивать уже Петръ, въ 1722 г. предлагавшій сенату „размотрѣть о пыткахъ, понеже и въ малыхъ дѣлахъ пытки чинятъ, чтобы оное унять“. Въ половинѣ вѣка пытки примѣняются только въ политическихъ и крупнѣйшихъ уголовныхъ дѣлахъ—а при Екатеринѣ II онѣ юридически исчезаютъ вовсе, оставаясь, конечно, на правахъ „бытового явленія“. Помѣщикъ, преимущественно сталкивавшійся съ „малыми дѣлами“, имѣлъ, иногда, у себя застѣнокъ лѣтъ черезъ сорокъ послѣ смерти Петра—и такой застѣнокъ, что онъ могъ бы потягаться съ петровскимъ „преображенскимъ приказомъ“: у орловскаго помѣщика Шеншина, напримѣръ, „работало“ сразу до 30 палачей съ помощниками. Русская Правда знала „потокъ и разграбленіе“, конфискацію всего имущества и продажу въ рабство самого виновника только какъ возмездіе

за разбой: по судебнику гр. Румянцева, составленному имъ въ 1751 г. для своихъ вотчинъ, такая судьба постигала виновнаго въ простомъ воровствѣ, хотя бы на самую малую сумму. У вора отбирали все имѣніе, самого его сѣкли плетьми и отдавали „въ первую работу, куда потребно будетъ“ или въ рекруты. Ссылать своихъ крѣпостныхъ на каторгу помѣщики получили право только въ 1765 г.—такъ что Румянцевъ еще не могъ использовать этой дворянской привилегіи. Когда она была дана, помѣщики пользовались ею съ энергіей, приводившей въ ужасъ екатерининскихъ администраторовъ. Дѣянія помѣщиковъ на этой почвѣ новгородскій губернаторъ Сиверсъ не могъ назвать иначе, какъ „самыми возмутительными“, а сибирскій губенаторъ Чичеринъ доносилъ сенату, что изъ присылаемыхъ „въ работу“ за „продерзости“, многіе оказываются безрукими и безногими—и что среди нихъ не безъ дряхлыхъ стариковъ, которыхъ въ Сибири ни на какую работу использовать нельзя. Цѣль тутъ была, правда, очень часто не юридическая—т.-е. косвенно-экономическая, а экономическая непосредственно: стремленіе избавить крѣпостную „армію“ отъ безполезныхъ ртовъ. Но свирѣпости помѣщичьей расправы и въ этомъ случаѣ отрицать не приходится: базисомъ утонченно-жестокому „правосудію“ XVIII вѣка служило именно крѣпостное хозяйство, со сложившимися въ немъ нравами и обычаями.

Возвращаясь къ государственному суду, надо отмѣтить еще одну его черту, дорисовывающую его террористическій обликъ: тайну, тяготѣвшую надо всѣмъ судопроизводствомъ. Еще Уложеніе грозило кнутомъ подъячему, который „судное дѣло истцу или отвѣтчику кажетъ“, приравнивая такое ознакомленіе сторонъ съ судебными документами „понаровкѣ“. Тайна достигала своего апогея въ большихъ уголовныхъ или политическихъ процессахъ. Суда въ собственномъ смыслѣ слова, древнѣйшемъ ли или теперешнемъ, судоговоренія, не было вовсе. Изолированные другъ отъ друга и отъ всего міра подсудимые видѣли только своихъ слѣдователей—они же были и судьи. Цѣль послѣднихъ была весьма проста: всѣми возможными способами заставить обвиняемаго наговорить на себя и товарищей какъ

можно больше. Въ XVIII вѣкѣ эта говорливость подсудимаго подстрекалась ударами кнута на дыбѣ: „кнутъ развязетъ языкъ“, гласила тогдашняя судебная поговорка. Въ XIX в. прибѣгали къ менѣе грубымъ средствамъ. Продолжительное одиночное заключеніе, эффектъ котораго усиливался ловко пропускаемыми за стѣны тюрьмы „слухами“, „вѣстями отъ родныхъ“—иногда, въ болѣе важныхъ случаяхъ и съ болѣе крѣпкими людьми, прямыми обѣщаніями, которыхъ потомъ, разумѣется, и не думали исполнять,—все это доводило заключеннаго до такого нервнаго возбужденія, что онъ начиналъ чувствовать неудержимую потребность высказаться передъ кѣмъ бы то ни было и чего бы ему это ни стоило. Невѣроятная, на нашъ взглядъ, откровенность декабристовъ и петрашевцевъ больше, чѣмъ на половину, объясняется этой, вѣками выработанной и испытанной, практикой стараго суда. Затѣмъ, когда словъ—иногда прямо истерической болтовни—въ рукахъ слѣдователей было достаточно, оставалось изъ этого лѣпкаго матеріала надѣлать формальныхъ уликъ, а это мало-мальски опытному судьѣ было уже легче легкаго. Если и въ позднѣйшее время, при гласномъ судопроизводствѣ, иногда не стѣснялись приписывать подсудимому то, чего онъ никогда и не думалъ, основываясь на нѣсколькихъ вырванныхъ на удачу и вкривь и вкось перетолкованныхъ фразахъ, то какія же препятствія могли существовать для этого въ то время, когда заключенія суда становились извѣстны подсудимому одновременно съ приговоромъ? Ибо отвѣты слѣдователямъ и выслушаніе приговора, это были единственные моменты, когда обвиняемый соприкасался съ судомъ. Все остальное творилось въ четырехъ стѣнахъ канцеляріи, подъ непроницаемымъ покровомъ судебной тайны.

Канцелярское судопроизводство должно было отличаться крайней сложностью и медленностью. Такъ оно и было: еще въ 40-хъ годахъ XIX в. требовалось иногда двѣнадцать лѣтъ, чтобы только „дать дѣлу ходъ“; былъ случай, что понадобилось 46 понужденій, чтобы получить простую справку. Притомъ судъ этотъ, какъ установилось съ XVI вѣка, былъ сословный дворянскій. Уже въ XVII в. дворянскій губной староста не только преслѣдовалъ разбойни-

ковъ, но могъ и вообще судить: а гдѣ его не было, судилъ воевода, опять-таки всегда дворянинъ, только не выбранный мѣстными помѣщиками, а назначенный сверху. Въ 1702 г. губные старосты были уничтожены, но дворянскіе засѣдатели, подъ разными именами и различнымъ образомъ назначавшіеся, сохранились и при творившихъ судъ въ XVIII в. губернаторахъ и воеводахъ (которые были теперь помощниками губернаторовъ—управляли частями губерніи, „провинціями“). Центральное судебное учрежденіе, юстицъ-коллегія, созданная Петромъ (ранѣе каждый „приказъ“ московскаго государства судилъ самостоятельно тѣхъ, кѣмъ онъ завѣдывалъ—и только крупнѣйшія уголовныя дѣла были сосредоточены въ особомъ учрежденіи, „Разбойномъ приказѣ“), была избрана при участіи всѣхъ дворянъ, находившихся тогда въ Петербургѣ. При Екатеринѣ II сложилась окончательно система дореформенныхъ судебныхъ учрежденій: двѣ низшія инстанціи, уѣздный судъ и верхній земскій судъ, были выборные отъ дворянства; палаты гражданскаго и уголовнаго суда были, сначала, назначенныя, но тоже изъ дворянъ, разумѣется; при Александрѣ I и палаты стали выборными отъ дворянства (при чемъ исчезъ верхній земскій судъ). Въ низшихъ инстанціяхъ появились выборные и отъ крестьянъ (некрѣпостныхъ), но они имѣли чисто-декоративное значеніе. Сложный, медленный и помѣщичій по своему составу судъ—какъ могъ онъ удовлетворять потребностямъ того класса, который на Руси народился, росъ и развивался какъ разъ въ эту эпоху—буржуазіи? Казалось, на пути развитія капитализма въ Россіи судебная ея организація стояла непреодолимымъ препятствіемъ. Но это иллюзія. Государственная власть умѣла обойти препятствіе: буржуазія уже съ XVII вѣка и до реформы 60-хъ годовъ въ своихъ, буржуазныхъ дѣлахъ, была неподсудна общимъ судамъ. Губной староста или воевода еще могъ судить уѣздныхъ лавочниковъ (въ 1699 г. онъ потерялъ и это право), но гостя, крупнаго капиталиста, онъ судить не могъ: гостя судили только въ Москвѣ, органы центральнаго правительства. Начиная съ Петра, купечество вообще, не только крупное, имѣетъ у насъ свои особыя судебныя учрежденія, въ образѣ „магистратовъ“. Но, что го-

раздо важнѣе, буржуазія выработала у насъ свою форму суда, спеціально для коммерческихъ дѣлъ: это былъ, такъ называемый, таможенный судъ. Его отличительными чертами были устность и скорость. Дѣло разбиралось, примѣрно, такъ же, какъ теперь въ камерѣ мирового судьи; рѣшали споръ документы и свидѣтельскія показанія, и рѣшеніе немедленно приводилось въ исполненіе. Та тяжелая форма гражданскаго процесса, съ повальнымъ обыскомъ, пыткой, безконечнымъ бумагописаніемъ и безчисленными взятками во всевозможныхъ инстанціяхъ (при Екатеринѣ II число ихъ доходило до шести, не считая прошенія на Высочайшее имя), которая намъ знакома по Уложенію царя Алексѣя и документамъ XVIII столѣтія, касалась только земельныхъ тяжебъ—и отношеній между дворянами, ибо купцы владѣть землею не могли. Это было естественное дополненіе системы крѣпостного хозяйства—буржуазное хозяйство, поскольку оно существовало, не было стѣснено этими устарѣвшими пріемами. Когда, въ срединѣ XIX в., элементарной формы „таможеннаго“ суда оказалось уже мало, и началось заимствованіе европейскихъ буржуазныхъ учрежденій, какъ разъ для русской буржуазіи они не представляли собою абсолютной новости. Здѣсь былъ не крутой разрывъ съ прошлымъ, а рядъ постепенныхъ переходовъ: недаромъ и первые проекты судебной реформы 60-хъ гг. относились не къ уголовному, а къ гражданскому судопроизводству (самымъ первымъ было положеніе о присяжныхъ повѣренныхъ).

Дворянскій судъ держался ровно столько времени, сколько крѣпостное хозяйство: на другой же день послѣ 19 февраля онъ оказался ненуженъ и вреденъ. Идея судебной реформы была у насъ всегда параллельна идеѣ крестьянской реформы. Первые, неясные проблески „новаго суда“ современны тѣмъ годамъ царствованія Екатерины II, когда она смутно мечтала еще объ освобожденіи крестьянъ. Послѣдовавшій затѣмъ расцвѣтъ барщиннаго хозяйства погасилъ самую мысль о возможности судебныхъ преобразованій—и даже отмѣна пытки была встрѣчена дворянствомъ съ ропотомъ. Вновь объ реформы сразу ставятся на очередь проектами Сперанскаго)—и вмѣстѣ съ этими проектами рушатся. Въ проек-

тахъ декабристовъ упраздненіе крѣпостного права и судъ присяжныхъ опять встрѣчаются рядомъ. Николай I почти все свое царствованіе собирался приступить къ освобожденію крестьянъ—и хотя такъ и не осуществилъ этого своего намѣренія, но кнутъ отмѣнилъ именно онъ (въ 1845 г.), и къ его же царствованію относятся первые проекты общей судебной реформы. Наконецъ, при Александрѣ II объ реформы трогаются въ путь вмѣстѣ (1857—1858 годы). Какъ извѣстно, ихъ внутренняя связь подчеркнута, хотя и неудачно, и государственнымъ совѣтомъ въ его мотивировкѣ судебныхъ преобразованій: государственный совѣтъ находилъ, что 19 февраля, упразднивъ помѣщичьи суды, поставило на очередь вопросъ о новыхъ судебныхъ у ч р е ж д е н і я х ъ; на самомъ дѣлѣ, исчезновеніе крѣпостного хозяйства сдѣлало неизбѣжными новыя ф о р м ы суда. Старое орудіе крѣпостной дисциплины становилось болѣе не нужно, и его съ тѣмъ большей радостью снѣшили сбросить, что и дворянской рукѣ нелегко было имъ владѣть. Крѣпостное хозяйство и здѣсь, какъ интенсификація барщины, оказывалось о б щ е й тюрьмой—и для мужика, и для барина. Никто, при Екатеринѣ II, не отстаивалъ съ большею убѣдительностью цѣлесообразности крѣпостного права, чѣмъ кн. Щербатовъ. Но посмотрите, какъ онъ тоскуетъ по буржуазнымъ формамъ суда. „Говоря о безопасности личной, не могу я не помянуть и того, чего бы ради каждому по уголовному дѣлу обвиняемому человѣку не дать стряпчаго или совѣтника, который бы могъ споможествовать ему оправдаться? Въ малой или великой вещи имѣнія нашего имѣемъ мы прибѣжище къ совѣту стряпчихъ; но какъ скоро касается до нашей жизни и чести, тутъ въ робости, смущеніи и въ трепетѣ духа, лишенные совѣту и помощи, сами должны отвѣчать и искать себѣ оправданій... Говоря о содержаніи подъ стражей, не могу я умолчать объ англійскомъ установленіи, г а б е а с ъ к о р п у с ъ называемомъ, по коему каждый, въ какомъ бы уголовномъ дѣлѣ не былъ обвиняемъ, имѣетъ право, сыскавъ по себѣ поручителей, отъ содержанія подъ стражей избѣжать и пользоваться свободой. Чего же бы ради сего у насъ не учредить? Ибо примѣръ англійской намъ доказуетъ, что отъ сего никакого зла не происходитъ". Дворянству с у д е б-

ныя гарантіи нужны были, какъ политическія гарантіи— и тутъ была антиномія (внутреннее противорѣчіе) крѣпостного строя: онъ могъ держаться лишь безграничнымъ гнетомъ сверху, и если подъ прессъ попадалъ дворянинъ, ему уже не приходилось жаловаться. Отсюда другая связь— связь судебной реформы съ проектами реформъ политическаго строя Россіи въ XVIII—XIX вв. Новые суды не только практически были нужны, какъ орудіе новаго хозяйственнаго строя, но и были симпатичны, какъ символъ новыхъ политическихъ порядковъ. Введеніе въ дворянской Россіи относительно демократическаго суда присяжныхъ невозможно объяснить внѣ этой политической связи. Но эта сторона дѣла ближе относится къ предмету слѣдующихъ главъ—тамъ мы ею и займемся.

Библіографія.

Внѣшняя исторія суда въ Россіи изучена еще лучше, нежели исторія финансовъ; тутъ, помимо всего прочаго, помогало еще практическое условіе—наличность въ университетахъ спеціальной каѳедры „исторіи русскаго права", а, стало быть, необходимость вырабатывать и соотвѣтствующіе курсы. Изъ этихъ послѣднихъ лучшіе Владимірскаго-Буданова „Обзоръ исторіи русскаго права" (нѣсколько изданій, начиная съ 1880-хъ гг.) и Сергѣевича „Лекціи и изслѣдованія по исторіи русскаго права" (также нѣсколько изданій, самое полное—первое, 1883 г.). Само собою разумѣется, что это работы чисто юридическія—и что авторы ихъ скорѣе готовы допустить вліяніе права на хозяйство, чѣмъ наоборотъ. Ближе къ правильной точкѣ зрѣнія стоятъ работы историковъ, пока касавшіяся только древнѣйшаго періода. Для этого послѣдняго см. очень хорошій, по обыкновенію, краткій очеркъ въ уже названномъ соч. проф. Грушевскаго („Исторія Украіни-Руси", т. III) и, особенно, болѣе крупную работу И. А. Рожкова, „Очерки юридическаго быта по Русской Правдѣ" (Журн. Мин. Нар. Просв., 1897, №№ 11—12). Послѣдней досталась совершенно исключительная въ русской литературѣ честь—не остаться безъ вліянія на западно-европейскую науку: новѣйшая работа о Русской Правдѣ проф. Геца (L. K. Goetz, „Das Russische Recht", 1910—13, 3 тома) испещрена ссылками на Рожкова. Для болѣе новыхъ періодовъ приходится пользоваться или вышеназванными „курсами", или старыми работами описательнаго типа. Наибольшее значеніе сохранила изъ нихъ до сихъ поръ „Исторія судебныхъ инстанцій" Ѳ. М. Дмитріева, охватывающая періодъ съ XV по XVIII в. (вышла первоначально въ 1859 г., перепечатана, какъ I томъ „Сочиненій" Дмитріева, въ 1899 г.). Для исторіи возникновенія „новаго суда" см. В. Гессена „Судебная реформа" (въ серіи „Великія реформы 60-хъ гг.", вып. II)—живо написанный, но чисто внѣшній очеркъ.

3.

Центральная власть.

Познакомившись съ военно-финансовой и съ судебной организаціей, мы узнали главныя функціи государственной власти: остается узнать теперь, какъ была организована сама эта власть на протяженіи русской исторіи. Иными словами, какова была политическая организація господствующихъ классовъ въ Россіи отъ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней. Читатель, конечно, не ожидаетъ отъ насъ разсказа о постепенномъ возникновеніи русскаго государства, независимо отъ русскаго общества. Это раздѣленіе „общества“ и „государства“, очень характерное для той поры, когда буржуазія была уже соціальной силой, но не владѣла еще политической властью, теперь утратило всякое значеніе, даже публицистическое. Для историка же, въ особенности для историка-матеріалиста, такое раздѣленіе и никогда не имѣло бы смысла.

Но, возразитъ намъ читатель, общественные классы появляются, вѣдь, въ исторіи довольно поздно: вы сами относите появленіе ихъ въ Россіи къ XVI, примѣрно, столѣтію. А была какая-нибудь государственная власть и раньше. Если бы мы захотѣли придираться къ словамъ, мы могли бы просто отвѣтить: нѣтъ, не было. Потому что тѣ, сначала племенныя, потомъ военно-торговыя, позже феодально-земле-владѣльческія ассоціаціи, какія мы встрѣчаемъ въ Россіи до образованія московскаго государства Ивана IV, весьма мало были похожи на то, что мы называемъ „государствомъ“. Отличительнымъ признакомъ послѣдняго являются единство территоріи и единство верховной власти. Мы не можемъ себѣ представить, чтобы въ Москвѣ былъ одинъ законъ—а въ Клину другой: или чтобы въ Россіи были одновременно два правительства, издающія законы независимо другъ отъ друга. То-есть, мы не можемъ себѣ этого представить юридически: практически, какъ мы знаемъ, все бываетъ, только, когда что-либо подобное случается, мы начинаемъ говорить именно объ отсутствіи го-

сударства, объ „апархіи". Но въ средніе вѣка, не только въ Россіи, а и всюду, не было ни того, ни другого условія: территорія была раздроблена самымъ причудливымъ образомъ и—„что ни колокольня, то особый законъ". А власть, на отдѣльныхъ кускахъ территоріи, была раздроблена еще болѣе: еще въ XVIII вѣкѣ въ Россіи трудно было размежевать въ имѣніи власть государя-императора и мѣстнаго государя-помѣщика; и первый молчаливо признавалъ, что населеніе крѣпостного имѣнія не непосредственно зависитъ отъ него, представителя центральной власти,—при перемѣнахъ на русскомъ престолѣ въ XVIII в. крѣпостные къ присягѣ на вѣрность новому государю не приводились; за нихъ присягали ихъ помѣщики. А это было уже въ эпоху вымиранія русскаго феодализма: можно себѣ представить, какая чересполосица въ этомъ отношеніи господствовала въ періодъ его расцвѣта. Единство территоріи и единство власти становятся возможны только съ появленіемъ классоваго общества, и проходитъ довольно много времени прежде, чѣмъ эта возможность превращается въ дѣйствительность. Тѣмъ не менѣе „до-государственныя", какъ сказали бы въ старое время, формы политической ассоціаціи представляютъ, исторически, большой интересъ, и стоятъ того, чтобы мы ими нѣсколько занялись.

Первичное „государство" вполнѣ совпадало съ первичнымъ хозяйствомъ: большая семья была и основной экономической и основной политической единицей первобытной, для Россіи до-исторической, эпохи. Выразительный слѣдъ этого остался, до XV—XVI в., въ политической зависимости холопа отъ своего барина и за предѣлами даннаго хозяйства. Въ Новгородѣ судья не судитъ холопа иначе, какъ въ присутствіи его „государя"; въ Московскомъ великомъ княжествѣ начала XVI в. дѣло шло еще дальше—должникъ, отрабатывавшій долгъ во дворѣ у своего кредитора, подлежалъ суду этого послѣдняго: „а кто человѣка держитъ въ деньгахъ, и онъ того человѣка судитъ самъ, а окольничіе (княжескіе чиновники) въ то у него не вступаютъ", говоритъ московскій вел. князь въ одной своей грамотѣ. Такъ какъ рѣчь идетъ о грамотѣ смоленской, то

возможно, что это былъ мѣстный, западно-русскій, обычай: какъ бы то ни было, для насъ онъ характеренъ, какъ переживаніе той далекой поры, когда „семья" и „государство" совпадали. Это стадія, соотвѣтствующая древнѣйшему земледѣльческому хозяйству. Характерно, что лѣтопись, въ тѣхъ своихъ записяхъ, которыя восходятъ еще ко второй половинѣ XI вѣка, помнитъ объ этой стадіи. [1]) „Родъ" нашей лѣтописи—это и есть большая семья первобытныхъ земледѣльцевъ. Если вѣрить ей, то „родовой бытъ" удержался у насъ до появленія норманновъ въ IX столѣтіи. Но вѣрить тогдашнему писателю буквально относительно того, что было на 200 лѣтъ раньше, было бы, конечно, неосторожно. Въ кругъ торговыхъ интересовъ восточной Европы русскіе славяне втянулись, вѣроятно, до прихода варяговъ, во всякомъ случаѣ, до ихъ окончательнаго утвержденія. Лѣтопись и объ этомъ сохранила смутное воспоминаніе. Миѳическому Кію, основателю города Кіева, и его братьямъ она усвоиваетъ, какъ профессіональное занятіе, охоту: „бяху ловяще звѣріе". Но охота, какъ профессія, относится, мы знаемъ, къ довольно позднему времени—она приняла характеръ постояннаго промысла, по всей вѣроятности, вмѣстѣ съ торговлей мѣхами—что очень хорошо вяжется съ другой легендой той же лѣтописи, о путешествіяхъ охотника-Кія въ Царьградъ. Въ преданіи, пріуроченномъ къ опредѣленному лицу, отразилась цѣлая эпоха народной жизни. Подъ вліяніемъ охоты и охотничьихъ интересовъ семьи сомкнулись въ племена: что норманны, придя на восточно-европейскую равнину, застали тамъ уже племенную организацію славянъ, въ этомъ та же лѣтопись не оставляетъ никакого сомнѣнія. Варяжскіе конунги имѣютъ дѣло не съ „родами" Кія или кого-нибудь другого, а съ Полянами, Кривичами, Древлянами и т. д. Лѣтописецъ утверждаетъ даже, что у каждаго изъ этихъ племенъ было „свое княженіе": и этою неловкою обмолвкой онъ, конечно, уничтожаетъ свой же позднѣйшій разсказъ, о томъ, какъ норманновъ призвали,

---

[1]) „Живяху кождо съ родомъ своимъ на своихъ мѣстахъ, володѣюще кождо родомъ своимъ", говоритъ она о Полянахъ (обитателяхъ Кіевской земли).

чтобы имѣть князей, которые бы „судили по праву“. Мы уже знаемъ, что историческіе, варяжскіе князья именно никого и не судили. Что дѣлали ихъ славянскіе предшественники, это опять просвѣчиваетъ въ одномъ разсказѣ лѣтописи, гдѣ древляне, жалуясь Ольгѣ на ея, убитаго ими, мужа, Игоря, сравнивая его съ „волкомъ, который расхищалъ и грабилъ“, противополагаютъ ему своихъ „добрыхъ“ князей, которые „пасутъ“ землю, какъ пастухъ овецъ. Это краткое сравненіе показываетъ, что древнѣйшій князь рисовался современникамъ и ближайшему потомству не воспачальникомъ и не собирателемъ дани. Сопоставляя этотъ отзывъ съ профессіей миѳическаго Кія, его можно представлять себѣ, какъ организатора племенного промысла, охоты—функція, весьма обычная для вождя теперешнихъ охотничьихъ племенъ. У негровъ центральной Африки племенной вождь, если не идетъ на охоту самъ, то назначаетъ распорядителей охоты—и ему же принадлежитъ, по обычаю, лучшая добыча, шкура льва или леопарда, напримѣръ.

Передъ такими „добрыми“ князьями норманнскій вождь со своею „дружиной“ долженъ былъ играть такую же роль, какъ вооруженныя шайки арабскихъ работорговцевъ въ центральной Африкѣ нашихъ дней. Исторія тѣхъ же древлянъ показываетъ, что получалось изъ столкновенія глинянаго горшка съ желѣзнымъ. Племенные князья, видимо, ничего не сумѣли организовать, когда изъ охотниковъ они, со своими подданными, превратились въ объектъ охоты. Въ лѣтописи, племенное славянское княжество очень быстро закрывается отъ насъ варяжскимъ княжествомъ. Но прежде, чѣмъ оставить племенной бытъ, необходимо отмѣтить, что князь вовсе не единственный представитель племенной организаціи, о какомъ упоминаетъ лѣтопись. Она знаетъ и племенное вѣче. Передавая народную сказку, о томъ, какъ поляне испугали своихъ побѣдителей, хозаръ, предложивъ имъ, въ видѣ дани, мечъ, лѣтопись говоритъ, что поляне сдѣлали это „сдумавше“. „Думать“ на лѣтописномъ языкѣ, значитъ совѣщаться: сказка изображаетъ полянъ собравшимися на сходку и разсуждающими, что имъ предложить хозарамъ? Сказка очень старая—въ Кіевѣ XI вѣка едва ли по-княжески помнили хазарское на-

шествіе. Полянская „дума“ едва ли отражаетъ собою позднѣйшее, городское вѣче—вѣрпѣе, мы имѣемъ тутъ опять подлинный отзвукъ старинныхъ, до-норманскихъ, порядковъ.

Мы отдѣляемъ это древнѣйшее, племенное вѣче (было бы совершенно напраснымъ трудомъ пускаться въ домыслы о томъ, каковъ былъ его составъ, права и полномочія) отъ позднѣйшаго, городского, потому что связывать эти два явленія, какъ послѣдовательныя звенья одной цѣпи развитія, столь же мало основаній, какъ и устанавливать преемственную связь между земскими соборами XVII в. и теперешней государственной думой. Кіевское городское вѣче возникаетъ, можно сказать, на нашихъ глазахъ, въ совершенно опредѣленной соціально-экономической обстановкѣ: нѣтъ ни малѣйшаго смысла искать ему отдаленныхъ предковъ. Какой пережитокъ племеннаго вѣча дожилъ до исторической поры, мы сейчасъ увидимъ. На первыхъ порахъ варяжскій князь является, по отношенію къ покореннымъ славянамъ, со всѣми чертами „самодержавнаго монарха“—если позволить себѣ такую модернизацію относительно „государя“, который только и дѣлалъ, что собиралъ дань и „воевалъ всюду“: къ этому сводилась вся его „политическая дѣятельность“. Это не значитъ, чтобы его личная воля не знала никакихъ сдержекъ: индивидуальный деспотизмъ противорѣчилъ бы всѣмъ отношеніямъ и понятіямъ этой эпохи. Норманнскій конунгъ очень и очень долженъ былъ считаться съ мнѣніемъ своихъ боевыхъ товарищей—а когда главнѣйшіе норманнскіе отряды слились въ одну общую организацію, главный конунгъ долженъ былъ считаться съ мнѣніями второстепенныхъ вождей. Въ договорахъ съ грѣками все варяжское начальство выступаетъ передъ нами, какъ мы видѣли (см. выше, стр. 61—62), общей массой—и „великій князь“ въ этой массѣ скорѣе „первый между равными“—исполнительный органъ общихъ рѣшеній; а позади „всего княжья“, основнымъ фономъ картины, рисуется „вся Русь“, всѣ члены военно-торговаго товарищества, извѣстнаго намъ подъ красивымъ именемъ „дружины“. Но чего мы не видимъ въ договорахъ—это племенныхъ вождей покореннаго славянства и вообще какихъ бы то ни

было представителей послѣдняго. Они выступили на сцену поколѣніе—два спустя.

Расцвѣтъ норманнскаго княжества падаетъ на времена, для лѣтописи уже полу-легендарныя. Конецъ X вѣка, эпоха св. Владиміра, это не весна, и даже не лѣто, а яркая осень варяжскаго господства—а немедленно послѣ смерти его сына, Ярослава, власть купца падаетъ до такого уровня, что подъ перомъ позднѣйшихъ историковъ появляется для него совсѣмъ непочтительное названіе: „наемный сторожъ". Такими не были еще, конечно, даже Владиміръ и Ярославъ—а по отношенію къ Святославу Игоревичу, самому блестящему представителю варяжскаго княжья, слово „сторожъ" даже грамматически не примѣнимо, ибо онъ какъ разъ ничего не „сторожилъ", все свое вниманіе отдавая захватамъ чужого. „Блескъ" этой эпохи имѣлъ вполнѣ опредѣленную историческую основу подъ собой: „держава" Олега и Святослава обязана своимъ возникновеніемъ ряду удачныхъ войнъ съ Византіей. Народная фантазія очень украсила потомъ эти войны: для византійскихъ историковъ, „руссы" вовсе не являются самыми страшными изъ враговъ имперіи. Но, даже и по ихъ показаніямъ, былъ все же моментъ, когда среди этихъ враговъ русскій князь стоялъ на первомъ планѣ: это было въ дни борьбы именно Святослава съ Цимисхіемъ (967—971 гг.). Крахъ экспедиціи Святослава въ Болгарію, его смерть отъ руки состоявшихъ на византійской службѣ печенѣговъ, были тяжелыми ударами для основанной Олегомъ „державы". Преемнику Святослава пришлось уже удовольствоваться положеніемъ вассала восточнаго императора: какъ бы мы ни разсматривали принятіе христіанства Владиміромъ съ точки зрѣнія религіозной эволюціи (объ этомъ будетъ рѣчь ниже), политическая сторона этого событія совершенно ясна: по тогдашнимъ понятіямъ, всякій православный христіанинъ былъ подданнымъ императора—и для варварскаго вождя креститься по греческому обряду значило вступить въ ряды византійскаго вассалитета. Греки сейчасъ же и учли это событіе, отведя русскому князю опредѣленное мѣсто въ рядахъ своей придворной іерархіи—и нѣтъ никакихъ основаній думать, что Владиміръ своего положенія не понималъ. Онъ только ста-

рался сдѣлать его возможно болѣе почетнымъ, получивъ въ жены византійскую принцессу; но и это удалось ему не сразу — и, кажется, даже не совсѣмъ: есть основанія думать, что принцессу за него выдали не настоящую, не сестру императора, а одну изъ отдаленныхъ его кузинъ, такъ сказать, только „княжну крови императорской". Ярославъ Владиміровичъ сдѣлалъ послѣднюю попытку возобновить походы на Византію, но она кончилась такою катастрофой, что болѣе объ „активной политикѣ" въ этомъ направленіи мы ничего уже не слышимъ.

„Разбойничья торговля" нашла барьеръ, черезъ который она не въ силахъ была перешагнуть. Славяне, казавшіеся сначала, вѣроятно, только первой ступенью (Святославъ гордо называлъ „серединой земли своей" только что захваченную имъ Болгарію, игнорируя Подѣпровье—а когда къ нему пришли за княземъ изъ далекаго Новгорода, онъ презрительно спрашивалъ: „да кто же къ вамъ пойдетъ?") оставались теперь единственнымъ объектомъ эксплуатаціи. Приходилось устраиваться среди нихъ—и какъ-нибудь ладить съ ними. Ибо та истина, что „на штыкахъ (для той эпохи слѣдовало бы сказать „на коняхъ") сидѣть нельзя", хорошо сознавалась умными норманскими разбойниками: это они показали всюду, не только въ Россіи, а и въ Англіи, Нормандіи, южной Италіи. Въ совѣтѣ Олега и Игоря мы не встрѣчаемъ никакихъ „представителей мѣстнаго населенія"; въ совѣтѣ Владиміра Св., рядомъ съ епископами, представителями византійскаго сюзерена Руси, мы находили и старцевъ или старѣйшинъ по всѣмъ городамъ. Это была славянская племенная старшина, сидѣвшая въ думѣ Владиміра бокъ о бокъ съ епископами и варяжскими дружинниками—боярами и гридями. Но уступка были уже запоздалой, и племенная старшина не представляла болѣе населенія. Княжеская власть еще держалась, пока шла удачно ея ближайшая „внѣшняя политика"—борьба со скотоводами сосѣднихъ степей. При Ярославѣ (если еще не при Владиміръ), потомокъ норманскихъ конунговъ даже сдѣлалъ, повидимому, удачную попытку расширить свою компетенцію, захвативъ въ свои руки суд: какъ первый князь-судья Ярославъ и остался въ заголовкѣ Русской

Правды, хотя она, какъ мы видѣли, и древнѣе его въ своей первоначальной редакціи. Но когда въ южно-русскихъ степяхъ разбитые Ярославомъ печенѣги смѣнились свѣжими и энергичными половцами, и дружины сыновей Ярослава побѣжали передъ ними съ поля битвы на р. Альтѣ, давно клонившійся къ низу престижъ варяжскихъ завоевателей рухнулъ окончательно. „Люди кіевскіе" поднялись, и выгнали Ярославичей, взявъ себѣ князя изъ чужой, полоцкой династіи. Характерно, что изъ всѣхъ сыновей Ярослава на своемъ, черниговскомъ, столѣ усидѣлъ Святославъ,—которому посчастливилось разбить направившійся въ его сторону отрядъ половцевъ. Старшему Ярославичу удалось потомъ вернуться въ Кіевъ, но только съ помощью изъ-за границы, отъ поляковъ—и онъ могъ держаться, только пока поляки не отказали ему въ помощи. Его сыну, Святополку, удалось умереть кіевскимъ княземъ, но на другой же день послѣ его смерти новая революція окончательно сбросила съ Кіевскаго стола старшую линію Ярославова потомства (объ этой революціи, съ ея экономической стороны, см. на стр. 93). Владиміръ Мономахъ (1113—1125) былъ, фактически, уже выборнымъ княземъ—и элитетъ „наемнаго сторожа" подходилъ къ нему въ достаточной степени: его популярность, главнымъ образомъ, держалась на удачныхъ войнахъ съ половцами. . . . . .

Чьихъ же рукъ дѣло была кіевская революція? Конечно, не старыхъ племенныхъ вождей, которые еще сидѣли въ совѣтѣ Владиміра. Оба раза, и въ 1068, и въ 1113 г., мы видимъ на сценѣ городскую толпу. Мы видѣли, что кіевская Русь уже знала крупные зачатки городского хозяйства и торговаго капитализма. Движеніе, свергнувшее варяжскій абсолютизмъ, шло отъ новаго общества, созданнаго этими новыми экономическими силами. Это хорошо отразилось въ законодательствѣ, вызванномъ къ жизни второю кіевской революціей (1113 г.). Центръ тяжести тѣхъ статей Русской Правды, которыя объединяются общимъ именемъ „устава Владиміра Мономаха"—въ борьбѣ съ ростовщичествомъ: даются льготныя условія для старыхъ долговъ, и запрещается впредь брать болѣе 20% годовыхъ. Отчасти, эти мѣры шли на пользу задолжавшему кре-

стьянству, „закупамъ“ (см. стр. 57), по непосредственно уставъ Мономаха имѣлъ въ виду не ихъ, а купцовъ, для которыхъ онъ ввелъ чрезвычайно важную льготу—отмѣну рабства за долгъ въ случаѣ банкротства „несчастнаго“ отъ пожара, кораблекрушенія или войны. Какъ прогрессивно было для своей эпохи это нововведеніе, показываетъ тотъ фактъ, что должникъ отвѣчалъ у насъ за долгъ своею личностью еще въ XVI столѣтіи, въ эпоху Грознаго. Съ классовой стороны это нововведеніе шло на пользу имен. мелкому купечеству—т.-е. тѣмъ ремесленникамъ-торговцамъ, о которыхъ говорилось выше (см. стр. 89). Кредитуясь у крупныхъ капиталистовъ, они всего больше страдали отъ ростовщичества—и, несомнѣнно, это они и шли въ главѣ „людей кіевскихъ“ въ возстаніи 1113 г. Что городское ополченіе этой эпохи также состоитъ, главнымъ образомъ, изъ купцовъ (см. стр. 184)—это какъ нельзя лучше вяжется съ общей картиной. Мелкій людъ города, ремесленники и чернорабочіе, шли за купечествомъ, съ которымъ они были матеріально связаны.

Мы не будемъ разсматривать аналогичнаго новгородскаго движенія—почти ровно на сто лѣтъ моложе кіевскаго (новгородская революція, двойникъ кіевскаго 1113 г., приходится на 1209 годъ.) Какъ болѣе поздняя, она осложнилась еще нѣкоторыми новыми чертами,—но насъ сейчасъ интересуетъ не эволюція демократическаго движенія въ древней Руси, а его политическіе результаты. И въ Кіевѣ, и въ Новгородѣ они были совершенно одинаковы,—выдѣленіе Новгорода со Псковомъ въ какія-то „вѣчевыя общины“, гдѣ будто бы, порядки были иные, чѣмъ въ остальной Руси, основано на предразсудкѣ еще Карамзинскихъ временъ—на представленіи о Россіи, какъ исконно монархической странѣ. А такъ какъ относительно Новгорода не можетъ быть сомнѣнія, что онъ былъ городской республикой, то пришлось его „вывести за скобку“, и разсматривать его, какъ исключеніе. На самомъ дѣлѣ, такой же городской республикой былъ и Кіевъ XII в. И въ Новгородѣ, и въ Кіевѣ, князь могъ сѣсть на столъ, только „утвердившись съ людьми“, т.-е. заключивъ договоръ съ вѣчемъ. Договоръ скрѣплялся обоюднымъ крестоцѣлованіемъ—это не была присяга

на вѣрность государю со стороны горожанъ, а торжественное обязательство соблюдать контрактъ. Такъ же цѣловали крестъ другъ передъ другомъ и сами князья, заключая между собою договоры. Князь и обращался къ вѣчу, какъ къ равному: „братья Кіевляне", говорилъ онъ—и тѣ отвѣчали ему, „братъ нашъ". Въ чемъ заключалась главная функція этого брата кіевлянъ, совершенно ясно тому, кто станетъ читать лѣтопись, отрѣшившись отъ представленія современнаго намъ права о „государѣ". Потерявъ неограниченную власть надъ городомъ, князь со своей дружиной сохранялъ и для города свое в о е н н о е значеніе. Городъ тоже былъ вооруженъ, но лишь очень поздно, въ концѣ новгородской исторіи, и подъ вліяніемъ условій, совершенно исключительныхъ—огромной колоніальной области, принадлежавшей Новгороду—торговый капиталъ сталъ выдвигать способныхъ военныхъ вождей. У Кіева не успѣло образоваться такой военно-купеческой аристократіи; и ему, и въ теченіе долгихъ вѣковъ самому Новгороду, немыслимо было вести войны безъ профессіоналистовъ военнаго дѣла. А между тѣмъ, на войнахъ держалась вся тогдашняя крупная торговля. Безъ войнъ не было ни „челяди", ни „дани": главныя статьи тогдашняго экспорта, рабы, мѣха, воскъ, отпадали, разъ не было войны: продолжительный миръ былъ равносиленъ неурожаю—притомъ, его даже и сохранить нельзя было, ибо города грабили другъ друга, ослабѣвшій въ военномъ отношеніи городъ становился добычей конкурентовъ, какъ это и случилось съ Кіевомъ въ концѣ XII в. Вопросъ о способномъ военномъ вождѣ иногда могъ стать вопросомъ жизни и смерти—и какого-нибудь „удалого" князя на расхватъ брали по всей Руси, какъ теперь на расхватъ берутъ моднаго доктора или актера. А неспособнаго въ военномъ дѣлѣ князя гнали просто потому, что онъ былъ неспособенъ: „ѣхалъ съ рати впереди всѣхъ", убѣжалъ съ поля сраженія—какой же это князь? Это обвиненіе являлось въ Новгородѣ совершенно достаточной мотивировкой, чтобъ лишить князя стола. Но потомки норманскихъ конунговъ не много давали поводъ къ подобному обвиненію; въ общемъ, варяжская династія являлась готовымъ разсадникомъ способныхъ генераловъ, военачальство было для нея наслѣд-

ственной профессіей—и въ этомъ секретъ „господства" этой династіи надъ Россіей долго послѣ того, какъ она утратила реальное господство надъ городами, и гораздо раньше, чѣмъ князь сталъ во главѣ мѣстнаго общества въ качествѣ крупнѣйшаго землевладѣльца.

Но если князь былъ только главнокомандующимъ,—его отношеніе къ суду выражалось, какъ мы видѣли, лишь въ томъ, что „судомъ" онъ кормился (см. стр. 224),—то кто же нибудь отправлялъ въ городѣ другія „государственныя" функціи? Эту эволюцію древне-русскаго города-государства мы можемъ прослѣдить только на сѣверномъ образчикѣ типа. Въ Новгородѣ постепенно сложился рядъ настоящихъ республиканскихъ магистратуръ,—выборный посадникъ, выборный тысяцкій, наконецъ, верховный совѣтъ, гдѣ бывшіе посадники и тысяцкіе были на первомъ планѣ, какъ въ древнемъ Римѣ бывшіе консулы и преторы, но куда въ важныхъ случаяхъ собиралось все, что было крупнаго и вліятельнаго въ городѣ. Задача этого выборнаго начальства между прочимъ, заключалась въ томъ, чтобы держать въ границахъ наслѣдственнаго главнокомандующаго [1]; и въ этомъ, на все время новгородской самостоятельности, сохранялось воспоминаніе о томъ, что городская свобода добыта была когда-то за счетъ княжеской власти. Въ Кіевѣ городская республика не успѣла отлиться въ такую опредѣленную форму: не нужно забывать, что онъ завоевалъ себѣ свободу, окончательно, лишь во второмъ десятилѣтіи XII вѣка,—а къ началу слѣдующаго столѣтія онъ потерялъ уже всякое значеніе. Между 1113 годомъ и 1169—когда Кіевъ былъ взятъ и до тла разграбленъ суздальцами—прошло немного болѣе 50 лѣтъ. Остатки старагопе успѣли еще вымереть, когда пришло уже новое рабство. Можно только догадываться, что выборныя должности начинали складываться и въ Кіевѣ: лѣтопись упоминаетъ о княжескомъ тіунѣ, нѣчто въ родѣ намѣстника въ данномъ случаѣ, который былъ посаженъ „по волѣ" кіевлянъ, т.-е., надо думать, выбранъ ими, хотя

[1] Хотя въ Новгородѣ княжеская власть и не передавалась, какъ сказано, отъ отца къ сыну, но фактически князей брали всегда изъ одной и той же династіи.

быть можетъ, изъ числа княжескихъ дружинниковъ. Но дальше зачатковъ дѣло не пошло.

Князь былъ нуженъ городу не только потому, что онъ былъ военнымъ организаторомъ. Это лишь внѣшняя сторона ихъ взаимной связи: въ ней была извѣстная внутренняя необходимость, которую мы, въ сущности, уже видимъ мимоходомъ,—но на которой нужно настаивать, чтобы стала понятна судьба древне-русской городской республики. Городъ—это купцы: но откуда городской купецъ древней Руси бралъ свой товаръ? Читатель уже давно догадался, что этимъ товаромъ были дань и добыча, „заработанныя" дружиной. Только принявъ за исходную точку эту сторону дѣла, можно оцѣнить всю глубокую экономическую необходимость той своеобразной ассоціаціи, которая характеризуется терминами „князь и вѣче", т.-е. дружина и купечество, ибо князя, конечно, всего менѣе приходится представлять себѣ, какъ самостоятельную личность, независимую отъ той группы, которая вела всю военно-финансовую „работу". Князь „рядился" къ тому или другому столу (въ то время такъ и говорили: „урядиться съ людьми", „положить рядъ") не одинъ, конечно, кому онъ одинъ былъ бы нуженъ? И вотъ, изъ этой функціи дружины, какъ аппарата, поставлявшаго древне-русскому городу товаръ, вытекало своеобразное политическое противорѣчіе: ревностно охраняя свободу въ городскихъ стѣнахъ, вѣче не только не заботилось объ этой свободѣ за стѣнами города, но, кажется, даже склонно было всячески содѣйствовать князю въ его безграничномъ властвованіи надъ древне-русской деревней. Одного изъ новгородскихъ князей прогнали именно потому, что онъ „не смотрѣлъ за смердами". „Смердъ", крестьянинъ, былъ почти холопомъ князя; князь бралъ съ него дани, сколько хотѣлъ (чѣмъ больше товару, тѣмъ лучше!); наслѣдовалъ его имущество; могъ его „мучить"—подвергать тѣлесному наказанію. Городу до этого не было дѣло—въ дѣлѣ эксплуатаціи деревни „дружина" и „купцы" были связаны круговой порукой. Вотъ отчего древне-русскую военно-финансовую организацію и можно было разсматривать независимо отъ вѣчевыхъ порядковъ: исключивъ себя изъ объектовъ княжескаго хозяйствованія, городъ былъ прямо заинтересо-

ванъ въ томъ, чтобы это хозяйничанье безпрепятственно продолжалось въ деревнѣ. Когда это хозяйничанье въ областяхъ старой славянской колонизаціи, на Днѣпрѣ и его притокахъ, пришло къ своему логическому концу—деревня была здѣсь въ лоскъ разорена—князь ушелъ дальше на сѣверо-востокъ, въ области колонизаціи новой. Но городу некуда было уйти: онъ просто потерялъ значеніе. Остался Новгородъ, колоніальная область котораго, охватывавшая весь сѣверъ Россіи, до Урала и даже далѣе, до рѣки Оби, практически была неистощима. Но Новгороду пришлось, въ концѣ концовъ, имѣть дѣло не съ отдѣльными князьями, а съ огромной ассоціаціей землевладѣльцевъ, называвшейся „великимъ княжествомъ московскимъ“: и оно даже этому крупному вѣчевому центру было уже не по плечу.

Почему на новыхъ мѣстахъ не повторилось буквально старой исторіи—образованія новыхъ городскихъ центровъ, которые вступили бы снова въ борьбу съ княжеской властью, и т. д. до безконечности, это мы уже видѣли (см. стр. 67): по географическимъ условіямъ, здѣсь отпадала крупнѣйшая торговля Кіевской Руси—т о р г о в л я р а б а м и. Невозможность продавать живой товаръ помѣшала сѣверо-восточнымъ городамъ стать такими же очагами республиканской свободы, какимъ сталъ Кіевъ. Такимъ парадоксомъ разрѣшилась исторія нашихъ городскихъ республикъ XI—XIII вѣковъ! Ибо торговый капиталъ того времени только на невольничьемъ торгѣ и держался: оптовой торгъ мѣхами былъ, опять-таки по географическимъ условіямъ, сосредоточенъ въ Новгородѣ—а все остальное было слишкомъ мизерно. Городъ изъ господина деревни сталъ дополненіемъ къ деревнѣ: стало медленно развиваться настоящее, типичное „городское хозяйство“, не чужеядное, и потому несравненно болѣе прочное. Но основой того раздѣленія труда, на которомъ это хозяйство держалось, была к р у п н а я в о т ч и н а, гдѣ впервые произошло выдѣленіе ремесленника изъ крестьянской массы. Пока не сложились, къ XVI вѣку, новые городскіе центры, крупная вотчина и стала основной экономической, а, стало быть, и основной политической организаціей. На этой почвѣ развился въ Россіи ф е о д а л и з м ъ.

Основнымъ п о л и т и ч е с к и м ъ признакомъ феодализма

является соединеніе землевладѣнія съ властью надъ людьми, которые живутъ на землѣ даннаго землевладѣльца. Представимъ себѣ, что домохозяинъ могъ бы своихъ жильцовъ арестовывать, казнить, собирать съ нихъ налоги въ свою пользу—требовать, чтобы съ каждаго фунта говядины, принесеннаго въ его домъ, ему платили одну копѣйку, напримѣръ—и мы получимъ очень наглядное изображеніе феодальныхъ порядковъ. Русское крѣпостное имѣніе первой половины XIX в. было несомнѣннымъ *остаткомъ* феодальнаго строя: а такъ какъ остатокъ отъ чего-нибудь да остается, то одного этого было бы достаточно, чтобы утверждать существованіе на Руси феодализма въ древнѣйшую эпоху. Для историка-матеріалиста, характеризующаго тотъ или другой общественный строй по господствующей въ немъ системѣ хозяйства, и по методологическимъ соображеніямъ не могло бы возникнуть никакого сомнѣнія въ томъ, что Россія имѣла свой „феодальный періодъ". Хозяйство русской боярской вотчины XV—XVI вв. ничѣмъ не отличается отъ хозяйства большого имѣнія Западной Европы X—XII вв.: та же система повинностей, то же распредѣленіе земли и т. д. Стало быть, и политической разницы быть не должно бы. Но исторію нашихъ государственныхъ учрежденій начали разрабатывать не экономисты, а юристы. Для нихъ въ феодализмѣ оказался главнымъ второстепенный юридическій признакъ: наличность *договорныхъ* отношеній между землевладѣльцами различныхъ категорій. Въ Западной Европѣ этотъ „феодальный контрактъ" былъ разработанъ до большихъ тонкостей. У насъ этихъ тонкостей мы не находимъ: значитъ, заключали историки-юристы, въ Россіи феодализма вовсе не было, или онъ погибъ, не успѣвъ развиться, въ самыхъ зачаткахъ. Взглядъ этотъ, особенно въ его послѣдней варіаціи, о ранней гибели зачатковъ феодализма, пріобрѣлъ въ русской исторической литературѣ прочность предразсудка—его повторяютъ иногда даже историки-матеріалисты. Вотъ отчего очень важно было, что одному, недавно умершему, историку, Павлову-Сильванскому, удалось установить наличность въ Россіи не только самаго контракта, но даже тѣхъ формальностей и обрядностей, которыми этотъ контрактъ сопровождался на Западѣ. Такъ, какъ

и на западѣ, и у насъ, контрактъ этотъ очень плохо соблюдали, то, собственно, для пониманія сущности феодальныхъ отношеній онъ совсѣмъ не важенъ: но въ исторической литературѣ сложившіеся предразсудки иногда больше затемняютъ дѣйствительное положеніе вещей, нежели недостатокъ фактическихъ свѣдѣній. Установленные Павловымъ-Сильванскимъ факты не имѣютъ первостепеннаго историческаго значенія: но онъ разрушилъ первостепенное историческое предубѣжденіе—въ этомъ очень большая заслуга.

Корни феодальныхъ порядковъ древней Руси мы уже видѣли: „судъ старыхъ родителей", власть барина надъ его холопомъ, не только у себя дома, но и передъ лицомъ общественной власти, которая не смѣла наложить руки на холопа безъ согласія барина—все это и есть пережитки того строя, изъ котораго развился феодализмъ семейнаго строя. Надо представить себѣ, какъ развивалась въ древнѣйшее время „большая семья". По мѣрѣ увеличенія количества ея членовъ, младшія поколѣнія выселялись на отдѣльные дворы—вокругъ первоначальной „деревни" росли „починки", по условіямъ подсѣчнаго земледѣлія разбросанные въ лѣсу довольно далеко другъ отъ друга и отъ деревни. Но связь сохранялась,—связь, прежде всего, экономическая: въ извѣстныхъ случаяхъ (первымъ же была расчистка лѣса подъ пашню) „колонисты" не могли обойтись безъ содѣйствія „метрополіи"—помогать имъ (слово „помочь", „помочи" и до сихъ поръ, какъ извѣстно, сохранилось въ крестьянскомъ быту) сходилось все населеніе деревни. На экономической связи держалась и юридическая: деревенскіе „старики" оставались властью и для молодежи, выселившейся на „починокъ". Позже мы увидимъ, что оставалась и религіозная связь, въ видѣ „культа предковъ". Сѣть починковъ росла, починки сами превращались въ деревни и начинали разбрасывать вокругъ себя новую сѣть починковъ, а связь со старымъ гнѣздомъ сохранялась. Древне-русскіе документы сохранили намъ и эпитетъ, прилагавшійся къ такой родовой деревнѣ: она называлась „великою"—въ одной Смоленской грамотѣ XII в. мы встрѣчаемъ „Вержавлянъ Великихъ"; къ этимъ Вержавлянамъ Великимъ тянуло 9 „погостовъ" т.-е. уже большихъ поселковъ, не считая мелкихъ.

Когда появилось у насъ, на основѣ холопскаго труда первоначально, крупное землевладѣніе и начало кабалить окрестное крестьянство (процессъ этого описанъ выше, на стр. 62—64), „бояринъ“, баринъ, унаслѣдовалъ всѣ права деревенскихъ „стариковъ“. Онъ часто и не упразднялъ ихъ вовсе—и въ XVI в., и въ позднѣйшихъ крѣпостныхъ имѣніяхъ мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ мѣстныя крестьянскія власти, черезъ посредство которыхъ помѣщикъ распоряжается сельскимъ „міромъ“. Мѣсто „великой“ деревни заняло теперь „село“, гдѣ стояла барская усадьба, была церковь: и центръ культа оставался прежній, только культъ былъ другой, новый. Но все, экономически тяготѣвшее къ этому селу, продолжало и юридически отъ него зависѣть. Для населенія тутъ не было никакого разрыва съ прошлымъ—оно даже и называть продолжало новое начальство, барина, „батюшкой“, какъ звало оно своихъ стариковъ когда-то, „батюшкой“ же былъ и христіанскій священникъ, смѣнившій тѣхъ же стариковъ въ роли ходатая передъ „силами нездѣшними“. И какъ у отца-батюшки нельзя было спрашивать отчета, почему онъ поступаетъ со своими дѣтьми-подданными такъ, а не иначе, безотчетно распоряжался и баринъ-батюшка. Вопросъ о какомъ-нибудь новомъ правѣ могъ возникнуть лишь въ томъ случаѣ, если бы въ имѣніи завелось хозяйство по новому—помѣщикамъ XVIII в. пришлось прибѣгнуть къ спеціальнымъ „судебникамъ“ для крестьянъ. Но въ дни расцвѣта русскаго феодализма и хозяйство было такимъ же обычнымъ, какъ право. И формулировать власть землевладѣльца приходилось не по отношенію къ рабочему, сельскому населенію, сидѣвшему на „его“ земляхъ, а по отношенію къ тѣмъ свободнымъ, т.-е. чужимъ, посторонним людямъ, которые на эти земли попадали или на нихъ оказывались. Свободные люди не были случайностью въ крѣпостномъ феодальномъ имѣніи. Была одна повинность, которая, фактически, могла выполняться только свободными людьми—и, по тѣмъ временамъ, эта повинность была одною изъ самыхъ важныхъ. Уже древняя Русь знала, что холопъ не можетъ быть хорошимъ солдатомъ: если врага, на котораго шли, хотѣли унизить—а себя подбодрить—его называли „холопомъ“. Военная повинность требовала сво-

бодныхъ людей. Древне-русскій холопъ сопровождалъ своего барина и на войну—но, обыкновенно, въ той роли, какую играютъ теперешніе деньщики или обозные солдаты. Если ему удавалось совершить ратный подвигъ, баринъ его освобождалъ или, по крайней мѣрѣ, оставлялъ ему свободу по духовному завѣщанію. Такъ или иначе, отличившійся холопъ становился свободнымъ „послужильцемъ“: на языкѣ Западной Европы, болѣе привычномъ, въ данномъ случаѣ, для насъ—*вассаломъ*. Но свободный человѣкъ феодальной эпохи, если это не былъ городской ремесленникъ (а эта профессія была мало совмѣстима съ военной службой, хотя изрѣдка относительно военнаго человѣка древней Руси мы и встрѣчаемъ отмѣтку въ служилыхъ спискахъ: „портной мастеришка“), долженъ былъ самъ имѣть холоповъ и крестьянъ, которые бы на него работали и его кормили: „послужилецъ“ неизбѣжно становился *помѣщикомъ*. Самый терминъ: „помѣщикъ“, „помѣстье“ и сложился у насъ именно въ связи съ военнымъ вассалитетомъ—такъ назывались первоначально участки, дававшіеся „за службу“ мелкимъ служилымъ людямъ. При чемъ это вовсе не были, обязательно, люди, служившіе государству: изъ 574 землевладѣльцевъ, перечисленныхъ въ одной писцовой книгѣ первой половины XVI в., только 230—менѣе половины—служили великому князю; 60 служили владыкѣ тверскому, а 30—князю Микулинскому, богатому боярину, но князю лишь по титулу—онъ нигдѣ не княжилъ, а самъ служилъ великому князю московскому. Мы видѣли, что въ московской Руси, какъ и въ средневѣковой Франціи или Германіи, не только владѣтельные князья, но и архіереи, и *всѣ вообще крупные землевладѣльцы имѣли своихъ вассаловъ*. *А большая часть мелкихъ землевладѣльцевъ состояли чьимъ-нибудь вассаломъ*: изъ 574, перечисленныхъ въ упоминавшейся выше писцовой книгѣ, не служили никому только 150 человѣкъ. Кто не могъ держать своей дружины (о „боярскихъ дружинахъ“ прямо говоритъ Русская Правда), поступалъ въ чужую: если военный человѣкъ непремѣнно былъ свободнымъ человѣкомъ, то и для свободнаго человѣка не было другой карьеры, кромѣ военной. Вотъ почему не слѣдуетъ думать, что дре-

вне-русскій вассалитетъ складывался исключительно изъ бывшихъ холоповъ (такое мнѣніе высказывалось иногда даже и въ литературѣ). Свободныхъ мелкихъ землевладѣльцевъ среди него было гораздо больше. А въ дружины самыхъ крупныхъ владѣтелей,—въ дружину московскаго великаго князя, напримѣръ—поступали и не только мелкіе землевладѣльцы: мы сейчасъ тамъ видѣли князя—и этотъ князь былъ не единственнымъ; верхніе ряды великокняжеской дружины этого времени сплошь состояли изъ людей, украшенныхъ княжескимъ титуломъ, и нѣкоторые изъ нихъ еще сидѣли намѣстниками въ тѣхъ самыхъ областяхъ, которыми ихъ отцы и дѣды правили, какъ государи. Ибо великокняжеская дружина этого времени была уже цѣлой арміей, въ ней были не только офицеры, но и генералы: карьера завидная даже для человѣка, который самъ велъ свой родъ отъ того же миѳическаго Рюрика, что начиналъ собою родословную и московскаго государя.

Если съ крестьянами никто и не думалъ церемониться, и они сами не заикались о своихъ правахъ,—если мелкій „послужилецъ“ такъ еще не высоко стоялъ надъ крестьяниномъ, что ему приходилось запрещать продаваться въ холопы (такое спеціальное запрещеніе содержится въ царскомъ Судебникѣ 1550 г.), то къ боярину, который пришелъ на службу со своею собственной дружиной, тѣмъ болѣе къ бывшему удѣльному князю отношеніе должно было быть иное. „Феодальный контрактъ“ вырабатывался именно въ этой средѣ. Бояре „приказывались“ въ службу—или „отказывались“ отъ нея, „отъѣзжали“, юридически, до XV в., вполнѣ свободно; „а боярамъ, и дѣтямъ боярскимъ, и слугамъ между нами вольнымъ воля“, говорили междукняжескіе договоры. На практикѣ, отъ слабаго „сюзерена“ (употребляя болѣе популярное западно-европейское выраженіе) къ сильному всегда можно было отъѣхать: а за переходъ въ противоположномъ направленіи всегда можно было поплатиться вотчиной, а иногда и головой. Нѣтъ ничего болѣе легковѣснаго, нежели такъ тщательно вырабатывавшіеся и обставленные такими торжественными обрядами договоры между феодальными землевладѣльцами. Но если по отношенію къ отдѣльному „вольному слугѣ“ у сюзерена были

достаточно развязаны руки, то этого никакъ нельзя сказать про всю совокупность служилыхъ землевладѣльцевъ. На то они были и свободные люди, чтобы ихъ баринъ считался съ ихъ голосомъ. Ставшее шаблономъ въ западно-европейской исторіи противоположеніе феодальнаго сюзерена—государю въ настоящемъ смыслѣ этого слова, суверену, вполнѣ приложимо и къ древне-русскимъ феодальнымъ „государствамъ“, до московскаго великаго княжества включительно. Исторія Грознаго и Годунова будетъ для насъ закрытой книгой, если мы забудемъ, что въ XVI в. въ Россіи происходило то самое крушеніе феодальныхъ порядковъ, какое имѣло мѣсто во Франціи, напримѣръ, двумя столѣтіями раньше. Отецъ и дѣдъ Ивана Грознаго, и самъ онъ до 1565 г.—до учрежденія опричнины—были именно сюзеренами, договорными хозяевами десятковъ крупныхъ, сотенъ среднихъ и тысячъ мелкихъ вассаловъ. Что нужды, что и тѣ, и другіе, и третьи одинаково раболѣпно били челомъ въ землю передъ своимъ сюзереномъ: эта феодальная формальность имѣла значенія не болѣе, чѣмъ всякія иныя формальности. На дѣлѣ, не столковавшись съ генеральнымъ штабомъ феодальнаго войска, нельзя было предпринять ни одного рѣшительнаго шага: а передъ шагами наиболѣе рѣшительными совѣтовались и со всѣмъ войскомъ, какъ это дѣлалъ Иванъ III передъ походомъ на Новгородъ и его внукъ въ критическую минуту Ливонской войны, въ 1566 г. Московскаго великаго князя,—даже той поры, когда къ нему перешло идейное наслѣдство византійскихъ императоровъ и титулъ верховныхъ государей Руси съ XIII по XV вѣкъ, татарскихъ хановъ—„царей“, по древне-русской терминологіи—нельзя себѣ представить ни въ одномъ дѣлѣ текущаго управленія безъ боярской думы, и ни въ одномъ торжественномъ случаѣ его политической жизни—безъ земскаго собора.

На боярскую думу древней Руси долгое время готовы были смотрѣть сквозь то, полу-комическое изображеніе, какое оставилъ намъ дьякъ XVII столѣтія Котошихинъ. „Неученые“ и „нестудированные“ люди, сидящіе „уставя бради“ въ царскомъ совѣтѣ только ради своей „великой породы“, не раскрывая рта, или поддакивая тому, что говорятъ

настоящіе, не показные царскіе совѣтники—это картина такъ же хорошо знакома всѣмъ изъ учебниковъ, какъ и портретъ „величайшаго самодержца во всемъ свѣтѣ“, царя Московскаго, передъ которымъ всѣ подданные—холопы, и послѣдній холопъ завтра же можетъ сдѣлаться первымъ министромъ. Обѣ картины одинаково далеки отъ исторической истины. Основывать на нихъ свое представленіе о московскомъ государствѣ было бы такъ же наивно, какъ принимать серьезно формулы, употребляемыя въ нашихъ современныхъ письмахъ, начинающихся „милостивымъ государемъ“ и кончающихся „вашъ покорнѣйшій слуга“. Никому не придетъ въ голову, читая такое письмо, счесть себя въ самомъ дѣлѣ „государемъ“, а своего корреспондента своимъ „слугою“. Государь холоповъ-бояръ XVI вѣка, прежде всего, не властенъ былъ въ ихъ личномъ составѣ. Съ кѣмъ онъ долженъ былъ совѣтоваться, опредѣлялось извѣстными обычаями, получившими въ литературѣ названіе „мѣстничества“, отъ того конкретнаго случая, въ которомъ проявлялся обычай—спора изъ-за мѣстъ на царской службѣ. Каждая боярская семья занимала опредѣленное мѣсто среди другихъ семей—это мѣсто называлось „отечествомъ“—и его царь измѣнить не могъ: „за службу царь жалуетъ деньгами и помѣстьемъ, но не отечествомъ“, такъ формулировали этотъ обычай еще бояре первыхъ Романовыхъ. Эти послѣдніе, по свидѣтельству того же Котошихина, не были съ силахъ сломить обычая даже въ пользу своихъ родственниковъ—посадивъ ихъ (царскихъ зятьевъ, напримѣръ) выше, чѣмъ слѣдовало по „разрядамъ“ и „родословцу“. Только къ концу XVII в. торговый капиталъ выдвинулъ наверхъ такую массу „случайныхъ“ людей, что старая знать потонула въ ней со всѣми своими мѣстническими традиціями. Но въ XVII в., послѣ смуты, феодальный строй вообще держался на правахъ „переживанія“. Реально, его политическое существованіе закончилось XVI столѣтіемъ—когда попытки закрѣпить феодальные обычаи искусственно показывали уже, что собственными силами они держались плохо. Изъ одной такой попытки (приписки къ упоминавшемуся надавно царскому судебнику) мы и узнаемъ, что законодательство московской Руси того времени проис-

ходило при непремѣнномъ участіи „всѣхъ бояръ", т.-е. всѣхъ, кто по мѣстническимъ счетамъ имѣлъ право входа въ царскую думу. Изъ другихъ документовъ мы узнаемъ, что и окончательной судебной инстанціей была та же боярская дума—и что только судъ царя „съ бояры своими" феодальное общественное мнѣніе соглашалось разсматривать „судомъ истиннымъ". Наконецъ, изъ одного документа временъ смуты мы узнаемъ, что, „не поговоря съ бояры", не въ обычаѣ было „доходы государскіе прибавливати": непремѣннымъ участникомъ въ составленіи бюджета была та же боярская дума,—хорошо знакомая и западно-европейскому строю, гдѣ она носила латинское названіе куріи.

То „объединеніе Руси около Москвы", о которомъ такъ много говорится въ учебникахъ, гораздо больше обезпечивалось, въ XVI в., этимъ всероссійскимъ совѣтомъ крупныхъ землевладѣльцевъ, нежели управленіемъ самого московскаго великаго князя и его чиновниковъ. Для страны, разбитой на сѣть мелкихъ городскихъ округовъ, экономически самостоятельныхъ, централизованное управленіе не было необходимостью. Старыя „удѣльныя княжества", которыя смѣнили „городовыя волости" послѣ упадка городовъ, вполнѣ удовлетворяли политическимъ потребностямъ „городского хозяйства": давно уже подмѣчено, что княжество, обыкновенно, точно соотвѣтствовало рѣчному бассейну (отсюда и старинныя княжескія фамиліи: Ухтомскіе отъ р. Ухтомы, Сицкіе отъ Сити, и т. под.). Стольный городъ такого княжества былъ мѣстнымъ узловымъ торговымъ пунктомъ—крупнѣйшимъ мѣстнымъ рынкомъ. Что сѣть такихъ пунктовъ къ началу XVI в. подпала власти Москвы, это былъ однимъ изъ характернѣйшихъ признаковъ надвигающагося торговаго капитализма. Административно-судебная централизація и нашла у насъ себѣ мѣсто, сначала, именно въ этой области: гости, крупнѣйшіе капиталисты, судились только въ Москвѣ, центральной властью. Но судъ вообще въ московской Руси далеко не былъ централизованъ: мы помнимъ, какъ были организованы важнѣйшія судебно-полицейскія учрежденія, губныя (см. стр. 229 сл.); существованіе въ Москвѣ какъ бы „центральныхъ" административно-финансовыхъ учрежденій, приказовъ, мо-

жетъ подать поводъ думать, что хотя финансовое управленіе было объединено: ближайшее знакомство съ приказами показало, что и этого не было. Въ приказахъ были механически собраны доходы и дѣла различныхъ городовъ, причемъ не только въ одномъ и томъ же приказѣ (департаментѣ), но даже въ одномъ и томъ же „повытьѣ“ (отдѣленіи) вѣдались города, не имѣвшіе между собою ничего общаго ни въ какомъ отношеніи—Галичъ и Коломна, Тотьма и Клинъ. „Систематическіе“ приказы, вѣдавшіе дѣла извѣстнаго рода на всемъ протяженіи государства, складываются только въ XVII в.—подготовляя этимъ дѣйствительную административную централизацію петровскаго времени. Ранѣе этого, крупнѣйшей попыткой объединенія была опричнина Грознаго, когда около половины государства было стянуто къ государеву „двору“; но опричнина была временной диктатурой, а не постояннымъ учрежденіемъ. До опричнины, т.-е. до 60-хъ годовъ XVI в., если можно говорить о московскомъ царствѣ, какъ о единомъ цѣломъ, то только благодаря боярской думѣ.

Опричнина положила конецъ „удѣльному періоду“: потомки удѣльныхъ князей, въ качествѣ вассаловъ великаго князя московскаго или его намѣстниковъ еще сидѣвшіе на своихъ удѣлахъ въ первой половинѣ XVI в., были сдвинуты со своихъ мѣстъ, и должны были уступить свои земли людямъ новымъ, дворянамъ и дѣтямъ боярскимъ государева двора. Читатель уже замѣтилъ хронологическое совпаденіе этого переворота съ упраздненіемъ кормленій и замѣной великокняжескихъ намѣстниковъ и волостелей тоже среднедворянскими губными старостами. Это все, дѣйствительно, только различныя стороны одной и той же перемѣны: пораженія стариннаго крупнаго землевладѣнія и выступленія на его мѣсто землевладѣнія средняго, смѣны „бояръ“ „дворянами“. Экономической основой переворота былъ переходъ къ болѣе интенсивнымъ формамъ хозяйства (см. стр. 71 и сл.). Здѣсь насъ интересуютъ его политическіе результаты. Курія крупныхъ вассаловъ не могла, разумѣется, играть прежней роли послѣ разгрома крупнаго землевладѣнія. Новый общественный классъ нуждался въ новомъ объединяющемъ центрѣ—и не случайно на другой же день, можно сказать,

послѣ появленія опричнины на первомъ планѣ сцены оказывается земскій соборъ. Новѣйшіе изслѣдователи совершенно справедливо указываютъ, что этотъ, съ нашей точки зрѣнія, капитальный фактъ — появленіе „народнаго представительства“!—современниками вовсе не былъ отмѣченъ, какъ что-то новое и необычное. Лѣтопись говоритъ о соборѣ 1566 г., какъ о заурядномъ дѣлѣ. Въ самомъ дѣлѣ, формально тутъ не было никакого новшества: совѣщаться со всѣми своими вассалами, а не только крупнѣйшими, московскій государь могъ и раньше, и дѣлалъ это, можетъ быть, гораздо чаще, чѣмъ мы можемъ судить по сохранившимся до насъ свѣдѣніямъ. Но раньше это былъ придатокъ къ боярской думѣ: теперь это была попытка ее замѣнить. „Представительства“ же никакого тутъ не было ни раньше, ни послѣ: теперь можно считать вполнѣ установленнымъ, что на первые земскіе соборы, до Смуты, приглашали просто все наиболѣе видное среди московскаго и провинціальнаго дворянства и столичнаго купечества, совершенно не интересуясь тѣмъ, какъ относятся къ „избраннымъ“ ихъ рядовые товарищи. Сказать, что земскіе соборы „не имѣли никакого политическаго значенія“, значило бы обнаружить полное непониманіе феодальнаго общества, его политическихъ привычекъ и задачъ: но сказать, что земскіе соборы отнюдь не представляли собою политической гарантіи подданныхъ отъ произвола сверху, какъ теперешніе парламенты монархическихъ государствъ, будетъ совершенно правильно. Гарантія могла понадобиться послѣ того, какъ сложилась сильная центральная власть современнаго типа. Ничего подобнаго въ XVI в. не было—говорить тогда можно было не о произволѣ со стороны „власти“, а о произволѣ со стороны крупнѣйшаго землевладѣнія, „боярства“: но когда выдвинулся на аванцену земскій соборъ, боярство только что было повержено въ прахъ (государственный переворотъ 1564 г., вызвавшій къ жизни опричнину), и съ нимъ расправлялись не при помощи гарантій, а посредствомъ кола и висѣлицы. Соборъ, какъ и дума, не былъ ни политической гарантіей, ни, тѣмъ менѣе, органомъ власти, еще не существовавшей: какъ и дума, онъ былъ самъ властью, политической организаціей того

класса, который свергнулъ боярство при Грозномъ. Вѣрнѣе было бы сказать: „тѣхъ классовъ“, потому что переворотъ былъ проведенъ среднимъ землевладѣніемъ при участіи и поддержкѣ торговаго капитала, который и былъ представленъ въ соборѣ 1566 г. всѣмъ наличнымъ комплектомъ гостей и верхушками второстепеннаго купечества.

Консерватизмъ формы новаго учрежденія шелъ такъ далеко, что на его собраніяхъ присутствовала и старая боярская дума въ полномъ составѣ—очищенная предварительно, само собою разумѣется, отъ „неблагонадежныхъ“ элементовъ. Вообще, очень характерно, что безъ бояръ побѣдившіе боярство дворяне обойтись, видимо, совершенно не умѣли. Только когда торговый капиталъ постепенно выработалъ себѣ свой бюрократическій аппаратъ въ лицѣ дьяковъ, отчасти и вышедшихъ прямо изъ рядовъ торговаго класса, отчасти слившихся съ нимъ, сдѣлавшись уже на службѣ крупными капиталистами, бояръ оказалось возможно вовсе убрать со сцены. Раньше этого, ихъ политическіе навыки и таланты оказывались совершенно необходимыми для новыхъ людей: провинціальнаго „сына боярскаго“ хватало на то, чтобы, въ качествѣ губного старосты, ловить разбойниковъ въ своемъ уѣздѣ, но вести переговоры съ Польшей или Швеціей, командовать арміей или даже удовлетворять потребностямъ придворнаго обихода—все это было ему совершенно не по плечу. То, что и послѣ боярской катастрофы XVI вѣка списки московскихъ дипломатовъ и генераловъ, не говоря уже о придворныхъ, испещрены именами тѣхъ самыхъ княжескихъ фамилій, которыхъ Грозный губилъ „всеродно“, должно насъ удивлять нисколько не больше того, что третья французская республика держитъ на своей дипломатической и военной службѣ людей, которые самое слово „республика“ не могутъ слышать безъ негодованія. А теперешняя французская буржуазія по своимъ культурнымъ средствамъ куда богаче, казалось бы, московскаго дворянства! Не нужно забывать, что дворянство вышло изъ круга того же „городского“ хозяйства и отличалось всею тою узостью политическихъ горизонтовъ, какую только и могло породить это хозяйство. Задачи же московскаго государства, по мѣрѣ экономическаго его прогресса, становились все шире

и шире. Вотъ отчего земскому собору не помогло и появленіе въ немъ, со времени Смуты, настоящаго представительства—выборныхъ отъ мѣстнаго населенія, преимущественно отъ тѣхъ же помѣщиковъ: эти, уже совсѣмъ сѣрые, провинціальные люди еще меньше могли стать конкурентами представителей аристократическихъ фамилій или торговаго капитала. На соборахъ они только кланялись передъ блестящей аристократіей и говорили, что „бояре—вѣчные наши господа промышленники". Дѣлать изъ этого выводъ, что земскіе соборы были подавлены боярствомъ (какъ поступилъ одинъ изслѣдователь) было бы, конечно, неосторожно. „Вѣчные господа" сами въ это время не много значили, какъ ни казались они великолѣпны въ глазахъ наивныхъ провинціаловъ. И боярская дума и земскій соборъ, одинаково, становятся въ теченіе XVII в. торжественной формальностью. Ихъ появленіе еще необходимо, напримѣръ, въ такой моментъ, какъ вступленіе на престолъ новаго государя: юридически (вѣрнѣе было бы сказать „номинально") всѣ московскіе цари этого столѣтія были „обираны на царство" земскимъ соборомъ съ думою во главѣ. Но это была лишь торжественная церемонія—на дѣлѣ выбирать приходилось только Михаила Ѳеодоровича, да и его, какъ находятъ новѣйшіе ученые, и бояре, и дворяне послушно приняли изъ рукъ казачества, стоявшаго за Михаила Романова, какъ за сына Тушинскаго патріарха—первосвятителя всего казачьяго стана. У его сына, тѣмъ болѣе у его внуковъ, никакихъ конкурентовъ не было, и „обраніе на царство" было простымъ обрядомъ. Формальность характерна—она показываетъ, какъ живучи были традиціи феодализма въ Россіи даже наканунѣ петровской реформы: сюзеренъ не былъ настоящимъ сюзереномъ, пока не призналъ его весь вассалитетъ. Но реальная власть не была въ это время ни въ рукахъ думы, ни въ рукахъ собора: она была въ рукахъ тѣхъ, кто представлялъ собою новую экономическую силу, торговый капитализмъ, а это были царь съ его семьей и кружкомъ крупныхъ магнатовъ, его торговые агенты—и, въ то же время, крупнѣйшіе капиталисты своего времени,—гости и, орудіе всѣхъ этихъ силъ, техники военной, финансовой и дипломатической службы, чиновничество. Если

боярская дума и земскій соборъ были двумя подготовительными ступенями въ дѣлѣ объединенія Россіи въ одно государство, централизованная бюрократическая администраціи завершила эту работу.

Такъ какъ о царскихъ капиталахъ и монополіяхъ, о роли гостей и торговаго капитала вообще достаточно говорилось выше (см. стр. 103 и сл.), то намъ остается сказать нѣсколько словъ о силѣ, выступающей передъ нами впервые—о чиновничествѣ, бюрократіи. Послѣдняя была излюбленнымъ орудіемъ торговаго капитализма не только въ Россіи, а и всюду—и не трудно понять, почему такъ было. Въ противоположность промышленности, результаты которой у всѣхъ на виду, ихъ никуда не спрячешь, торговля любитъ тайну. Во Франціи, гдѣ преобладаетъ до сихъ поръ торговый капиталъ—въ его новѣйшей формѣ, капитала банковаго—до сихъ поръ, оказывается, невозможно ввести подоходный налогъ—ибо французскому „народному духу“ въ высшей степени противно всякое откровенное объясненіе насчетъ доходовъ: и во главѣ противниковъ подоходнаго налога, подъ руководствомъ крупной буржуазіи, идутъ лавочники, трактирщики и т. под. Въ промышленныхъ же странахъ какъ Англія или Германія, подоходный налогъ существуетъ издавна, и тамошній „народный духъ“ нисколько не чувствуетъ себя имъ задѣтымъ. Продолжая сравненіе, можно еще отмѣтить, что изъ этихъ трехъ странъ нигдѣ такъ не сильны бюрократическіе порядки, какъ во Франціи. „Канцелярская тайна“ старой Россіи и старой Европы вообще была естественнымъ продолженіемъ „коммерческой тайны“. Государственныя дѣла велись такъ же, какъ ведутся дѣла торговой фирмы—въ сторонѣ отъ нескромныхъ глазъ. И недаромъ въ числѣ московскихъ приказовъ первыхъ Романовыхъ мы встрѣчаемъ такой, какого не бывало на Москвѣ раньше, и который такъ и назывался Приказомъ тайныхъ дѣлъ: при чемъ тайною его дѣла были и для членовъ боярской думы, которые „въ тотъ приказъ не ходили и дѣлъ тамъ не вѣдали“. А вѣдалъ всѣ дѣла государевъ дьякъ съ нѣсколькими подъячими. И учрежденія съ эпитетомъ „тайный“ (тайная канцелярія, тайная экспедиція) провожаютъ насъ черезъ весь XVIII вѣкъ: при чемъ одно время

этотъ эпитетъ приклеивается даже къ высшему въ имперіи мѣсту, воплощавшему самое центральную власть—это было, когда Россіей правилъ, съ 1725 по 1730 годъ, Верховный Тайный Совѣтъ. Наоборотъ, открытыя учрежденія, конституціоннаго типа, были въ высшей степени противны „духу“ торговаго капитала—конституціонныя попытки XVIII в. всѣ идутъ, какъ мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ, не изъ буржуазной, а изъ дворянской среды. [1]) Но помимо этого соціологическаго родства бюрократизма съ торговымъ капиталомъ, послѣдній имѣлъ и политическія основанія предпочитать замкнутые кабинеты открытымъ собраніямъ всякаго рода. Мы видѣли, что капиталистическій характеръ прежде всего пріобрѣтаетъ внѣшняя торговля, тѣсно связанная съ дипломатіей и войной: но ни та, ни другая уже технически не допускаютъ откровенности. Если даже въ современныхъ государствахъ съ демократическими конституціями не разрѣшаютъ оглашать какихъ бы то ни было извѣстій о ходѣ военныхъ дѣйствій, кромѣ официальныхъ, разрѣшенныхъ военной цензурой, а о дипломатическихъ соглашеніяхъ первостепенной важности парламенты узнаютъ заднимъ числомъ—то можно себѣ представить, что было двѣсти лѣтъ назадъ? Для военно-дипломатическихъ операцій торговому капиталу опять-таки былъ нуженъ не говорливый „народный представитель“, а скромный и умѣющій молчать чиновникъ.

Чиновника знала уже удѣльная, до-московская Русь. Въ духовныхъ грамотахъ тогдашнихъ князей мы встрѣчаемъ дьяковъ и казначеевъ—въ числѣ холоповъ, отпускаемыхъ на волю. Такъ скромно начинали будущіе правители Россійской имперіи! Не мудрено, что дьяки тогдашними феодалами разсматривались, какъ „чинъ худой“, и родство съ дьякомъ въ мѣстническихъ счетахъ губило человѣка безвозвратно. Но уже тогда это была необходимая шестерня правительственнаго механизма: „судити судъ бояромъ и окольничимъ, а на судѣ быти у бояръ и у окольничихъ

---

[1]) Исторія этихъ попытокъ, какъ и всякаго рода „проектовъ“ см. въ отд. IV, „Политическія идеологіи“: здѣсь мы имѣемъ дѣло только съ объективной дѣйствительностью.

дьякомъ", говоритъ Судебникъ Ивана III (1497 г.). При его внукѣ, Иванѣ IV, бѣжавшіе отъ опричнины за литовскій рубежъ московскіе эмигранты увѣряли уже, что на Москвѣ дьяки „всѣмъ правятъ". Въ это время мы встрѣчаемъ дьяковъ въ числѣ крупныхъ землевладѣльцевъ. Поколѣніемъ позже, въ концѣ XVI в., дьяки Щелкаловы уже дѣйствительно управляли—если не всѣмъ московскимъ государствомъ, то, по крайней мѣрѣ, внѣшнею его политикой. Имя одного изъ нихъ иностранцы поминаютъ на ряду съ именемъ перваго боярина своего времени, Никиты Романова (дѣда царя Михаила)—оба имъ казались „царями", до того были они вліятельны. Съ вліяніемъ Щелкаловыхъ приходилось считаться Годунову, подготовляя свою кандидатуру на престолъ—и одинъ изъ нихъ умеръ членомъ боярской думы. Это было во время Смуты—когда не только дьяки попадали въ дворяне, но и и дворяне подчасъ просились въ дьяки. Если въ XVI в. мы находимъ дьяковъ въ числѣ крупныхъ землевладѣльцевъ, то въ XVII цѣлый рядъ ихъ найдется въ рядахъ крупнѣйшихъ собственниковъ государства. Ихъ богатство кололо глаза провинціальному дворянству—что и вызвало извѣстную жалобу дворянъ и дѣтей боярскихъ, во время собора 1642 г., на дьяковъ, покупившихъ многія вотчины и построившихъ себѣ „палаты каменныя такія, что неудобь-сказаемыя: блаженныя памяти при прежнихъ государяхъ и у великородныхъ людей такихъ домовъ не бывало". Въ концѣ царствованія Алексѣя Михайловича, сынъ дьяка, Артамонъ Матвѣевъ былъ бояриномъ и, фактически, первымъ министромъ московскаго государства: а немного позже дьяческая фамилія Лопухиныхъ дала московскому царству его послѣднюю царицу, первую жену императора Петра I.

Тѣсныя связи русскаго чиновничества съ капиталистическими кругами тянутся черезъ всю нашу новую исторію—отъ вице-канцлера Петра, Шафирова, одного изъ совладѣльцевъ крупнѣйшей фабрики своего времени, до министра финансовъ Александра III, Вышнеградскаго, который былъ крупнымъ биржевымъ дѣльцомъ раньше, чѣмъ сдѣлался министромъ финансовъ. Наиболѣе типичнымъ—и наиболѣе извѣстнымъ, въ то же время—образчикомъ перехода отъ

коммерціи въ бюрократію служитъ знаменитый Канкринъ, министръ финансовъ Николая I, начавшій свою карьеру бухгалтеромъ у откупщика. Случаи обратнаго перехода гораздо чаще. Въ дни „великихъ реформъ“ 60-хъ гг. рѣдкій видный чиновникъ не засѣдалъ въ полудюжинѣ совѣтовъ различныхъ акціонерныхъ обществъ и желѣзнодорожныхъ компаній. Въ 1868 г. это было запрещено—а при Александрѣ III правительственная служба вообще была объявлена несовмѣстимой съ частной. Но было бы наивностью думать, что явленіе исчезло вслѣдствіе этого формальнаго запрещенія. Во главѣ банковъ и промышленныхъ предріятій и теперь сплошь и рядомъ стоятъ крупные чиновники—только, временно, числящіеся въ отставкѣ, что не мѣшаетъ имъ, конечно, возвращаться на службу вновь, когда „по ходу дѣла“ это требуется. Будучи органомъ буржуазіи, бюрократія не представляетъ собою, разумѣется, какого-нибудь особеннаго класса. Наивное представленіе о бюрократіи, какъ о какой-то грозной, самодовлѣющей силѣ, властвующей надъ страной, унаслѣдовано современнымъ русскимъ либерализмомъ отъ его соціальныхъ предковъ—оппозиціонныхъ помѣщиковъ первой половины XIX в. Не умѣя разобраться въ подкладкѣ происходящаго передъ нимъ, не умѣя разглядѣть изъ-за чиновничьяго вицъ-мундира купеческаго кафтана, помѣщикъ съ естественной для него простоватостью вопилъ, что отъ вицъ-мундирныхъ людей жить нельзя, что „чиновникъ-бюрократъ“ все задушилъ. Такъ мелкая мѣщанка совершенно искренно убѣждена, что высокія цѣны на масло или мясо—результатъ плутовства лавочниковъ, и что, если „умѣть торговаться“, всегда можно купить дешево. На самомъ дѣлѣ, цѣны строитъ не лавочникъ, но рынокъ—а помѣщика душилъ не бюрократъ, но торговый капиталъ. И не „душилъ“, въ собственномъ смыслѣ—а только уменьшалъ нѣсколько ту долю „прибавочнаго продукта“, которая шла въ карманъ помѣщика. Казалось бы, какъ мало должны быть солидарны съ помѣщикомъ теперешніе публицисты: а, между тѣмъ, фразы о „бюрократіи“ повторяютъ и они. Законъ исторической косности, скажетъ читатель. Не совсѣмъ онъ одинъ: современная буржуазная публицистика гораздо больше отражаетъ интересы „совре-

менняго" капитализма, чѣмъ стараго, „торговаго"; а капиталистъ новѣйшаго типа надѣется самъ справиться съ государственной машиной, не прибѣгая къ услугамъ винъ-мундирныхъ людей. И если разсматривать вопли о засилы бюрократіи, какъ агитаціонный пріемъ, нельзя не признать этотъ пріемъ раціональнымъ и естественнымъ.

Первая попытка буржуазіи обойтись безъ бюрократа, впрочемъ, почти современна и появленію самой бюрократіи: реформа 1699 г., первая изъ „петровскихъ реформъ" хронологически, передала все управленіе городами—и, кстати, „черными землями русскаго Сѣвера", гдѣ не было помѣщиковъ и крѣпостного права—выборнымъ властямъ, бурмистрамъ, подъ верховнымъ надзоромъ московскаго купечества („Ратуша"). Только помѣщичья Россія осталась внѣ вѣдѣнія этой буржуазной администраціи. Ратуша была первымъ опытомъ финансовой централизаціи Россіи—но опытъ сразу же не былъ доведенъ до конца, какъ мы сейчасъ видѣли, и очень скоро обнаружилъ на практикѣ свою преждевременность. Военныя потребности—въ конечномъ счетѣ созданныя тою же торговой политикой меркантилизма—повели къ раздѣленію Россіи, около 1708 г., на губерніи, и поставленные во главѣ новыхъ областныхъ дѣленій губернаторы изъ крупныхъ землевладѣльцевъ быстро „растащили" Ратушу по клочкамъ. Замѣнившій ее въ 1711 г. Сенатъ не покончилъ съ „растаскиваніемъ". Сенатъ, учрежденный Петромъ со скромной цѣлью вести текущія дѣла въ его отсутствіи (онъ отправлялся воевать съ турками), часто сравнивали съ боярской думой. Сравненіе не вполнѣ точное, даже, если брать только организаціонную сторону дѣла: дума, хотя и весьма несовершенно, объединяла все московское царство—сенатъ пользовался неограниченными полномочіями только на пространствѣ одной московской губерніи, прочіе губернаторы сносились съ нимъ на равной ногѣ и даже писали ему иногда „указомъ". Но сравненіе становится совершенно неправильнымъ, если брать оба учрежденія со стороны политической: дума была сама властью, законы выходили „по великаго государя указу и всѣхъ бояръ приговору", сенатъ же былъ лишь органомъ власти, которая разговаривала съ

нимъ, подчасъ, весьма суровымъ тономъ. Требуя, чтобы къ опредѣленному сроку были доставлены войска въ Малороссію, Петръ писалъ сенату: „сіе все, что надлежитъ къ войнѣ, какъ наискорѣе управить сенату, подъ жестокимъ истязаніемъ за неисправленіе". Немного раньше онъ требовалъ къ себѣ сенаторовъ „съ полными вѣдомостями, что по даннымъ вамъ указамъ сдѣлано и чего недодѣлано, и затѣмъ". Состоя изъ второстепенныхъ, по рангу, чиновниковъ, сенатъ и не могъ прекратить „растаскиванія": оно прекратилось само собой, когда стала подходить къ концу война, и „верховные господа" изъ губерній пособрались въ Петербургъ. Они сами засѣли тогда въ сенатъ,—а бюрократическая организація получила законченную форму въ видѣ коллегій (1718 г.). Чрезвычайно характерной чертой этихъ первыхъ, правильно-бюрократическихъ, учрежденій въ Россіи является бросающееся въ глаза преобладаніе въ нихъ экономико-финансоваго интереса. Изъ 9 коллегій 2 посвящены промышленности и торговли (бергъ-и-мануфактуръ-и коммерцъ-коллегіи) и 3 государственному хозяйству (каммеръ-штатсъ-и ревизіонъ-коллегіи). Въ то же время мы не найдемъ спеціальнаго учрежденія не только для народнаго образованія, но даже и для полиціи: нѣтъ коллегіи, которая бы соотвѣтствовала теперешнему министерству внутреннихъ дѣлъ. На бюрократическую систему Петра торговый капитализмъ поставилъ такой отчетливый штемпель, что только упорные идеалистическіе предразсудки прежнихъ русскихъ историковъ могли скрыть отъ нихъ дѣйствительную связь явленій—и обратить все ихъ вниманіе на совершенно второстепенный признакъ „коллегіальности". Въ каждой коллегіи, юридически, вершило дѣла не одно лицо, а нѣсколько, „президентъ" съ „совѣтниками" и „ассессорами": долгое время это и казалось главнымъ новшествомъ Петра.

Напротивъ, если въ его административной системѣ было что новое, то это какъ разъ былъ ея индивидуализмъ, объясняющійся изъ тѣхъ же условій, какъ и индивидуалистическія черты русскаго права XVII в. вообще (см. стр. 86—87). Раньше всего, въ періодъ учрежденія сената, этотъ индивидуализмъ нашелъ себѣ выраженіе въ системѣ

надзора. Прежде надзоръ осуществлялся путемъ круговой поруки: члены каждой общественной группы—крестьяне одной деревни, помѣщики одного уѣзда и т. д. другъ за друга отвѣчали и, естественно, должны были другъ за другомъ слѣдить. Въ началѣ XVIII в. этого было уже мало—и при сенатскомъ управленіи мы видимъ фискаловъ, спеціальныхъ чиновниковъ для надзора. Но гораздо крупнѣе были послѣдствія индивидуализаціи въ политической области. То, чего напрасно было бы искать въ московскомъ царствѣ времени Ивана Грознаго, индивидуальный деспотизмъ, было осуществимо и отчасти осуществлено при Петрѣ. Органомъ этого индивидуальнаго деспотизма при сенатѣ явился генералъ-прокуроръ, „око государево“, который долженъ былъ слѣдить, чтобы сенатъ „въ своей должности праведно и нелицемѣрно поступалъ“, и чтобы сенаторы занимались своимъ дѣломъ „истинно, ревностно и порядочно, безъ потерянія времени“. Ни одно дѣло не могло войти въ сенатъ помимо „генералъ-прокурора“—и ни одно не могло помимо него выйти: при чемъ самъ онъ отъ сената совершенно не зависѣлъ, его можно было только въ случаѣ явной измѣны, въ отсутствіе государя, арестовать—но судить его сенатъ и тутъ не смѣлъ безъ разрѣшенія императора. Генералъ-прокуратура была естественнымъ, логическимъ завершеніемъ петровской системы надзора—но „верховнымъ господамъ“, засѣвшимъ въ сенатѣ съ 1718 г., это не могло нравиться, и тотчасъ послѣ смерти Петра они поспѣшили избавить себя отъ надзирателей, устроивъ (въ 1726 г.) надъ сенатомъ Верховный тайный совѣтъ, куда они сами и вошли, и переведя сенаторовъ опять на положеніе чиновниковъ второго ранга. Верховный тайный совѣтъ не ограничился этой отрицательной задачей - онъ взялъ на себя и положительную, попытавшись воскресить боярскую думу, въ качествѣ носительницы центральной власти, но тутъ потерпѣлъ неудачу [1]). Центральное же бюрократическое учрежденіе сохранилось, надъ коллегіями и сенатомъ, въ теченіе всего XVIII вѣка, подъ различными именами: кабинета министровъ, конференціи, совѣта при высочайшемъ дворѣ и

[1]) См. о проектахъ „верховниковъ“ ниже, IV-ый отдѣлъ.

проч. Каковъ былъ *соціальный* составъ этого учрежденія, хорошо иллюстрируется тѣмъ маленькимъ фактомъ, что, когда была въ совѣтѣ прочитана жалованная грамота дворянству (1785 г.), совѣтъ „изъявилъ ея императорскому величеству глубочайшую благодарность, *какъ отъ себя, такъ и отъ лица всего вообще дворянства*“. Это были все тѣ же „верховные господа“—крупнѣйшіе землевладѣльцы имперіи. Безъ ихъ согласія не могло рѣшиться ни одно важное дѣло—*по управлялп непосредственно не они*. Управлялъ генералъ-прокуроръ, фактически первый министръ, сначала съ коллегіями, и съ Екатерины II собственно даже и не съ коллегіями, а со своею канцеляріей: настоящее дѣловое чиновничество имѣло свой центръ именно здѣсь. Крупная знать непосредственно заинтересовалась дѣлами лишь въ то время, когда, съ развитіемъ заграничной торговли, крупное землевладѣніе оказалось въ ней близко заинтересованнымъ. Тогда „верховные господа“ изъ неопредѣленнаго по своимъ полномочіямъ совѣта переселились въ весьма опредѣленныя по своимъ функціямъ *министерства* (1802 г.). Не видно, чтобы дѣло пошло у нихъ очень удачно: весьма скоро во главѣ всего появляется снова профессіональный чиновникъ, Сперанскій [1]), „знать“ же находитъ себѣ окончательное прибѣжище, уже на цѣлое столѣтіе, въ *Государственномъ совѣтѣ* 1810 г.).

Въ настоящее время, когда исчезли всякія практическія побужденія затушевывать истину, не приходится сомнѣваться, что *первоначальный*, 1810 г., Государственный совѣтъ былъ *пробной конституціей*. Это ясно для всякаго, кто внимательно прочтетъ его „образованіе“. „Всѣ законы, уставы и учрежденія въ первообразныхъ ихъ начертаніяхъ предлагаются и разсматриваются въ Государственномъ совѣтѣ“, говорится тамъ: „и потомъ дѣйствіемъ державной власти поступаютъ къ предназначенному имъ совершенію. Никакой законъ, уставъ и учрежденіе не исходитъ изъ совѣта и не можетъ имѣть своего совершенія безъ утвержденія державной власти“. Послѣдняя фраза была бы

[1]) О его проектахъ, см. опять IV-ый отдѣлъ.

лишена всякаго смысла, если бы совѣтъ съ самаго начала былъ тѣмъ, чѣмъ онъ на практикѣ сдѣлался—законосовѣщательнымъ собраніемъ, подающимъ государю совѣты, которыхъ тотъ не обязанъ слушать. Какимъ образомъ простой совѣтъ могъ получить силу закона? Если пришлось оговаривать, что безъ подписи императора рѣшенія Государственнаго совѣта силы закона не имѣютъ, значитъ это учрежденіе вмѣстѣ съ императоромъ, дѣйствительно, законодательствовало, выполняло ту именно функцію какую выполняютъ представительныя собранія конституціонно-монархическихъ государствъ. Такое пониманіе „образованія“ совершенно подтверждается и формулой, въ какой отнынѣ должны были обнародоваться новые законы: „внявъ мнѣнію государственнаго совѣта, постановляемъ или учреждаемъ“. Но если бы мы и не имѣли всѣхъ этихъ текстовъ, мы могли бы догадаться объ истинномъ значеніи шага, предпринятаго въ 1810 г., послушавъ, что говорило объ этомъ шагѣ главное заинтересованное лицо—императоръ Александръ I. Когда совѣтъ утвердилъ на 80 мил. р. новыхъ налоговъ, Александръ, въ разговорѣ съ французскимъ посломъ Коленкуромъ, такъ пояснялъ роль новаго учрежденія: „всѣ умы во всей имперіи отнесутся къ этой мѣрѣ съ большимъ довѣріемъ, когда увидятъ вмѣстѣ съ указомъ мнѣніе совѣта, скрѣпленное подписями его членовъ, принадлежащихъ всей имперіи, изъ которыхъ нѣкоторые даже прямо происходятъ отъ старинныхъ московскихъ бояръ“. Итакъ, Александръ видѣлъ въ государственномъ совѣтѣ не собраніе чиновниковъ, обязанныхъ только служить государю своею дѣловой опытностью, а выраженіе общественнаго мнѣнія, притомъ мнѣнія именно знати.

Изъ пробной конституціи ничего не вышло—попробовавъ, кушать не стали. Изъ Государственнаго совѣта на практикѣ получилось именно собраніе старыхъ чиновниковъ, обсуждающихъ—и то больше формальности ради—проекты новыхъ законовъ, но ничего не рѣшающихъ: было принято за правило, что императоръ можетъ согласиться съ мнѣніемъ и большинства, и меньшинства, и даже отдѣльнаго члена совѣта—и даже совсѣмъ съ нимъ не согласиться, а обнаро-

довать новый законъ въ формѣ „именного указа“. При чемъ, собственно дѣловое обсужденіе новыхъ законовъ и происходило-то не въ самомъ совѣтѣ, а въ болѣе интимныхъ и тѣсныхъ собраніяхъ: Николай Павловичъ особенно любилъ секретные комитеты. Не попадавшіе туда менѣе вліятельные члены совѣта отлично знали, что даже въ ихъ мнѣніи, по-настоящему, никто не нуждается—и очень рѣдко затрудняли своихъ дѣловыхъ собратій даже преніями. А текущую работу дѣловое чиновничество вело по прежнему въ комитетѣ министровъ. Фактически, комитетъ былъ при Александрѣ I высшей законодательной, судебной и административной инстанціей по всѣмъ дѣламъ, не исключая военныхъ дѣйствій и дипломатическихъ переговоровъ: только въ первые годы по учрежденіи Госуд. совѣта комитетъ изрѣдка вспоминалъ, что то или иное попавшее къ нему дѣло „принадлежитъ до разсмотрѣнія государственнаго совѣта“, и направлялъ его туда. Впослѣдствіи, комитетъ министровъ сосредоточилъ въ своихъ рукахъ два рода дѣлъ: во-первыхъ, высшую чрезвычайную полицію („дѣла, относящіяся до общаго спокойствія и безопасности, до продовольствія народнаго и по всякому чезвычайному происшествію; дѣла о воспрещеніи сообществъ“) и, во-вторыхъ, наиболѣе важные вопросы, затрогивающіе интересы капиталистическаго міра (уставы акціонерныхъ компаній, постройка желѣзныхъ дорогъ, распоряженія относительно пароходства, вообще концессіи всякаго рода). „Учрежденіе комитета министровъ“, такимъ образомъ, еще разъ, уже въ юридической формѣ, подтверждаетъ два положенія, установленныя нами выше историческимъ путемъ: высшая власть въ Россіи носитъ бюрократическій характеръ—и бюрократическій режимъ въ Россіи чрезвычайно тѣсно связанъ съ развитіемъ капиталистическаго хозяйства.

Въ дальнѣйшемъ развитіи, бюрократія должна была оказаться для капитализма кремневымъ ружьемъ. Предприниматель, чѣмъ дальше, тѣмъ больше желаетъ непосредственно участвовать въ законодательствѣ и управленіи. Если онъ мирится съ бюрократическимъ режимомъ, то только въ силу его военно-дипломатической выгодности:

чтобы доказать свою пригодность капитализму, бюрократическое правительство должно побѣждать, захватывать новые торговые пути, гнать съ рынка конкурентовъ, наконецъ, завоевывать и новые рынки. Каждая неудача на этомъ пути—будетъ ли это невыгодный торговый договоръ, вынудившій понизить таможенныя пошлины, или проигранная война, заставившая проститься съ мечтами о новыхъ рынкахъ, вызываетъ въ буржуазіи рѣзкій подъемъ оппозиціоннаго настроенія. До послѣднихъ лѣтъ XIX вѣка, слабый ростъ туземнаго накопленія, не отвѣчавшій росту промышленности, давалъ лишнюю опору бюрократическому режиму: чиновникъ умѣлъ доставать деньги изъ-за границы—а безъ нихъ было не обойтись. Но вотъ заграница заявила категорически, что именно чиновнику она не вѣритъ—въ то же время, съ подъемомъ хлѣбныхъ цѣнъ, туземное накопленіе пошло ускореннымъ темпомъ: бюрократическій режимъ оказался отжившимъ и въ Россіи. Общественные классы стали другъ противъ друга непосредственно. Чисто классовая организація центральной власти,—вопросъ завтрашняго дня. Но такъ какъ всякая исторія, по долгу своего званія, занимается вчерашнимъ днемъ, то мы и останавливаемъ здѣсь наше изложеніе.

Библіографія.

Для такъ называемаго „вѣчевого“ періода русской исторіи исчерпывающимъ, въ смыслѣ полноты фактическаго матеріала, пособіемъ является появившаяся первоначально еще въ 60-хъ гг. работа В. И. Сергѣевича „Вѣче и князь“, перепечатанная, какъ I-й выпускъ II тома „Русскихъ юридическихъ древностей“ (Спб. 1893). Новѣйшее изслѣдованіе о княжеской власти этого періода (А. Е. Пресняковъ, „Княжое право въ древней Руси“, Спб. 1909) интересно кое-какими—не очень систематическими—параллелями съ западно-европейскими учрежденіями аналогичной стадіи развитія. Для государственнаго строя древней Руси, вообще, и спеціально для боярской думы, см. извѣстную книгу Ключевскаго („Боярская Дума древней Руси“: третье, дополненное изданіе 1902 г.). Для вопроса о древне-русскомъ феодализмѣ см. Н. Павлова-Сильванскаго, „Феодализмъ въ древней Руси“ Спб. 1907 и главу III перваго тома „Русской исторіи“ пишущаго эти строки (изд. тов. „Міръ“). По вопросу о происхожденіи земскихъ соборовъ главной по прежнему является работа Ключевскаго, „Составъ представительства на земскихъ соборахъ XVI в.“ (первоначально въ „Русской Мысли“

1890—92 г., перепечатано въ „Опытахъ и изслѣдованіяхъ“, М. 1912). Изъ новѣйшихъ наиболѣе цѣнна ст. проф. Заозерскаго о земскихъ соборахъ (Журн. Мин. Народн. Просв. 1909, іюнь), развивающаго дальше точку зрѣнія Ключевскаго. Остальную литературу и очеркъ исторіи З. С. см. въ называвшейся неоднократно кн. акад. Дьяконова, „Очеркъ обществ. и госуд. строя древн. Руси“. Для петровскихъ учрежденій пособіемъ является прежде всего уже названная книга Милюкова о государственномъ хозяйствѣ Россіи при Петрѣ Вел. Спеціально для сената I—II томы юбилейнаго изданія, „Исторія правительствующаго сената“ (6 тт., Спб. 1911). Для учрежденій XIX в. основное пособіе—„Начала русскаго государственнаго права“ А. Д. Градовскаго (къ нашей темѣ ближайшее отношеніе имѣетъ книга 2-я II тома). См. также юбилейное изданіе „Историческій обзоръ дѣятельности комитета министровъ“, (Спб. 1902—1903).

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе (стр. III).

Предварительныя замѣчанія. Что такое культура? Исторія культурной исторіи (стр. 1—2). „Историческая косность“; вліяніе историка на исторію; бытовые корни историческаго идеализма (стр. 2—4). Побѣда матеріализма, сознательнаго и безсознательнаго; что такое историческій матеріализмъ? Матеріализмъ и детерминизмъ (стр. 4—8). Попытки устранить детерминизмъ изъ исторіи (стр. 9—11). Техническія несовершенства исторіи, какъ науки: непосредственное наблюденіе и опытъ въ исторіи (стр. 11—13). Исторія и соціологія; исторія культуры—одна изъ естественныхъ наукъ (стр. 13—14). Планъ „Очерка“; развитіе русскаго народнаго хозяйства, какъ его первая и основная часть (стр. 15). Исторія хозяйства и исторія общества; значеніе юридическихъ нормъ; соціальная роль религіи (стр. 15—17). Исторія идеологій; эстетическія отраженія общественнаго развитія: искусство и литература (стр. 17—19). Фазеологическій методъ; почему онъ не могъ быть проведенъ въ „Очеркѣ“? (стр. 19). Границы „русской“ культуры (стр. 20). Библіографія (стр. 21—22).

ОТДѢЛЪ I.

Экономическій строй.

1. **Первобытное хозяйство.** Традиціонная схема экономическаго развитія; на чемъ она основана? (стр. 23—24). „Законъ“ Левассера и дѣйствительное отношеніе между ростомъ населенія и общественнымъ развитіемъ (стр. 24—27). Какъ шло развитіе хозяйства на самомъ дѣлѣ? Земледѣліе, какъ самый ранній видъ правильнаго хозяйства; исторія нашей сохи (стр. 27—29). Схема Бюхера (стр. 29—31). Ея предразсудки; вліяніе экономическаго индивидуализма; его неисторичность (стр. 31—33). Было ли когда-нибудь хозяйство безъ обмѣна? (стр. 33—35). Что остается отъ схемы Бюхера? Три основные періода хозяйственнаго развитія; ихъ смѣна въ русской исторіи (стр. 35—39). Источники исторіи первобытнаго хозяйства; лингвистика и археологія (стр. 39—42). Славянскіе языки и земледѣліе (стр. 42—45). Охота (стр. 45—46). Скотоводство (стр. 46—48). Древнѣйшій общественный строй и первобытное земледѣліе; „большая“

семья (стр. 48—51). Передвиженія восточныхъ славянъ; вліяніе географической и этнографической среды (стр. 52—53). „Возмущающіе факторы“: норманское нашествіе IX—X вв.; „разбойничья“ торговля и ея вліяніе (стр. 54—57). Библіографія (стр. 57—58).

2. „Городское“ хозяйство. „Современное“ земледѣліе въ древней Руси; два типа хозяйства (стр. 58—60). Происхожденіе нашего крупнаго землевладѣнія; з-іе и рабовладѣніе (стр. 60—63). Закрѣпощеніе свободнаго крестьянства; ссуды скотомъ и ихъ значеніе (стр. 63—64). „Происхожденіе крѣпостного права“; аналогія и различіе Кіевской и Московской Руси (стр. 64—68). Эволюція крѣпостныхъ отношеній въ этой послѣдней; какъ ее обычно себѣ представляютъ (стр. 68—70). Экономическіе корни прикрѣпленія; новая земледѣльческая техника (стр. 70—72). Идея д а в н о с т и, какъ юридическая форма; старожильство (стр. 72—74). Диференціація населенія; выдѣленіе ремесла и экономическія послѣдствія этого факта; хлѣбъ—товаръ (стр. 74—80). Выдѣленіе ремесла въ Кіевской Руси (стр. 81—83). Перехожее ремесло (стр. 83—84). Ремесло въ Московскомъ государствѣ; зародыши ц е х о в ъ (стр. 84—85). Соціальные результаты ремесленнаго хозяйства (стр. 85—87). Библіографія (стр. 87—88).

3. Торговый капитализмъ. Торговля ремесленнаго періода (стр. 88—89). Новыя черты въ московской торговлѣ XVII столѣтія (стр. 89—91). Первоначальное накопленіе въ древней Руси: княжескіе капиталы (стр. 91—93). Монастырское хозяйство (стр. 93—97). Финансовыя предпріятія; земельная рента (стр. 97—100). Торговый барышъ; размѣры новгородской торговли; московская торговля XVII в. (стр. 100—104). Московское общество, какъ классовое общество; роль буржуазіи; политическое значеніе торговаго капитала (стр. 104—107). Торговый капитализмъ и внѣшняя политика (стр. 107—109). Зачатки экономической теоріи: протопопъ Сильвестръ (стр. 109—110). Посошковъ (стр. 110—112). Библіографія (стр. 112—113).

4. Крѣпостное хозяйство. Вліяніе торговаго капитала на эволюцію крѣпостной деревни: значеніе хлѣбнаго экспорта (стр. 113—115). „Фабрика для производства хлѣба“; техника; „тягло“; барщина (стр. 115—119). Крѣпостная утопія XVIII в. и дѣйствительность 1840-хъ гг. (стр. 119—122). Практическія мѣропріятія; размноженіе тяголъ; круговая порука (стр. 122—124). Крѣпостное право и организація обмѣна (стр. 124—126). Подсобные доходы крѣпостного хозяйства; развитіе въ деревнѣ кустарныхъ промысловъ (стр. 126—128). Крѣпостная фабрика (стр. 128—130). Оброчное хозяйство (стр. 130—133). Экономическія предпосылки крестьянской реформы; непроизводительность барщиннаго труда; идея эмансипаціи и аграрный кризисъ 1820—30-хъ гг. (стр. 133—137). Попытки буржуазнаго хозяйства въ деревнѣ до 19 февраля (стр. 137—139). Библіографія (стр. 139—140).

5. Современный капитализмъ. Его характеристическія черты: стр. центрація производства, пролетаризація рабочаго, роль машинъ макс. 140—144). Подготовка промышленнаго капитализма торговым

фактура и кустарные промыслы; обычное представленіе о послѣднихъ; ихъ дѣйствительное происхожденіе; кустарь и машина (стр. 144—151). Внѣшнеполитическія условія развитія крупной индустріи въ Россіи (стр. 151—153). Соціальныя условія: заработная плата и поземельная рента; обрабатывающая промышленность и крѣпостное право (стр. 153—156). Проникновеніе капитализма въ сельское хозяйство (стр. 156—158). Конфликтъ чернозема и суглинка, барщины и оброка (стр. 158—159). „Либералы“ и „феодалы“ оброчной Россіи; главныя черты „феодальнаго“ проекта; соотношеніе силъ въ дворянской массѣ (стр. 160—164). Феодальная программа и интересы крестьянства; „тягло“ и „міръ“ въ реформѣ 19 февраля (стр. 165—166). Экономическіе итоги реформы; конкуренція крестьянина и помѣщика (стр. 166—170). Реформа и обрабатывающая промышленность (стр. 170—171). Реформа и торговый капиталъ; хлѣбный экспортъ и желѣзныя дороги; податная политика и пролетаризація крестьянства (стр. 172—174). Хлѣбный экспортъ, туземное накопленіе и заграничный капиталъ въ русской промышленности (стр. 175—178). Капитализмъ въ сельскомъ хозяйствѣ новѣйшаго времени (стр. 178—179). Библіографія (стр. 179—180).

ОТДѢЛЪ II.

Государственный строй.

1. Военно-финансовая организація. Хозяйство и право. Происхожденіе принудительной общественной организаціи; ея цѣль (стр. 181—183). Дружина и дань; „смерды“ и горожане (стр. 183—186). Финансовая политика татаръ; „сошное письмо“, „число“, „ямъ“, „тамга“ (стр. 186—188). Военно-финансовыя реформы Грознаго; „кормленія“, „земское“ самоуправленіе (стр. 189—192). „Соха“ XVII столѣтія; начало дворянскихъ привилегій (стр. 192—194). Первые шаги торговаго капитализма: *соляная пошлина и мѣдные рубли* (стр. 194—196). Военная реформа XVII—XVIII вв. и ея финансовые результаты: пятинныя деньги, подворная подать, подушная подать (стр. 196—200). Дворянская реакція (стр. 200—201). Торговый капиталъ и финансовая система XVIII в.; откупа (стр. 201—204). Ассигнаціи; бумажныя деньги и внѣшняя политика (стр. 205—211). Заграничный кредитъ (стр. 211—213). Бюджетъ 1912 г.: прямые и косвенные налоги; военные расходы; армія Николая I; значеніе всеобщей воинской повинности (стр. 213—218). Библіографія (стр. 218)

2. Судъ. Историческая роль суда (стр. 218—220). Періодъ „обычнаго права“; семейный обычай; племенной обычай (стр. 220—221). Первая и вторая редакціи Русской Правды (стр. 221—224). Финансовое значеніе суда: *виры, продажи* (стр. 224—225). Кровная месть и судебный поединокъ (стр. 225—226). Исчезновеніе саморасправы и классовая юстиція (стр. 226—227). Ея органы; губной сыскъ (стр. 228—230). Связь губныхъ учрежденій съ „городскимъ“ хозяйствомъ (стр. 230—231). Торжество сыска въ XVII в.; Уложеніе и „Воинскій процессъ“ (стр. 231—234). Торговый капиталъ и судебный терроръ (стр. 234—235). Судопроизводство XVIII в.

и внѣ-экономическое принужденіе (стр. 235—236). Помѣщичій судъ (стр. 236—237). Канцелярская тайна (стр. 237—238). Классовый составъ суда; буржуазный судъ въ до-реформенную эпоху (стр. 238—240). Судебная реформа и крестьянская реформа; тяжесть стараго суда для дворянъ; кн. Щербатовъ (стр. 240—242). Библіографія (стр. 242)

3. Центральная власть. Государство и общественные классы; „государственныя“ учрежденія въ до-классовый періодъ; „родовой бытъ“; племя, какъ отраженіе слѣдующей экономической стадіи (стр. 243—247). Варяжское княжество; древнѣйшій абсолютизмъ; „держава“ Олега и Святослава; остатки племенного строя (стр. 247 — 249). Кіевская революція 1113 г.; ея классовой смыслъ (стр. 250—251). Вѣчевыя общины; значеніе князя; выборныя магистратуры (стр. 251 — 254). Экономическая связь дружины и вѣча (стр. 254—255). Древне-русскій феодализмъ; вопросъ о существованіи феодализма въ Россіи; „большая семья“ и вотчина; древне-русскій вассалитетъ (стр. 255—261). Феодальныя учрежденія: боярская дума (стр. 261—264); земскій соборъ (стр. 265 — 267). Чиновничество; связь бюрократіи съ торговымъ капитализмомъ; соціальный ростъ чиновничества; представляетъ ли оно собою особый классъ? (стр. 267—272). Буржуазно-бюрократическій смыслъ петровской реформы; ея индивидуализмъ (стр. 272—275). Государственный совѣтъ 1810 г. (стр. 275—276). Комитетъ министровъ (стр. 277). Бюрократія и „современный“ капитализмъ (стр. 277—278). Библіографія (стр. 278—279).

Оглавленіе (стр. 280—283).

ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА
Інв № 65510

34894

4/0495

12p